

С О В Е Т С К А Я Э Т Н О Г Р А Ф И Я

1984

ИЗДАТЕЛЬСТВО • НАУКА •



4

Июль — Август

1984

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ • ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Б. Тер-Акопян (Москва). Труд Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и некоторые вопросы теории исторического процесса	3
Н. П. Лобачева (Москва). Из истории каракалпакского женского костюма (К проблемам Историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана)	14
Г. Е. Афанасьев (Москва). Этническая территория буртасов во второй половине VIII — начале X века	28
В. Г. Стельмах (Москва). Хозяйство индейцев США на рубеже XIX—XX столетий	41
В. С. Шинкаренко, В. В. Наумкин, Г. Л. Хитъ, А. А. Зубов (Москва). Антропологические исследования на о. Сокотра	53

Дискуссии и обсуждения

Теоретические проблемы реконструкции древнейшей славянской духовной культуры (завершение дискуссии). Ответы на вопросы: В. В. Иванов, В. В. Седов, А. К. Смольская и Н. И. Зубов, О. А. Терновская и А. В. Гура, И. А. Дзендзелевский, Н. И. и С. М. Толстые	64
--	----

Из истории науки

Ю. Д. Анчабадзе (Москва). Этнографические сюжеты в трудах Ф. И. Леонтовича	81
--	----

Этнография в музеях

Е. А. Окладникова (Ленинград). Калифорнийская коллекция И. Г. Вознесенского в МАЭ	92
---	----

Сообщения

Н. Н. Грацианская, С. А. Токарев (Москва). Этнографическое районирование Европы (К истории изучения)	103
В. А. Староверов (Симферополь). Типы скотоводческого хозяйства у киргизов Памиро-Алая и Каратегина в конце XIX — начале XX в.	111
А. А. Ярушкин (Ленинград). Языковая ситуация в Народной Республике Ангола	116



М. Ф. Альбедиль (Ленинград). Протоиндийское письмо: итоги и перспективы исследования	122
Наши юбиляры	
Список основных работ доктора исторических наук Гали Семеновны Масловой (к 60-летию научной деятельности).	135
Научная жизнь	
Н. А. Томилов (Омск). Всероссийская студенческая научная этнографическая конференция	138
Р. Ш. Джарылгасинова (Москва). Выставка «Искусство Корейской Народно-Демократической Республики»	139
Коротко об экспедициях	143
Критика и библиография	
Критические статьи и обзоры	
Обсуждение книги Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса» (М. А. Барг, С. А. Арутюнов, Б. Ф. Ломов, Л. А. Гордон, Я. Г. Машбиц, Г. В. Степанов)	146
Общая этнография	
Т. М. Исламов (Москва). <i>Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья</i> /ред. В. Д. Королюк, Г. Г. Литаврин.	157
Народы СССР	
В. Дж. Итонишвили (Тбилиси). Н. Г. Волкова, Г. Н. Джавахишвили. Бытовая культура Грузии XIX—XX веков: традиции и инновации	161
Я. С. Смирнова (Москва). <i>Семейно-бытовая обрядность вайнахов</i>	164
Народы Зарубежной Европы	
В. И. Козлов, Б. В. Соколов (Москва). Н. А. Ерофеев. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских	166
Народы Зарубежной Азии	
Н. Р. Гусева (Москва). Е. С. Юрлова. Социальное положение женщин и женское движение в Индии	171

Редакционная коллегия:

К. В. Чистов — член-корр. АН СССР (главный редактор),
 В. П. Алексеев — член-корр. АН СССР, И. Л. Андреев, С. А. Арутюнов,
 С. И. Брук, Н. Г. Волкова (зам. главн. редактора), Л. М. Дробижева,
 Т. А. Жданко, А. А. Зубов, Р. Н. Исмагилова, Р. Ф. Итс, Л. Е. Куббель
 (зам. главн. редактора), А. А. Леонтьев, Б.-Р. Логашова, Г. Е. Марков,
 А. И. Першиц, Н. С. Полищук (зам. главн. редактора),
 П. И. Пучков, Ю. И. Семенов, В. К. Соколова, С. А. Токарев,
 Д. Д. Тумаркин

Ответственный секретарь редакции Н. С. Соболев

Адрес редакции: 117036 Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19
 телефон 126-94-91

Зав. редакцией Е. А. Эшлиман

Н. Б. Тер - Акопян

**ТРУД Ф. ЭНГЕЛЬСА «ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕМЬИ,
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВА»
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА**

Прошло столетие со времени выхода книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Столетие бурного развития человечества. Столетие стремительного роста знаний и великих свершений науки. Но хотя современной науке известно неизмеримо больше о доклассовом обществе, чем во времена Ф. Энгельса, и она владеет несравненно более тонкими и точными методами исследования, чем те, которыми владели современные Энгельсу ученые, мы по-прежнему выверяем ее поступательное движение по тем исходным принципам, которые были заложены Энгельсом. Его книга оказалась не только итогом и обобщением накопленных к тому времени знаний, но и долговременной программой исследований, предопределившей пути дальнейшего развития науки. Она была, по определению В. И. Ленина, одним из «основных сочинений современного социализма»¹ и, таким образом, была нацелена на будущее. И действительно, проблемы, поднятые в книге, теперь, как и сто лет назад, находятся в центре научных споров, являются предметом острой социально-политической и идеологической борьбы. Поэтому целесообразно не только рассмотреть этот труд в свете развития марксизма, но и напомнить о том историческом и политическом контексте, в котором возникла книга, и о том, что именно побудило Энгельса обратиться к истокам институтов, которые идеологи буржуазии провозгласили извечными и священными основами всякого общества — индивидуальной семьи, частной собственности и государства. Между тем в их буржуазном воплощении они были орудием угнетения пролетариата и всех трудящихся классов и являлись препятствием к установлению строя социальной справедливости.

Позиция основоположников научного коммунизма в отношении этих буржуазных институтов была сформулирована еще в начальный период их деятельности в написанных Ф. Энгельсом в конце 1847 г. «Принципах коммунизма», а также в «Манифесте Коммунистической партии». В этих документах на первом месте, в соответствии с его значением, стоял вопрос о частной собственности, уничтожение которой являлось «самым кратким и наиболее обобщающим выражением... преобразования всего общественного строя»². Этот вывод Маркса и Энгельса был основан на анализе современного им состояния собственности, а также на вычлениении ряда ступеней ее исторического развития. Однако они еще не располагали данными о возникновении частной собственности из разложения общей.

Еще меньше было известно тогда науке о возникновении и развитии различных форм семьи и брака. Тем не менее материалистическое понимание истории и диалектический метод позволили Марксу и Энгельсу показать несовместимость буржуазной формы семьи с будущим коммунистическим обществом. Моногамная семья в буржуазном обществе «находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев и в публичной проституции»³. Поскольку эти явления несомненно от-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 67.

² Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 330; ср. с. 331—334, 438, 440.

³ Там же, с. 443; ср. с. 337.

падут с преобразованием общества, видоизменится и сама форма семьи. Таков был ход рассуждений в «Манифесте Коммунистической партии» и в «Принципах коммунизма».

Историзм в постановке проблемы семьи и брака выразился в открытии связи этих институтов с определенной ступенью развития собственности, а именно с буржуазной ее формой. Тем самым была исторически конкретизирована одна из ступеней развития семьи.

В непосредственной связи с преобразованием семьи рассматривался в обоих документах и вопрос об условиях перевоспитания будущих поколений, вопрос о воспроизводстве самих производителей⁴. Уже здесь, таким образом, ставится вопрос о двоякого рода производстве, который позднее в Предисловии к «Происхождению семьи, частной собственности и государства» Энгельс рассматривает применительно к ранним эпохам человеческой истории⁵.

Чрезвычайно важным было также рассмотрение в «Принципах» и в «Манифесте» вопроса о государстве. После победы революции должно было установиться политическое господство пролетариата для осуществления преобразования общества. В «Принципах» Энгельс прямо писал: «Стоит только произвести первую радикальную атаку на частную собственность, и пролетариат будет вынужден идти все дальше, все больше концентрироваться в руках государства» всю экономику⁶. В управлении производством принцип конкуренции должен смениться принципом ассоциации. В результате преобразования общества возникнет всеобщая ассоциация, «в которой свободное развитие каждого является условием развития всех»⁷.

Историзм постановки вопроса о государстве выразился в четком определении связи его существующей формы с определенной ступенью развития собственности, а именно капиталистической собственностью. Он выразился также в самом выводе о возможности и необходимости преобразования государства. Но для рассмотрения предшествующих ступеней развития государства и тем более процесса его возникновения наука не располагала еще необходимыми данными.

Эту исходную концепцию семьи, частной собственности и государства отделяют от предпринятого Энгельсом исторического исследования процесса их происхождения почти три с половиной десятилетия. Опыт двух революций, возникновение организованного рабочего движения, объединенного Интернационалом, позволили Марксу и Энгельсу сделать решающие шаги в развитии своего учения. В этот промежуток времени была разработана теория диктатуры пролетариата, была открыта тайна прибавочной стоимости и создан «Капитал», было положено начало изучению общинного строя на примере различных сохранившихся его форм и стадий развития в Индии, России и других странах. Была решена загадка возникновения земельной частной собственности из разложения общинной и накоплен материал по другим вопросам истории ранних ступеней человеческого общества. Этим были созданы научные предпосылки для предпринятого Энгельсом исследования. Его книга «Происхождение семьи, частной собственности и государства» является блестящим примером органического развития марксизма в области истории. Но прежде чем обратиться к ее содержанию, осветим кратко ту борьбу, которая шла в рабочем движении по вопросу о государстве в 70-е годы прошлого века. Борьбу, которая сделала исследование Энгельса особенно необходимым.

После восстания Парижской Коммуны вопрос о государстве перестал быть чисто теоретическим и приобрел непосредственно политическое и практическое значение. Он стал предметом споров в среде рабочих и революционных партий, и его правильное решение имело

⁴ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 335—336; ср. с. 443—444.

⁵ Там же, т. 21, с. 26.

⁶ Там же, т. 4, с. 333.

⁷ Там же, с. 447; ср. с. 330, 336.

определяющее значение. В Интернационале Марксу и Энгельсу и их соратникам пришлось вести борьбу против возглавляемых М. Бакуниным анархистских группировок, которые выступали за немедленное уничтожение государства после победы пролетарской революции. Вскрывая несостоятельность подобной точки зрения, Энгельс в работах, написанных совместно с Марксом, в устных выступлениях, письмах и статьях указывал на необходимость сохранения политического авторитета, политической власти после революции, а также постоянного существования определенной организации для управления экономикой. Особенно четко эти новые моменты в марксистской теории государства сформулированы в статье Энгельса «Об авторитете», написанной в 1872 г. Энгельс показывает, что требование анархистов об отмене авторитарного политического государства «одним ударом» уже потому неприемлемо, что оно неосуществимо без уничтожения социальных отношений, его породивших. Кроме того, даже после ликвидации классовых отношений отпадут лишь политические функции государства, «т. е. ... общественные функции потеряют свой политический характер и превратятся в простые административные функции, наблюдающие за социальными интересами»⁸. Сохранение этих функций связано с обнаруживающейся в развитии производства тенденцией «все больше заменять разрозненные действия комбинированной деятельностью людей». «Таким образом,— продолжает Энгельс,—...комбинированная деятельность означает организацию, а возможна ли организация без авторитета?»⁹. Показав на ряде примеров немыслимость подобной организации, Энгельс формулирует затем свой общий вывод о том, что, «с одной стороны, известный авторитет, каким бы образом он ни был создан, а с другой стороны, известное подчинение, независимо от какой бы то ни было общественной организации, обязательны для нее при тех материальных условиях, в которых происходит производство и обращение продуктов»¹⁰. Итак, анализ проблемы государственной власти, предпринятый Энгельсом, раскрыл не только связь ее с организацией производства, но и тенденцию, в соответствии с которой пролетариат должен определять свое отношение к государству после победоносной революции.

Эта положительная сторона государственной организации была, очевидно, одной из причин ее возникновения. Именно на этот момент обращает внимание Энгельс, полемизируя с прудонистами в одной из статей серии «К жилищному вопросу» (1872—1873 гг.). «На известной, весьма ранней ступени развития общества,— отмечает Энгельс,— возникает потребность охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределения и обмена продуктов и позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинился общим условиям производства и обмена. Это правило, вначале выражающееся в обычае, становится затем *законом*. Вместе с законом необходимо возникают и органы, которым поручается его соблюдение — публичная власть, государство»¹¹. В этом высказывании Энгельс не только отмечает функции государства в экономической сфере, но и характеризует ее как один из источников происхождения государства. Это обстоятельство косвенно является еще одним подтверждением того, что в будущем, когда отпадут политические функции государства, контрольные и организующие функции сохранятся. Но тогда это, собственно, уже и не будет государством в прежнем смысле слова. Об этом пишет Энгельс спустя два года, когда он, вместе с Марксом, подвергает критике проект Готской программы Социал-демократической партии Германии. Энгельс в письме (март 1875 г.) к одному из ее руководителей — Бебелю, в числе ряда ошибочных положений, включенных в проект как уступки лассальянству, указывает и на пункт о так называемом «свободном народном государстве». Подчеркивая нелепость такой формулировки, Энгельс

⁸ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 305.

⁹ Там же, с. 302, 303.

¹⁰ Там же, с. 304.

¹¹ Там же, с. 272.

ссылается на пример Парижской коммуны и предлагает от своего и Маркса имени определять будущее общество словом «Gemeinwesen», означающим «коммуна»¹².

Все эти новые моменты в теории и истории государства, а точнее в теории управления обществом, были обобщены Энгельсом в работе «Анти-Дюринг». Именно в этом произведении были рассмотрены проблемы развития экономики и классовообразования, процесс обособления функций и соответственно органов управления от общества, два пути классовообразования, отмечен, наконец, вопрос о превращении политического управления людьми в распоряжение вещами и в руководство процессами производства¹³.

В новых исторических условиях, сложившихся в последней трети прошлого столетия, уточнения и конкретизации требовали и некоторые другие вопросы теории, рассматривавшиеся раньше лишь в самом общем виде. Дать на них более полные ответы можно было только при условии целостного рассмотрения всемирной истории, в том числе и доэксплуататорских стадий развития человеческого общества. Вероятно, этим обстоятельством и объясняется обращение Маркса и Энгельса к проблемам первобытной истории.

К первобытной эпохе Маркс и Энгельс обращались уже в своих ранних произведениях, и концепция первобытной истории являлась составной частью их теории всемирной истории уже в «Немецкой идеологии» (1845 г.). В 50—60 гг. они занимались проблематикой первобытного общества в ходе своих исследований, посвященных другим вопросам. Особенно важны в этой связи работы по политической экономии. Выясняя происхождение того или иного экономического явления, Маркс и Энгельс нередко доводили анализ до самых ранних ступеней существования человеческого общества. Занятиям Маркса и Энгельса первобытной историей и развитию их взглядов в этой области мы посвятили специальные исследования¹⁴, здесь же ограничимся кратким упоминанием важнейших результатов, достигнутых ими еще до ознакомления с открытиями Г. Моргана.

Маркс и Энгельс установили специфическое отличие человека от животного, выражающееся в особой, присущей исключительно человеку, форме труда, неотъемлемой стороной которого является сознательное целеполагание. Они не только рассмотрели труд как процесс, протекающий между природой и человеком, как процесс производства необходимых жизненных средств, но и как деятельность, с помощью которой человек выделился из мира животных. Тем самым были заложены основы теории антропосоциогенеза, в которой социальный фактор рассматривался как решающий в становлении человека.

Маркс и Энгельс обрисовали основные черты экономики первобытного общества. Они пришли к выводу о том, что общая собственность и коллективное ведение хозяйства были основой первобытной общины. Они установили также, что, вопреки мыслителям эпохи Просвещения, вовсе не «дикарь-одиночка» был субъектом исторического процесса, а община первобытных людей. Они доказали, что образ дикаря-одиночки — лишь проекция буржуазного Робинзона на полотно древнейшей истории.

Анализируя различные формы первобытного хозяйства, Маркс и Энгельс разрабатывали основные критерии периодизации развития первобытного общества. Особенно много внимания Маркс и Энгельс уделяли изучению общины на примере тех ее форм, которые сохранились в классовом обществе. Они установили различные стадии развития

¹² Там же, т. 19, с. 5; ср. т. 34, с. 103—104.

¹³ Там же, т. 20, с. 270; ср. с. 151—152, 183—184.

¹⁴ См.: Тер-Акопян Н. Б. Фридрих Энгельс о проблеме становления человека. — Сов. этнография, 1976, № 6; его же. Подход Маркса и Энгельса к истории первобытного общества и некоторые вопросы теории Моргана. — Там же, 1980, № 5; его же. Развитие взглядов Карла Маркса на первобытное общество. — Сов. археология, 1983, № 4; его же. Первобытная история в трудах классиков марксизма-ленинизма. — В кн.: История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М.: Наука, 1983, с. 126—145.

земледельческой общины и заложили основы исторической типологии общин.

Однако внутриобщинные связи Маркс и Энгельс рассматривали преимущественно с точки зрения экономики. Семейные и иные отношения в общине не были предметом специального исследования. Внутренняя социальная структура первобытной общины оставалась нераскрытой. Они характеризовали первобытный коллектив только в целом, как «естественно-сложившийся коллектив», представлявший ту *«природную определенность»*, тот *«исходный пункт»*, с которого начинается история¹⁵.

Можно с известной долей вероятности предположить, что для анализа внутренней структуры первобытной общины Маркс и Энгельс не располагали тогда надежными данными, а распространенные представления о моногамной семье как исходной социальной единице противоречили их общей концепции. В пользу такого предположения свидетельствует ряд их высказываний, несовместимых с господствовавшими представлениями. Так, в одном из примечаний к работе «К критике политической экономии» Маркс писал: «...первоначальная форма семьи есть сама родовая семья, из исторического разложения которой только и появляется частная семья»¹⁶. Указание Энгельса на различные формы группового брака у ирландских кельтов¹⁷, а также основанный на сравнении данных о тлинкитах и германцах вывод о том, что степень распада кровных связей позволяет судить о степени развития первобытного общества точнее, чем конкретный способ производства жизненных средств в этом обществе¹⁸, дают основание утверждать, что мысль Энгельса развивалась в том же направлении.

Открытие Морганом рода давало возможность восполнить важное недостающее звено в марксистской концепции первобытного общества. Именно открытие рода позволяло конкретизировать понятие «естественно-сложившегося коллектива», раскрыть принципиально иную социальную структуру, чем известные до тех пор, определить основные характеристики и законы движения первобытной общественной формации. Оно являлось, как подчеркивали Маркс и Энгельс, ключом к первобытной истории. В составленном Марксом конспекте книги Морган, в выпусках из других книг по первобытной истории Маркс неизменно подчеркивал решающее значение рода¹⁹. Смысл кратких замечаний Маркса развертывает Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», представляя исследование родового строя как совокупность ряда открытий, исходной точкой для которых послужил анализ систем родства²⁰.

Тайна «естественно-сложившегося коллектива» была раскрыта. Рассматривая этот коллектив в полном соответствии с высказыванием Маркса как *«природную определенность»*, с которой «начинается история»²¹, Энгельс следующим образом охарактеризовал ее соотношение с решающим социальным фактором — трудом: «Чем меньше развит труд, чем более ограничено количество его продуктов, а следовательно и богатство общества, тем сильнее проявляется зависимость общественного строя от родовых связей». В конце концов рост производства приводит к разложению старого родового общества²².

Эта общая закономерность развития родового строя, аналогичная закону соответствия производственных отношений уровню производительных сил, но не полностью с ним совпадающая (поскольку отношения родства составляют как бы оболочку производственных отношений, однако к ним не сводятся), не всегда прослеживается на примере от-

¹⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 47, 462.

¹⁶ Там же, т. 13, с. 37 (прям.).

¹⁷ Там же, т. 16, с. 512.

¹⁸ Там же, т. 35, с. 103.

¹⁹ Там же, т. 45, с. 375, 378, 398, 432.

²⁰ Там же, т. 21, с. 26, 46, 47, 86.

²¹ Там же, т. 46, ч. I, с. 47, 462.

²² Там же, т. 21, с. 26.

дельных обществ в силу особенностей исторического процесса на стадии первичной, или архаической, формации. Общие черты ее охарактеризовал Маркс в своих «Набросках ответа на письмо В. И. Засулич». Здесь, в частности, показано, что социальное развитие в эту эпоху носит прерывистый характер. Отдельные его этапы образуют пласты, на которые наслаиваются все новые исторические отношения. Преемственность между этапами является скорее исключением, чем правилом, она реализуется лишь в отдельных «точках роста» первобытного общества. Связи между отдельными обществами, существовавшими синхронно, носили спорадический характер. Общества были миниатюрными, часто их границы совпадали с границами отдельных общин. Достижения таких обществ исчезали вместе с их гибелью. Поэтому развитие прокладывало себе путь как бесконечное множество повторений. В конечном итоге возникли устойчивые социальные связи и отношения родового строя, а также общинная организация, порой объединявшая крупные системы общин.

Переход ко вторичной формации совершился не во всех регионах мира. Энгельс обратил на это внимание еще в «Анти-Дюринге»²³. Рубеж между формациями, переход одной в другую характеризуется не только тем, что именно сохраняется в качестве предпосылок и условий дальнейшего развития, но и тем, что гибнет, освобождая путь для этого развития. Гибнущие компоненты в отличие от тех, которые переходили в следующую формацию, не были способны к самостоятельному существованию, но без них исчезало и все старое общество как таковое. При переходе от первичной ко вторичной формации распались родовые связи и разрушились первобытные общины. Продуктивным, творческим этот процесс был лишь в небольшой части ойкумены, где началось быстрое развитие социальных отношений, присущих вторичной формации. Часть архаических обществ погибла бесследно, другая продолжала существовать, как бы выпадая из процесса развития и постепенно деформируясь в новых условиях. В ряде случаев такие деформированные общества были довольно крупными по своим размерам и занимали обширные территории.

Описанный выше общий характер исторического процесса в первобытную эпоху столь сложен, что его изучение являлось во времена Маркса и Энгельса и является теперь одной из самых трудных задач, стоящих перед наукой. Решение этой задачи предполагает комплексный подход с использованием данных и методов как естественных, так и гуманитарных наук²⁴. Но ни одна самостоятельная научная дисциплина не может изучать свой объект, не создавая с самого начала его обобщенной картины. С такого обобщения собственно и начинается самостоятельная жизнь науки. Наука о первобытном обществе сложилась в третьей четверти прошлого столетия. Именно тогда появились первые обобщающие труды И. Бахофена, Дж. Леббокка, Дж. Мак-Леннана, Г. Мейна, и, наконец, Л. Г. Моргана. Для своего времени они также фактически осуществляли комплексный подход, учитывавший данные этнографии, археологии, антропологии, языкознания и исторических источников. При этом они опирались на достижения геологии и эволюционной биологии. Но из всех названных выше авторов только Морган нащупал те существенные социальные отношения, которые составляли специфическое отличие первобытного общества, по крайней мере в пору его расцвета, и сумел показать связь отношений родства с развитием экономики. Отсюда — столь высокая оценка его труда Марксом и Энгельсом.

²³ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 186. Энгельс говорит здесь о переходе к рабовладельческому строю, который Маркс впоследствии рассматривал как один из этапов вторичной формации.

²⁴ О состоянии современного аппарата исследования см. например: Этнография как источник реконструкции первобытного общества. М.: Наука, 1979; Першиц А. И., Шнирельман В. А. Источниковедение первобытной истории. — В кн.: История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. М.: Наука, 1983, с. 33—93. Naroll R., Cohen R. (Ed.) A Handbook in Cultural Anthropology. N. Y., 1973.

Таким образом, наука о первобытном обществе достигла в 1870-е годы определенной ступени зрелости — как раз тогда, когда социальное и политическое развитие европейских стран и в особенности прогресс рабочего движения настоятельно требовали дальнейшего развития революционной теории исторического материализма. Этим определялись, как уже отмечалось выше, интенсивные занятия Маркса и Энгельса историей первобытного общества и сопряженными с ней проблемами. Отсюда же задуманное Марксом и осуществленное Энгельсом намерение обобщить свои результаты в специальной работе, опираясь на высшие достижения науки того времени²⁵.

Энгельс ознакомился с составленным Марксом конспектом книги Моргана в январе 1884 г., а спустя некоторое время и с самой книгой. Придавая исключительно большое значение затронутым в ней проблемам, он откладывает другие дела и садится в конце марта за написание своей работы. Она была создана в чрезвычайно короткий срок — меньше двух месяцев. В мае рукопись «Происхождение семьи, частной собственности и государства» была уже у издателя, а в начале октября того же года книга вышла из печати. Энгельс сам высылает первые экземпляры видным деятелям социалистического движения, заботясь о распространении книги в рабочей среде.

Одним из вопросов, вынесенных Энгельсом в заглавие его книги, был вопрос о происхождении семьи, занимающий более трети ее объема. Для рабочего класса и для всего общества в целом это была одна из наиболее острых социально-политических проблем. И сегодня она остается острой даже в самых развитых капиталистических странах. Прогрессивная представительница американской науки Э. Ликок пишет о характерном для сегодняшнего американского общества крайнем социальном «отчуждении» женщин, при котором их способность рожать превращена в обязанность, а их труд из социально необходимого преобразовался в личное услужение в рамках семьи. Она посвящает несколько страниц в своем «Введении» к книге Энгельса проблеме консолидации женского движения в Соединенных Штатах²⁶.

О том, чем была буржуазная семья, основанная «на капитале, на частной наживе», Маркс и Энгельс писали уже в «Манифесте Коммунистической партии»²⁷. Они указывали, что бесправие женщин ложилось страшным бременем прежде всего на неимущие классы, ибо буржуазная моногамия дополнялась публичной проституцией за их счет. Но в своей книге Энгельс поставил перед собой задачу показать возникновение моногамии, проследив весь путь ограничения общения полов от гипотетической стадии промискуитета через различные виды группового брака к парному браку и, наконец, моногамии. Переход к каждой объективно более высокой ступени брака совершался под влиянием изменений в производительных силах общества и сопровождался, как правило, все большим ухудшением положения женщин: от гипотетического первоначального матриархата до отмены «материнского права», последовавшего за первым крупным разделением труда и выделением скотоводов. Энгельс показал при этом взаимосвязь и взаимодействие родовой организации и различных форм семьи в ходе исторического развития. Он пришел к заключению, что достигнутая ценой порабощения женского пола форма брака исчезнет вместе с уничтожением капитализма. Энгельс предсказывает, что со временем в коммунистическом обществе единственным регулятором брачных и семейных отношений станет любовь²⁸.

Подход Энгельса к конкретному материалу, на основе которого строилась схема исторического развития семьи, был чрезвычайно остро-

²⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 25.

²⁶ Leacock E. B. Introduction. — In: Engels F. The Origin of the Family, Private Property and the State. N. Y., 1972, p. 40, 41, 43—46.

²⁷ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 443.

²⁸ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 85. Подробнее анализ высказываний Ф. Энгельса см.: Семенов Ю. И. Происхождение брака и семьи. М.: Мысль, 1974, с. 266—279.

рожным. Предвидя открытие новых фактов и возможность изменения концепций, он формулировал свои мысли так, чтобы оставить простор для дальнейших научных поисков²⁹. Поправки Энгельса к четвертому изданию его книги свидетельствуют о том, насколько внимательно он следил за развитием науки и отбирал все ценное для совершенствования своей концепции. Он частично заменил термин «пуналуа» на «групповой брак», поскольку наряду с семьей «пуналуа» появились сведения о других формах группового брака. Позднее оказалось, что сведения о семье пуналуа были вообще недостоверными. Он использовал и новые данные М. М. Ковалевского о развитии семьи, а также поддержал идеи австраловедов Л. Файсона и А. Хаунтта относительно того, что орду в которой господствовал промикутит, сменила не кровнородственная семья, а организация из двух экзогамных брачных классов³⁰. В этой концепции уже содержался зародыш идеи дуально-родовой организации, восторжествовавшей в современной науке.

В развернувшейся с конца прошлого века критике концепции Морган и в частности его схемы развития семьи, было два течения. Одно — откровенно тенденциозное, отстаивавшее «ценности» буржуазного мира. Сторонники этого течения в конце концов потерпели поражение³¹. Другое течение пошло по пути, который предвидел Энгельс: на основе выявленных существенно новых фактов в схему Моргана были внесены важные коррективы³². Впрочем, споры по этим вопросам продолжают до сих пор. Некоторые ученые полагают, что существование матрилинейной и патрилинейной системы отсчета родства у различных этносов ставит под сомнение факт перехода первой во вторую. Между тем, науке теперь, как и в прошлом веке, известны конкретные случаи перехода от матрилинейной к патрилинейной системе отсчета, но неизвестен ни один обратный случай³³.

Сравнительно недавно, в 1960—1970-х гг., развернулась также дискуссия относительно характера племени как формы организации общества. Как показали материалы многих исследований, племена в самых различных районах мира часто представляют весьма аморфные объединения, не имеющие той четкой организации власти, которую наблюдали у ирокезов Морган и другие исследователи³⁴. Не исключено, что организация ирокезов сложилась в какой-то мере под воздействие контактов с колонизаторами³⁵. Но, во-первых, это требует более основательных доказательств: ведь в сфере влияния колонизаторов находились зачастую и те племена, у которых организация власти была выражена значительно слабее. Во-вторых, достаточно много примеров племен, где подобная организация власти имела. Об этом же свидетельствует и формальное воспроизведение племенного строя в структуре античных государств.

В целом различные определения племени, выдвигавшиеся в ходе дискуссии, свидетельствуют о методологических недостатках в подходе к этому явлению, особенно об отсутствии историзма³⁶. Между тем, Энгельс

²⁹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 28, 37.

³⁰ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 47—50. Подробнее см.: Винников И. I Четвертое издание книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (Опыт текстологического анализа). — Вопросы истории доклассового общества (Труды Ин-та антропологии, археологии и этнографии, т. IV). М., 1936, с. 31—192.

³¹ White L. The Concept of Evolution in Cultural Anthropology. — Evolution and Anthropology: a Centennial Appraisal. Washington, 1959.

³² См. подробнее: Семенов Ю. И. Указ. раб.

³³ Fluehr-Lobban C. A Marxist Reappraisal of the Matriarchate. — Current Anthropology, v. 20, № 2, 1979, p. 346—357; Cp. Tylor E. B. On a Method of Investigating the Development of Institutions: Applied to Laws of Marriage and Descent. — Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 18, 1889, p. 245—26

³⁴ См. подробнее: Fried M. The Notion of Tribe. Menlo Park, California, 1975.

³⁵ Воздействие на экономику ирокезов было бесспорным. Cp. Hunt G. T. The War of the Iroquois. A Study in International Trade Relations. Madison, 1960.

³⁶ О дискуссии см. подробнее: Шнирельман В. А. Проблемы доклассового и раннеклассового этноса в зарубежной этнографии. — В кн.: Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М.: Наука, 1982, с. 207—252.

в своей работе проводит различие между первоначальным племенем, которое в терминологии современной науки можно было бы обозначить как этническую общность³⁷ и более поздним объединением, в котором выкристаллизовались функции управления. Детальная разработка понятия «этнос» советскими учеными позволила рассматривать племя и как этническую общность, и как социально-потестарный организм, а также выделить определенные стадии его развития³⁸.

Следующая проблема, вынесенная Энгельсом в заглавие книги — происхождение собственности. Речь здесь идет не только о буржуазной собственности, ибо ее возникновение было рассмотрено Марксом и Энгельсом ранее как в фундаментальных трудах, так и во многих произведениях, адресованных широкой рабочей аудитории, но и о генезисе частной собственности вообще. Речь шла также о возникновении общей собственности, развитии и разложении различных ее форм. Единственный в Европе большой массив такой собственности в виде общинной собственности крестьян, сохранившийся в России, был на пороге уничтожения. В Западной Европе происходил процесс вытеснения частной собственности, основанной на личном труде, крупной капиталистической собственностью³⁹. Народы, у которых развитие капитализма зашло особенно далеко, стремились, как отмечал Маркс, лишь к тому, «чтобы разбить его оковы, заменив капиталистическое производство производством кооперативным и капиталистическую собственность — *высшей формой* архаического типа собственности, т. е. собственностью коммунистической»⁴⁰. Попытаться сохранить эту форму собственности там, где она существует, или регенерировать общинные традиции в сельском хозяйстве в новых условиях в Западной Европе после победы рабочего класса — такая задача объективно стояла перед пролетарскими революционерами⁴¹. Именно в связи с нею Энгельс опубликовал в 1882 г. свое сочинение о немецкой общине-марке и рассматривал эту проблему в ряде других своих произведений⁴².

Проблему развития общей собственности и ее последующего разложения Энгельс в своей книге анализирует в тесной связи с эволюцией общинно-родового строя. Рассматривая последовательные фазы развития первобытного общества, Энгельс вычленяет три основные формы хозяйства и связанные с ними формы общей собственности: 1) Первобытное коммунистическое общее домашнее хозяйство, возникшее в эпоху господства материнского права и сохранившееся до расцвета средней ступени варварства⁴³. Размеры семейной общины на этой стадии были различными в зависимости от местных условий. 2) Патриархальная домашняя, или большая семейная, община, объединяющая несколько поколений под высшим управлением одного старейшины⁴⁴. Обработка земли велась сообща, потребление обеспечивалось из общего запаса. Род и племя еще сохраняли за собой верховное право распоряжения землей⁴⁵. 3) Сельская община или община-марка. На этой последней стадии в общину начинает проникать частная собственность.

Энгельс оперирует здесь всем имевшимся тогда в его распоряжении материалом, относившимся к самым различным периодам и к разным народам. Так, иллюстрацией ко второй из перечисленных выше форм служит задруга южных славян. На многие вопросы тогда (как впрочем и сейчас) наука еще не могла дать ответа. Самой важной среди нерешенных проблем была проблема гибели древнегерманской общины, а точ-

³⁷ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 97—99.

³⁸ Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973; Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П. История первобытного общества. М.: Высшая школа, 1982, с. 105—107, 143—145.

³⁹ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 250—251.

⁴⁰ Там же, с. 413.

⁴¹ Там же, с. 344; ср. т. 37, с. 381.

⁴² Там же, т. 19, с. 327—345.

⁴³ Там же, т. 21, с. 43, 53, 139.

⁴⁴ Там же, с. 62—63, 121, 140.

⁴⁵ Там же, с. 93, 97, 121.

нее ее трансформация на рубеже первого тысячелетия. Энгельс, как и Маркс, располагал лишь описаниями Цезаря и Тацита, разделенными полутора столетиями. Эти документы фиксировали начало и конечный результат процесса трансформации⁴⁶. Лишь современная наука, опираясь на ряд новых данных, в том числе археологических, несколько продвинулась в решении этого вопроса. Особенно значительный вклад в анализ проблемы внесли ученые ГДР⁴⁷.

Исследование Энгельса было первой попыткой показать с позиций исторического материализма эволюцию форм собственности с самых ранних ступеней развития человеческого общества и до возникновения классов. Его книга предопределила направление дальнейших исследований на столетие вперед.

Еще одна проблема, обозначенная в названии книги, — проблема происхождения государства, была столь же актуальна, как и две другие, но отличалась еще большей политической остротой.

Без фундаментального исследования происхождения государства нельзя было, как уже говорилось, успешно вести борьбу против распространения в рабочей среде анархистских и иных взглядов, нельзя было четко определить позицию революционной пролетарской партии в этом вопросе.

Энгельс рассмотрел в своей книге, как известно, три примера возникновения государства — древнегреческого, римского и государства у германцев. Такой выбор был не только следствием слабой изученности государств Древнего Востока и других регионов, но объяснялся также органичностью и наглядностью указанных примеров. Античные и раннесредневековые государства оказали и непосредственное и опосредованное культурное влияние на все развитие европейской государственности, а ведь именно европейским рабочим была в первую очередь адресована книга Энгельса. Здесь Энгельс мог в большей мере, чем в других вопросах, опираться на конкретную историю, на последовательный ряд событий и рассмотреть целый период истории. Другое дело, что европейскими примерами отнюдь не исчерпываются все пути классовообразования и возникновения государства. Высказывания Маркса и Энгельса о различных вариантах этих процессов в других регионах, содержащиеся в «Анти-Дюринге», «Капитале» и других произведениях, послужили основой для многих конкретных исследований⁴⁸.

В своей книге Энгельс исследовал не только процессы образования классов и государства, не только развитие политического аппарата, органов управления, но и развитие классовой борьбы, а также сущность и историческое место основных докапиталистических форм эксплуатации. Он в определенной мере осветил также влияние эксплуататорского строя на духовное развитие и моральный облик людей. Энгельс создал первый труд по теории и истории государства, основанный на конкретном историческом материале. С этой оценкой согласны не только советские историки, но и представители зарубежной науки. В одной из последних работ по истории государства отмечается, например, что Энгельс преодолел простое теоретизирование о проблеме государства и дал «первое доскональное ее исследование», «основанное на данных истории и антропологии»⁴⁹.

Нам заслуга Энгельса представляется еще большей. Ему удалось поднять исторический пласт, который он сам в начале своей книги называл доисторией и предысторией. Отныне это стала тоже история, но не имеющая письменных источников⁵⁰.

⁴⁶ Там же, с. 139; т. 19, с. 403.

⁴⁷ Beiträge zur Entstehung des Staates/Hrsg. von J. Herrmann und I. Sellnow. 2 Aufl.— Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Bd. 1, Berlin, 1974.

⁴⁸ См., например: Становление классов и государства. Сборник статей. М.: Наука, 1976.

⁴⁹ The Early State.— New Babylon Studies in the Social Studies, 32. The Hague, 1976, p. 6.

⁵⁰ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 28; т. 4, с. 424 (прим.).

Важно отметить, что весь исторический анализ служил прежде всего одной цели — прогнозу будущего. Регресс в эпоху цивилизации, в эпоху классовой борьбы заключался в том, что люди утратили контроль над собственным производством. «Задачей ближайших поколений,— писал Ф. Энгельс,— будет обратное завоевание его, но уже на основе ныне приобретенного могучего господства человека над природой и на основе свободной ассоциации, которая стала теперь возможной»⁵¹. Таким образом, Энгельс уже на основе исторического исследования вновь подтвердил прогноз марксизма о будущем развитии человеческого общества.

Выше мы сосредоточили внимание исключительно на тех проблемах теории научного коммунизма, анализ которых дал Энгельс в своей книге. Но, разумеется, содержание ее этим отнюдь не исчерпывается. Оно неизмеримо богаче и касается самых различных вопросов исторического материализма и всемирной истории. Энгельс не просто осуществил замысел Маркса и свой о создании работы на основе труда Моргана. Он положил начало теоретической истории первобытного общества, в которой рассмотрел также историю разложения первобытных общин в изменившихся исторических условиях, а именно в рамках рабовладельческой и феодальной формаций. В своем изложении Энгельс использовал, а в большинстве случаев и воспроизвел, наиболее интересные замечания, сделанные Марксом в конспекте книги Моргана. Тем самым эти ценные методологические указания стали достоянием читателей за многие десятилетия до того, как была опубликована рукопись Маркса. Напомним хотя бы одно из них. Маркс замечает по поводу соотношения семьи, формы которой постоянно изменяются в ходе истории, и систем терминов родства, которые лишь пассивно и с запозданием регистрируют происходящие изменения,— «...точно так же обстоит дело с политическими, юридическими, религиозными, философскими системами вообще»⁵².

Одним из неоспоримых достоинств книги Энгельса является обобщение многочисленных частных данных Моргана и других авторов и выведение общих закономерностей ранних этапов всемирно-исторического процесса. Самым ярким примером подобного рода является обобщение моргановской периодизации истории на основе главным образом экономических критериев. По Энгельсу «дикость — период преимущественно присвоения готовых продуктов природы», «варварство — период введения скотоводства и земледелия, период овладения методами увеличения производства продуктов природы с помощью человеческой деятельности», а «цивилизация — период овладения дальнейшей обработкой продуктов природы, период промышленности в собственном смысле этого слова и искусства»⁵³.

Энгельс не только обобщал, но и уточнял содержание ряда понятий теории первобытного общества по сравнению с моргановскими. Это касается также понятия рода. В отличие от Моргана, допускавшего возможность распространения родовой организации путем ее заимствования, он считал род социальным институтом, имевшим универсальное значение.

Фундаментальное значение имеет содержащийся в книге анализ рабовладельческого строя и судеб античной цивилизации. Отмечая прогрессивные по сравнению с предыдущими стадиями развития черты рабовладельческого способа производства, Энгельс вскрыл вместе с тем причины ограниченного характера его развития. Они заключались не только в низкой производительности рабского труда, но и в порожденном эксплуатацией рабов презрением свободных к производительному труду. Таким образом, моральный социально-психологический фактор приобрел значение одной из социально-экономических причин упадка античной экономики. Антагонистические противоречия между рабами и рабовладельцами не могли, однако, в условиях античной цивилизации при-

⁵¹ Там же, т. 21, с. 112.

⁵² Там же, с. 36.

⁵³ Там же, с. 33.

вести к упразднению рабства путем революционного насилия. «...Уничтожения рабства победоносным восстанием, — писал Энгельс, — древний мир не знает»⁵⁴.

Анализируя процесс перехода к феодализму в Европе, Энгельс проследил ряд его вариантов, зависевших от конкретных социально-экономических условий отдельных стран, в которых он протекал. В пределах Римской империи его сравнительно быстрым темпам способствовал синтез различных социально-экономических систем, носителями которых являлись, с одной стороны, германские племена, вторгшиеся на территорию империи, с другой — ее коренное римское или романизированное население. Сам переход к новой форме эксплуатации Энгельс охарактеризовал лаконичной формулировкой: «между римским колоном и новым крепостным стоял свободный франкский крестьянин»⁵⁵. Концепция Энгельса, обратившего внимание прежде всего на трансформацию социально-экономических основ античного общества, была существенным шагом вперед по сравнению с современной ему историографией, рассматривавшей преимущественно правовые или этнические аспекты этого процесса.

Самостоятельное значение имеют разделы книги, посвященные родовому строю кельтов и германцев, которые являются обобщением собственных многолетних исследований.

Наконец, исключительно важен анализ противоречивого характера прогресса в классовых обществах, т. е. в эпоху цивилизации. Так как основой цивилизации, — пишет Энгельс, — служит эксплуатация одного класса другим, то все ее развитие совершается в постоянном противоречии. Всякий шаг вперед в производстве означает одновременно шаг назад в положении угнетенного класса, то есть огромного большинства⁵⁶.

Цивилизация, сломав узкие рамки родового строя, в то же время нанесла огромный моральный урон людям, изменив их моральный облик, пробудив в них «жадность», «корыстное стремление к грабежу общего достоинства», приучив их к неразборчивости в средствах удовлетворения своих низменных побуждений, к воровству, насилию, измене. Между тем, людям родового строя были присущи высокая нравственность, чувство собственного достоинства и прямодушие. Задача воспитания новых поколений в условиях коммунистического преобразования общества, о которой говорилось уже в «Манифесте», получает теперь дополнительное историческое обоснование. Этот процесс создания нового человека включает, таким образом, возрождение на новой основе присущих людям высоких идеалов нравственности.

Ф. Энгельса всегда отличало удивительное умение писать просто, доходчиво и ярко о самых сложных вопросах науки и действительности. Эти достоинства в высокой степени присущи и его замечательной книге, под влиянием которой многие поколения борцов приобщились к высоким идеалам коммунизма.

⁵⁴ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 155.

⁵⁵ Там же, с. 154.

⁵⁶ Там же, с. 99.

Н. П. Лобачева

ИЗ ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКСКОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА

**[К проблемам Историко-этнографического
атласа Средней Азии и Казахстана]**

Работа над Историко-этнографическими атласами народов СССР, проводимая уже много лет Институтом этнографии АН СССР по ряду регионов совместно с Институтами истории Академий наук союзных республик и музеями, ставит перед исследователями вопросы выяснения эволюции, исторической преемственности тех или иных элементов куль-

туры. Это диктуется теми сложными проблемами этногенеза и этнической истории народов, истории их традиционной культуры, отдельных ее явлений, разрешению которых должны способствовать материалы составляемых атласов.

Предлагаемая статья посвящена вопросам истории каракалпакского женского традиционного костюма, а именно некоторым сюжетам, которые до сих пор не получили окончательного решения в научной литературе: почему на одних элементах костюма вышивка сделана крестом, на других — тамбурным и петельным швами в обоих случаях в сочетании с небольшим количеством глади; почему вышивка крестом всегда выполнялась на тканях определенной цветовой гаммы, а вышивка тамбуром — на тканях иных цветовых сочетаний? Эти вопросы будут рассматриваться в связи с историей таких видов каракалпакской женской одежды, украшавшихся вышивкой, как рубаха-платье (*койлек*), головная накидка-халат (*жегде*) и накидка из двух кусков ткани с отверстием для лица (*кимешек*), различавшихся у разных возрастных групп.

Исследование указанных вопросов во многом помогает понять историю не только каракалпакского, но и общерегионального среднеазиатского костюма.

В начале XX в. виды одежды с вышивкой крестом, шившиеся преимущественно из домотканых материй только белого и густо-синего цвета, входили в комплексы костюма женщин разных возрастов. Из них ак-жегде и ак-кимешек — элементы женского головного убора из ткани белого цвета были принадлежностью костюма пожилых женщин, а уходящее из быта кок-койлек (синее платье) — праздничной одеждой невест, а также молодых женщин. Жегде и кимешек, сшитые из цветных тканей с преобладанием красных тонов (отсюда их название *кзыл-жегде*, *кзыл-кимешек*) и с вышивкой тамбуром и петельным швом по красному и черному сукну, были одеждой только молодых женщин. Из вышитого сукна в кзыл-жегде делали воротники, в кзыл-кимешек — нагрудную часть, отделку его наспинной части.

Разница в цвете материала и характере вышивки на названных видах одежды, совпадающая в основном с разновозрастными комплексами одежды, объясняется, на наш взгляд, генетической одновременностью последних в составе каракалпакского костюма и связана в известной мере с этнической историей этого народа и общим процессом развития его культуры. Виды одежды из домотканины с вышивкой крестом, в начале этого века входившие, как говорилось, в состав одежды разных возрастных групп, раньше, по-видимому, являлись принадлежностью костюма одной возрастной группы — молодых женщин — и представляли собой ранний пласт в истории каракалпакского костюма.

Чтобы показать правомерность такой постановки вопроса, попытаемся первоначально выделить в каракалпакском костюме начала XX в. наиболее древние элементы, исходя из характера вышивки, покроя, ткани и некоторых других признаков, в известной мере помогающих определить этапы исторического развития одежды каракалпаков.

Сведения о традиционной одежде этого народа, в основном собранные в советское время¹, позволяют более или менее полно и детально представить каракалпакский костюм в развитии в основном с конца XIX — начала XX в. Информаторы 1940—1950-х годов, когда производились

¹ Жданко Т. А. Каракалпаки Хорезмского оазиса. — Тр. Хорезмской экспедиции (далее — ТХЭ). Т. I. М., 1952; *еже*. Народное орнаментальное искусство каракалпаков. — ТХЭ. Т. 3. М., 1958; Морозова А. С. Культура домашнего быта каракалпаков начала века (К вопросу этногенеза): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. истор. наук. Ташкент, 1955; Есбергенов Х. Одежда. — В кн.: Этнография каракалпаков. XIX — нач. XX века. Ташкент, 1980.

Для изучения каракалпакской одежды имеют большое значение ее коллекции в ГМЭ, Каракалпакском музее искусств (Нукус), в Музее искусств народов Востока, собранные также в советское время и значительно пополненные в 50-е годы художником И. В. Савицким.



Рис. 1. Халат-накидка пожилых женщин *ак-жегде*: а — вид спереди, б — вид сзади. Муйнакский район Каракалпакской АССР. Эта и последующие фотографии выполнены Ю. А. Аргиропуло

массовые полевые сборы материалов по культуре каракалпаков, уже не могли ответить на вопрос, почему на разных видах женской одежды была та или иная вышивка. В их представлении вышивки как крестом, так и тамбуром исконно каракалпакские, и виды одежды, на которых они встречаются, также подлинно каракалпакские и давние, т. е. наши вопросы лежат за пределами «этнографической» памяти, а какие-либо письменные свидетельства об этом отсутствуют. Поэтому, чтобы приоткрыть историю каракалпакского костюма до XX в., в значительной степени приходится пользоваться методом разнообразных сопоставлений и аналогий с костюмами других народов.

Известно, что наиболее древней техникой вышивки является счетная, выполняемая по счету нитей ткани. Вышивка крестом одна из ее разновидностей². На каракалпакской одежде мы встречаемся с вышивкой мелким счетным крестом, выполненной цветным шелком по ткани полотняного переплетения, обычно домашнего изготовления. Таким образом, виды каракалпакской одежды с вышивкой крестом (*ак-жегде*, *ак-кимешек*, *кок-койлек*) есть основания отнести к наиболее архаичным.

Для выявления генетически наиболее ранних форм одежды рассмотрим теперь ее покрой.

Естественно предположить, что комплекс женской одежды начала XX в. сложился неодновременно. Наиболее поздние элементы в нем, очевидно, те, которые имеют более современный покрой. Это *камзол*, *беишент* — разновидность камзола, *гуни* — одежда типа камзола с ватной прокладкой, *женгсиз* — безрукавка, имевшие выкройную по фигуре человека, часто сшивную спинку, скругленную пройму и шов на плече, т. е. наиболее распространенный покрой одежды наших дней. Одежда такого покроя появилась у каракалпаков, как и у других народов Средней Азии и Казахстана, примерно в конце XIX в.³

Другие виды наплечной одежды каракалпачек — туникообразного покроя. Основные принципиальные признаки его следующие: платье, как и халат, т. е. глухая и распашная одежда, кроются из сложенного пополам полотнища, составляющего их стан, без швов на плечах. К стану по прямой линии пришиваются рукава из ткани, положенной по утку. Они, как правило, у запястья суженные, т. е. со скашиванием ткани. Ниже рукава к стану пришиваются боковины. Наиболее распространенный вариант боковин с расширением книзу. Между боковиной и рукавом вшивается различной формы ластовица. При таком покрое рукав как бы «входит» в основу платья. Характерно, что спинка и перед платья или руба-

² Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки. М.: Наука, 1978, с. 41.

³ Сухарева О. А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии. — В кн.: Костюм народов Средней Азии. М.: Наука, 1979, с. 10.

хи одинаковы по очертаниям и размерам. Вырез у платья в виде треугольника с вертикальным разрезом на груди; у халата вырез более глубокий, воротником не оформлен.

Туникообразный тип кроя по сравнению с другим типом, названным нами *выкройным*, исходным моментом которого является человеческая фигура, генетически наиболее древний не только в исследуемом регионе, но и вообще в истории одежды⁴. Таким образом, все виды одежды туникообразного покрова генетически более древние в сравнении с выкройной одеждой.

Исключив из состава одежды каракалпачек явно более поздние ее виды с выкройным рукавом, исследователь вновь оказывается перед вопросом: одновременно ли возникли элементы костюма туникообразного покрова? Очевидно, нет, поскольку покрои отдельных видов одежды отражают разные этапы истории развития туникообразного покрова. Чтобы показать это, обратимся к его истории.

На материале среднеазиатско-казахстанского региона по реликтам древних черт кроя в ныне существующих формах одежды реконструируются следующие варианты туникообразного покрова: 1) стан рубахи, рукава-платья, как и халатов, состоит из двух узких, прямых сшитых по середине и по бокам перегнутых полотнищ, боковины отсутствуют, рукава из поперечного куска ткани по всей длине имеют одну ширину. Реликт кроя без боковин обнаружен пока только у кашкадарьинских узбеков на мужских распашных рубахах⁵; 2) стан состоит из одного сравнительно широкого полотнища, рукава пришиты к стану, ниже рукавов к стану присоединены боковины, имеющие, как и рукава, одинаковую ширину по всей длине. В XX в. вариант кроя без скашивания ткани на боковинах и рукавах имел ограниченное распространение. Наиболее часто встречался в Ташкентско-Ферганском регионе⁶; 3) стан из широкого полотнища, сложенного пополам, но в отличие от предыдущего варианта и рукава и боковины имеют скосы, т. е. ширина рукавов у основания и у запястья различается, ширина боковин под рукавом и в подоле неодинаковая. Последний вариант кроя в XX в. был широко распространен у всех народов региона, в том числе и у каракалпачков. Такие же варианты туникообразного покрова представлены в одежде народов Поволжья XVIII—XX вв. (особенно у мордвы-эрзи)⁷. Частично сохранились они и в костюме русских XIX в.⁸

Б. А. Куфтин считает крой без боковин и с боковинами двумя подтипами, Н. И. Гаген-Торн — двумя типами туникообразного покрова одежды.⁹ Мне кажется, описанные варианты туникообразного покрова одежды следует считать разновидностями одного типа кроя — туникообраз-



Рис. 2. Халат-накидка молодых женщин *кзыл-жегде* (*жипек-жегде*). Кегейлийский район Каракалпакской АССР

⁴ См.: *Белицер В. Н.* Народная одежда удмуртов. М.: Наука, 1951, с. 38; *Сухарева О. А.* Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции. — В кн.: *Костюм народов Средней Азии*, с. 97 и сл.

⁵ *Шаниязов К. Ш., Исмаилов Х. И.* Очерки материальной культуры узбеков конца XIX — начала XX в. Ташкент: Фан, 1981, с. 70.

⁶ *Сухарева О. А.* Опыт анализа..., с. 82, рис. 1 (1, 2, 5), с. 86, рис. 2 (2).

⁷ *Гаген-Торн Н. И.* Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960, с. 8, рис. 1 (рубаха-платье XVIII в.); *Белицер В. Н.* Народная одежда мордвы. М.: Наука, 1973, с. 41, рис. 1, а, б; 2, а, б; с. 52, рис. 1, а, б; 2, а, б; с. 60, рис. 2, а, б.

⁸ *Маслова Г. С., Станюкович Т. В.* Материальная культура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX — начало XX в.). — В кн.: *Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР*. М., 1960, с. 104, рис. 15, 1, а, б; с. 105, рис. 17, а, 1, 2.

⁹ *Куфтин Б. А.* Материальная культура русской Мещеры. Ч. 1. — Тр. Гос. музея ЦПО В. З. М., 1926; *Гаген-Торн Н. И.* Указ. раб.

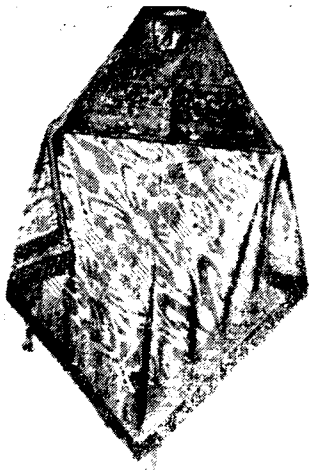


Рис. 3. *Кзыл-кимешек.*
Каракалпакская АССР

ного, отражающими разные этапы его развития. О. А. Сухарева вариант туникообразного покроя одежды, в котором рукава и боковины прямые, относит к более архаичному, поскольку он не требовал использования ножа или ножниц при крое: ткань разрывали по нитке¹⁰.

Логика развития покроя позволяет утверждать, что одежда без боковин, стан которой состоит из двух узких полотнищ, генетически более архаичная из всех перечисленных (это определяется уровнем техники ткачества, поскольку ткацкий станок с узкой основой более ранний, и меньшей сложностью кроя). Это подтверждают и хронологические данные по истории одежды, особенно мордвы-эрзи. В свете сказанного представляется, что отмеченные варианты туникообразного покроя одежды встреченные в названных регионах, отражают этапные моменты его развития¹¹.

В эволюции одежды туникообразного покроя есть и другие существенные хронологические признаки, например оформление ворота, в частности появление воротника, усложняющего крой, и развитие его форм.

У каракалпаков в начале XX в. общераспространенным, как уже говорилось, был вариант туникообразного покроя с раскошенными боковинами, а также с рукавами. Однако среди накидок-халатов пожилых женщин — ак-жегде, вышитых крестом, в отличие от кзыл-жегде боковины которых всегда раскошены, встречаются экземпляры с прямыми боковинами. Это является, очевидно, реликтом той ступени развития туникообразного покроя, когда прием скашивания еще был неизвестен. Реликтовой формой в ак-жегде является и длинный в виде прямой планки воротник, сплошь зашитый крестом (у кзыл-жегде воротник имеет ряд вариантов — от редко встречаемого в виде прямой полосы до шале видной формы). Таким образом, по особенностям покроя ак-жегде можно отнести к наиболее старинным видам каракалпакской женской одежды, т. е. предположение, сделанное на основании вышивки, относительно архаичности этого вида одежды подтверждается и ее покроем.

Покрой ак-кимешека по известным нам экземплярам таких заключений сделать не позволяет, он идентичен покрою кзыл-кимешека молодых женщин.

Что касается платья с вышивкой крестом — кок-койлек, то глубоких архаичных черт в его покрое нет. Это туникообразное, с широким, в полтора полотнища станом платье, боковины и рукава которого тоже очень широкие, имеют скосы, с небольшой треугольной ластовицей, вырезом треугольной формы и продолжающим его вертикальным разрезом на груди. Такой же покроем имели платья в 30-х годах XX в. из дотканых и других материалов. Платья 50—60-х годов XX в. отличались от них лишь меньшей шириной стана, боковин и рукавов.

Остановимся теперь на том, из каких тканей шился каракалпакский костюм, также с целью выявления наиболее древних элементов в его составе.

В начале XX в. традиционную одежду каракалпаки шили из хлопчатобумажных, полупелюковых, шелковых и шерстяных тканей домашнего,

¹⁰ Сухарева О. А. Опыт анализа ..., с. 80.

¹¹ В Средней Азии известен еще один вариант кроя из очень широкой ткани, напоминающий крой кимоно, возможно, более поздний, в XX в. связанный с распространением кустарных и фабричных тканей. Его тоже можно считать разновидностью туникообразного кроя.

кустарного и фабричного производства. Судя по коллекции тканей, собранной А. А. Мелковым во время экспедиции в Каракалпакскую автономную область в 1929 г. и хранящейся в ГМЭ (коллекция № 5111), домотканина, производство которой в зависимости от конкретных социально-экономических условий могло сокращаться и расширяться, в 20—30-х годах использовалась достаточно широко на многие виды одежды. Такие ткани, белые и в полоску — *боз* и *калеме* (*калами*), шли на мужские рубахи, и штаны; на традиционного покроя рубахи-платья употребляли материю в мелкую красно-черную клеточку под названием *шатыраш*, на халаты — желтую (*мелле*) и другие полосатые ткани — *калеме*, *алаша*; домотканину использовали также на подкладку. Домотканой пользовались и при изготовлении одежды современного покроя. В коллекции А. А. Мелкова представлены три образца плотной полосатой ткани, из которой шили мужские и женские камзолы. Они значатся как ткань «кзыл-ала» (что значит «красно-пегая»), *камзорлы-ала* и *ала-камзоллык*. Два последних названия переводятся как «полосатая, пестрая для камзолов». Таким образом, ткань домашнего производства у каракалпаков первой четверти XX в. сама по себе еще не указывает на архаичность данного вида одежды. Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что в 20—30-х годах XX в., по данным А. А. Мелкова и другого собирателя того времени — Дэвлета (в ГМЭ хранятся несколько платьев из его сборов, в частности из домотканой пестряди), у каракалпаков широко бытовали домотканые цветные ткани — в разнообразную полоску, в мелкую клетку; наряду с этим использовали и белую домотканую, шедшую, как говорилось, на мужские рубахи. О синей ткани домашнего производства в это время не упоминается.



Рис. 4. *Кой-койлек*. Каракалпакская АССР

Исследования у других народов (русских, народов Поволжья¹²) свидетельствуют, что одежде из домотканой крашенины и пестряди предшествовала одежда из белого холста, обычно покрывавшаяся счетной вышивкой. Исследователь одежды народов Поволжья — Н. И. Гаген-Торн пришла к выводу, что белая вышитая рубаха, распространенная у всех народов этого региона, является древним пластом в народной одежде. На смену ей пришла пестрядинная, постепенно теряющая вышивку. Последняя стала заменяться отделкой из яркой покупной материи¹³. В. Н. Белицер отмечает, что белая холщевая одежда (женская и мужская рубаха и халат) была типична как для финноязычных, так и для тюркоязычных народов Среднего Поволжья и Прикамья. По ее мнению, белая холщевая туникообразная рубаха, халат, головные уборы: на твердой основе в форме рога, в виде полотенца и шлемовидный — древние элементы в народном костюме мордвы, формирование которого она относит к домонгольскому периоду¹⁴. В разное время у разных народов этого региона белая холщевая одежда стала заменяться пестрядинной и из фабричного текстиля.

У народов Поволжья процесс смены белого холста домотканой пестрядью, а затем фабричной тканью в одежде, в частности женской, происходил не так давно и был зафиксирован этнографами. В начале XX в. исчезновение холщевой одежды со счетной вышивкой, которая ста-

¹² См.: Русские. Историко-этнографический атлас. М.: Наука, 1967, с. 195; Белицер В. Н. Указ. раб.; Гаген-Торн Н. И. Указ. раб.

¹³ Гаген-Торн Н. И. Указ. раб., с. 25.

¹⁴ Белицер В. Н. Указ. раб., с. 190, 198 и сл.

ла заменяться пестрыми тканями с набивным рисунком, отмечено также у обских угров¹⁵.

Такой же процесс происходил, очевидно, и у каракалпаков, но с той разницей, что время широкого распространения одежды из белой домотканины отодвинуто в глубь веков от периода использования на одежду домотканой крашенины и пестряди и вытесняющих их фабричных тканей. Последнее наблюдалось этнографами вплоть до середины XX в.

Поскольку наиболее старые экземпляры ак-жегде и ак-кимешек сшиты из белой домотканины полотняного переплетения, их можно отнести к древним видам каракалпакской одежды и по материалу.

Итак, ак-жегде и ак-кимешек по технике изготовления и цвету материала, по технике вышивки, а ак-жегде и по покрою есть основания причислять к видам одежды с архаическими чертами. Относится ли такая характеристика к вышитому крестом платью кок-койлек? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим все известное нам об этом платье.

Местное население считает кок-койлек традиционным старинным платьем. В первой четверти XX в. оно почти вышло из употребления и в настоящее время известно в основном по немногочисленным музейным экспонатам. В 1950-х годах в воспоминаниях информаторов уже не было полной ясности относительно того, кто и при каких обстоятельствах носил эти нарядные платья. Так, в Тахтакупрском районе нам сказали, что вышитое кок-койлек — принадлежность девичьего костюма, в него наряжали невест. Жители о. Тазбескум в Аральском море рассказывали, что девушки надевали кок-койлек на свадьбу. В Кегейлийском районе утверждали, что кок-койлек вышивали и носили девушки, хотя здесь же отмечалось, что их носили *келинчек* (молодухи). По материалам, собранным в Муйнакском районе, такие платья могли надевать только молодым. В Чимбайском районе были получены сведения, что вышитое кок-койлек входило в состав как девичьего, так и женского костюма, причем женщины носили их до 40-летнего возраста¹⁶. Разноречивость полученной информации отражает, видимо, не только стирание в народной памяти сведений об этом уходящем из жизни платье, но и передвижение его из состава одежды девушки-невесты в состав костюма другой возрастной и социальной группы — замужних женщин. В разных районах Каракалпакии этот процесс происходил неодновременно. В первой четверти XX в. наиболее прочно кок-койлек бытовало, видимо, в праздничном костюме молодых и в костюме невесты.

Вышитое кок-койлек, по словам информаторов из Кегейлийского района, шили из материала под названием «козак» (может быть, по наименованию ткацкого станка), который каракалпачки ткали из хлопка. Все известные нам кок-койлек сшиты из домотканого материала. Эту ткань белого цвета окрашивали в синий, затем шили платья и лишь потом вышивали их¹⁷. В работе Х. Есбергенова говорится, что красили ее привозными из Передней Азии и с Кавказа натуральными красителями¹⁸. В Чимбайском районе мы получили любопытные данные о том, что кок-койлек сначала носили без вышивки в качестве траурного платья (*аза*) и только потом вышивали. Насколько последнее утверждение соответствовало действительности, сказать трудно, так как мы имеем лишь одно свидетельство. Но может быть, именно с этим связано особое сакральное отношение к кок-койлек: по сведениям Х. Есбергенова, дымом от лоскутов кок-койлек и женгуш (нарукавники к нему) окуривали больных. Существование траурного кок-койлек без вышивки, которое полагалось носить в течение года в случае смерти близкого не старого по возрасту родственника, нам подтвердили в Чимбайском, Ка-

¹⁵ Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М., 1963, с. 78.

¹⁶ Полевые записи Каракалпакского отряда Хорезмской экспедиции 1956—1959 гг., начальник — Т. А. Жданко, собиратель — Н. П. Лобачева (далее — Полевые записи КК отряда ХЭ).

¹⁷ Полевые записи КК отряда ХЭ, 1957.

¹⁸ Есбергенов Х. Одежда. — В кн.: Этнография каракалпаков..., с. 92.

паузякском, Кегейлийском районах¹⁹. Оно также ушло из быта, что было связано, возможно, с утратой моды на одежду из ткани синего цвета, наблюдавшейся одно время в среднеазиатском регионе.

Все известные этнографам кок-койлек сшиты вручную, как и жегде и кимешеки, и не только из белых, но и из цветных тканей, в отличие от других видов одежды. Передняя часть стана платья вышита крестом. Геометрический орнамент на стане и боковинах различается; характер орнамента, расположенного ниже вертикального разреза ворота, напоминает по форме традиционные металлические украшения. Ворот имеет самостоятельное орнаментальное обрамление. Концы рукавов вышивали или на них нашивали вышивку, сделанную крестом на синей материи (*женгуш*). Среди кок-койлек встречаются и такие, которые подобно халатам имеют небольшие боковые разрезы на подоле и карман на правой стороне. Есть у них и *жага* (воротник) из красно-черного сукна с вышивкой тамбурным (*ильме*) и петельным швом, что характерно для повседневных женских платьев начала XX в. Эти дополнения, особенно жага из сукна, появились на кок-койлек позднее. Смещение вышивок крестом, тамбурным и петельным швом встречается и на более поздних экземплярах ак-жегде и ак-кимешек. Вышитые крестом воротник ак-жегде и нагрудная часть ак-кимешек иногда оторочены полосками из красного и черного сукна или другого материала с тамбурно-петельной вышивкой. Тем не менее у каракалпаков этот шов никогда не встречается на белой ткани. Очень часто в таких случаях угадывается вторичное использование деталей с вышивкой крестом.

Точными сведениями о времени появления вышитых крестом кок-койлек мы не располагаем. Однако есть данные о ношении синих платьев и о распространении тканей синего цвета. Это позволяет установить наиболее близкие сроки их бытования.

Синие рубахи из кустарной маты (ткань полотняного переплетения) в старину, «во время жизни (каракалпаков.— Н. П.) на Сырдарье», т. е. в XVII—XIX вв., носили пожилые женщины²⁰. В дневнике Гладышева и Муравина (первая половина XVIII в.) говорится: «Жены их носили рубахи, а по их куйляк, сшитые из крашеной синей и красной бязи»²¹. В очерке Амударьинской области Риза-кули-мирзы (XIX в.) сообщается, что в Чимбае на базаре продавали домотканый синий *боз* (*бязь*), называемый *шанжала*²². Платья из синих тканей в XVIII—XIX вв. были распространены также у казахов, башкир, южных алтайцев (женские распашные рубахи). Исследователи казахской народной одежды И. В. Захарова и Р. Д. Ходжаева объясняют этот факт обилием дешевых синих тканей, привозившихся из Средней Азии²³. Наличие в коллекциях ГМЭ синих платьев, принадлежавших узбекам-сартам и туркменам, расширяет их ареал в Средней Азии. В целом вопрос о времени появления в Средней Азии ткани синего цвета и причинах широкой популярности ее там и в других регионах остается открытым и должен стать темой специального исследования. Некоторые данные позволяют предполагать, что окраска домотканых материй в синий цвет производилась индиго и что использовался этот привозной краситель в Средней Азии давно. О. А. Сухарева считает, что вывозившаяся из Средней Азии в Россию в XIX в. ткань *зендель* или *зендель*, о которой говорит П. И. Небольсин, поясняя, что она окрашивалась индиго²⁴, имеет давнюю историю и связана со знаменитой бухарской хлопчатобумажной тканью *занданичи*,

¹⁹ Полевые записи КК отряда ХЭ, 1956—1959.

²⁰ См. *Есбергенов Х. Указ. раб.*, с. 79.

²¹ *Гладышев И., Муравин Д. В.* Поездка из Орска в Хиву и обратно в 1740—1741 гг., совершенная поручиком Гладышевым и геодезистом Муравиным. Спб., 1851, с. 68—72.

²² *Риза-кули-мирза.* Краткий очерк Амударьинской области. Спб., 1875, с. 31.

²³ *Захарова И. В., Ходжаева Р. Д.* Казахская национальная одежда. Алма-Ата, 1964, с. 80, 154.

²⁴ *Небольсин П. И.* Очерки торговли России со странами Средней Азии. Спб., 1856, с. 15.

описанной Наршахи X в. Производилась она в Бухаре до XIX в. Образцы такой ткани в XIX в. имели сине-зеленую окраску, получаемую путем накладки индиго на пряжу, окрашенную предварительно в желтый цвет²⁵. Ткань, из которой шили кок-койлек, густо-синего цвета. Возможно, это какой-то вариант домотканой крашенины с употреблением индиго, распространенной в Средней Азии и за ее пределами вплоть до XX в.

Итак, приведенные данные говорят, что в XVIII—XIX вв. синяя ткань и кок-койлек из этой ткани были распространены в каракалпакском быту, т. е. кок-койлек начала XX в. генетически наиболее раннее. Предшественником его у каракалпаков, по всей видимости, было вышитое платье из неокрашенного материала. По этнографическим и другим источникам известно, что у каракалпаков в прошлом существовала ткань *торка*, очень хорошего качества, красивая, прочная, с серебристым отливом, пряжа для которой изготовлялась из волокон дикорастущего растения кзыл-кендырь. Есть сообщения, что эта ткань для женской одежды делалась из наиболее тонкой пряжи. Из такой ткани шили женские платья, которые вышивали крестом; цвет их, по воспоминаниям информаторов, был желтым²⁶. Косвенно о существовании светлых вышитых платьев свидетельствуют другие названия кок-койлек: *кестели-койлек*, т. е. вышитое, и *халкалы-койлек*, т. е. с подвесками. Аргументом в пользу существования белых вышитых крестом платьев у каракалпаков в прошлом говорит и традиция вышивать крестом одежду из белой ткани — имеются в виду ак-кимешек и ак-жегде, последнее также называю-ют «кестели-жегде».

С помощью проведенного анализа стало возможным выделить в традиционном костюме каракалпаков начала XX в. наиболее старинные виды одежды — это кок-койлек, ак-жегде и ак-кимешек.

Теперь обратимся к вопросу о том, могли ли они составлять единый комплекс одежды? Напомним, что в начале XX в. эти виды одежды входили в разновозрастные комплексы. Белый цвет домотканых материй, однотипная техника вышивки — крестом (*шырыш нагыс тгу*, *шатыраш*) на женском платье (позднее кок-койлек), на ак-жегде и ак-кимешек позволяють ответить на этот вопрос утвердительно. Обильная же вышивка крестом цветным шелком с преобладанием красной нити, особенно на ак-жегде, как и на кок-койлек, которое и в начале XX в. было принадлежностью костюма молодой женщины, позволяют говорить, что это был комплекс одежды молодых женщин.

Многочисленные примеры по традиционной одежде других народов свидетельствуют, что вышивкой, раньше имевшей главным образом магико-охранное значение, покрывалась одежда из белой домотканины именно молодых женщин. Ближайшие по региону примеры этого встречаются у киргизов. В комплексе одежды молодой женщины во второй половине XIX в. сохранялось платье под названием *оңгүр* из белой ткани с широкой полосой вышивки — *терскайык* (обратный шов) цветным шелком по вертикальному разрезу ворота или с вышитой манишкой *оңгүр*, давшей название такому платью. В вышитые платья наряжали невест в день бракосочетания²⁷. Платья с вышитой манишкой были в XIX в. и у казахов²⁸. Холщевая одежда со счетной вышивкой в костюме молодой женщины известна славянам, прибалтийским народам, тюркским и финно-угорским народам Поволжья и Прикамья (здесь и верхняя одежда), обским уграм Сибири²⁹ и т. д.

²⁵ Сухарева О. А. Уникальные образцы среднеазиатской одежды XVII в. — В кн.: Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. Л.: Наука, 1970. с. 109.

²⁶ Смешко Т. Н. Ткани домашнего производства для одежды. — В кн.: Этнография каракалпаков..., с. 106.

²⁷ Абрамзон С. М. Этнографический альбом художника П. М. Кошарова. — Сб. МАЭ, XIV. М. — Л., 1953.

²⁸ Захарова И. В., Ходжаева Р. Д. Указ раб.

²⁹ Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. — В кн.: Русские. Историко-этнографический атлас; Велева М., Лепавцова Евг. Български народни носии. София, 1974; Велева М., Лепавцова Е. И. Народная одежда болгар в Северной Болгарии в XIX — начале XX в. София, 1961; см. указанные рабо-

Таким образом, в далеком прошлом ак-жегде и ак-кимешек, видимо, были частью костюма молодых каракалпачек. В пользу этого предположения отметим еще следующее. Тот состав одежды (полностью или частично), который встречается в современном ритуальном костюме, несколько ранее входил в комплекс одежды пожилых людей, а еще раньше — молодого поколения. Так, в Самарканде женская верхняя одежда мунисак в начале XX в. была обязательным элементом костюма для похорон и поминок (в Ташкенте им уже только покрывали умершую). До конца XIX в. мунисак — выходная одежда пожилых женщин, а прежде — обязательная часть костюма молодых женщин³⁰. То же самое наблюдалось у других народов. Так, традиционные белые расшитые рубахи-платья у народов Поволжья, входившие первоначально в костюм молодых женщин, в конце XIX в. были вытеснены платьями из пестряди и в начале XX в. сохранялись лишь в костюме старух³¹. У русских традиционный женский костюм с сарафаном или понеvoy, еще широко распространенный в середине XIX в., во второй половине века сильно трансформировался и постепенно был вытеснен новым комплексом — юбкой и кофтой или цельнокроеным платьем из фабричных тканей. В конце XIX — начале XX в. в русских селах в поневах и белых шушпанах, рубахах с поликами, в повойниках ходили лишь 60-летние женщины. Традиционный же костюм долго сохранялся в качестве погребальной одежды³².

Исходя из этих примеров, которыми фиксируется определенная закономерность в эволюции одежды, можно заключить, что ак-кимешек и ак-жегде каракалпачек также могли быть элементами костюма молодых женщин. В этой связи интересно сообщение, что ак-жегде могли носить и девушки³³. В пользу этого свидетельствует и белый вышитый кимешек молодых казашек. Таким образом, мы имеем достаточно оснований для утверждения, что виды каракалпакской одежды с вышивкой крестом, в начале XX в. входившие в разновозрастные комплексы женской одежды, в прошлом являлись одеждой лишь молодых женщин.

Теперь обратимся к вопросу о том, почему у каракалпаков сначала единый комплекс одежды из белой дмотканой материи с вышивкой крестом распределился затем между комплексами одежды разных возрастных групп: платье осталось в составе одежды молодых женщин, а жегде и кимешек переместились в состав одежды пожилых женщин. Это объясняется, видимо, тем, что изменился цвет материала, из которого стали шить женские платья. У нас есть все основания полагать, что у каракалпаков происходил, как мы уже об этом говорили, аналогичный народам Поволжья и русским процесс замены белых тканей народной одежды цветными, сначала дмотканой, кустарной крашениной и пестрядью, потом фабричными тканями. Следствием этого и было появление кок-койлек — платья из крашеной в синий цвет дмотканины, сохранившего традиционную вышивку крестом от прежних времен. Мы уже говорили, что широкое распространение синих платьев в Средней Азии и ближайших регионах отмечается источниками XVIII—XIX вв. Уход из быта в начале XX в. кок-койлек можно объяснить тем же процессом изменения вкусов на цвет и качество тканей в традиционной одежде, диктуемым развитием производства, расширением торговых связей после присоединения Средней Азии к России. Он связан с пристрастием к новым цветным фабричным тканям, приток которых в Среднюю Азию в этот период увеличился, хотя проникновение их сюда, и не только из

ты Белицер В. Н. и Гаген-Торн Н. И.; *Крюкова Т. А.* Мордовское народное изобразительное искусство. Саранск, 1968; *ее же.* Марийская вышивка. Л., 1951; *Народы Сибири* (серия «Народы мира». Этнографические очерки). М.—Л., 1956, с. 588, 590; кол- лекции одежды хантов в МАЭ, ГМЭ и др.

³⁰ *Сухарева О. А.* История среднеазиатского костюма. Самарканд (вторая половина XIX — первая четверть XX в.). М., 1982, с. 38—39. Эта тенденция прослежена и на других элементах костюма.

³¹ *Гаген-Торн Н. И.* Указ. раб., с. 12, 25, 45—46 и др.

³² Русские. Историко-этнографический атлас, с. 196, 199.

³³ Полевые записи КК отряда ХЭ, 1956, Муйнакский район.

России, началось, конечно, раньше, как и процесс замены ими домотканнины.

Что касается ак-жегде и ак-кимешек, то они в силу отмеченной выше тенденции в эволюции костюма переместились в состав одежды другой возрастной группы — пожилых женщин, поскольку молодые женщины стали носить эти виды одежды из новых цветных тканей. Это обстоятельство, очевидно, и способствовало их длительному сохранению в каракалпакском быту. Ак-кимешек и особенно ак-жегде входили в состав традиционной одежды каракалпачек вплоть до 1940—1950-х годов. А кок-койлек практически ушло из быта в начале XX в.

В истории ак-жегде есть еще один интересный момент. Мы его знаем как накидку-халат, которую набрасывали поверх головного убора, выходя на улицу. Однако уже давно установлено (и среди исследователей нет на этот счет расхождений), что накидки-халаты прототипом своим имеют распашную наплечную одежду.

Халатообразные накидки в качестве повседневной уличной одежды в Средней Азии появились, очевидно, в XVII—XVIII вв. Во всяком случае, на среднеазиатско-персидских миниатюрах XV—XVI вв., как и на более ранних, такая одежда не зафиксирована. Первые упоминания о ней встречаются в литературе XVIII в. О появлении накидок у населения дельты Амударьи свидетельствуют Гладышев и Муравин, а о появлении паранджи в Бухаре — Филипп Ефремов и Филипп Назаров³⁴. Видимо, примерно тогда же накидка появилась и у каракалпаков. Все это вместе взятое говорит о том, что жегде-накидка в составе костюма каракалпачки — явление позднее. Названный рубеж (XVII—XVIII вв.) приблизительно датирует конечные сроки бытования вышитого крестом жегде в качестве верхней распашной плечевой одежды, превратившейся затем в накидку. Частично этот период совпадает со временем бытования кок-койлек, поверх которого, возможно, надевали расшитые халатики-жегде. У нас есть основания сделать такой вывод, так как у кой-койлек вышивали только концы рукавов. А у ак-жегде и рукава, и спинка, и полы покрывались вышивкой.

Мы уже имели случай убедиться, что традиция употребления белого холста на одежду, украшаемую счетной вышивкой, была распространена у многих народов разного происхождения, культуры, разных географических поясов. Существовала ли такая традиция в среднеазиатско-казахстанском регионе в целом? Или наличие ее у каракалпаков следует связывать с этнокультурными влияниями и заимствованиями или даже с инорегиональными этногенетическими связями?

Этнографические данные свидетельствуют, что в Средней Азии и Казахстане традиция шить одежду из белых тканей в прошлом существовала. Реликты ее сохранились в старинном костюме таджиков — у дарвазской девушки в виде платья с горизонтальным вырезом ворота, с расшитым нагрудником и вышивкой крестом вокруг прорезей на рукавах ниже локтя и на обшлагах. Известны старинные платья из белого карбоса (ткань полотняного переплетения) или белой шерстяной материи у молодых женщин Рушана. В холодное время поверх таких платьев надевали халат-гилим из белого домотканого сукна. Белые платья из шерсти сохранились в современном костюме невесты в Ишкашине³⁵. В Северном Таджикистане невесты также бывали в белых платьях³⁶. Платья невест из белых или с рисунком на белом фоне тканей известны у хорезмских узбеков³⁷. В собраниях ГМЭ есть белые вышитые платья и халатообразные накидки, принадлежащие узбекскому и таджикскому

³⁴ Гладышев И., Муравин Д. В. Указ. раб., с. 68—72; Ефремов Ф. Десятилетнее странствование. М., 1950, с. 28; Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. М., 1968, с. 51.

³⁵ Еришов Н. Н., Широкова З. А. Альбом одежды таджиков. Душанбе, 1969, табл. 29, 34, 37.

³⁶ Устное сообщение З. А. Широковой.

³⁷ Полевые записки Узбекского отряда ХЭ, 1955, собиратель — Г. С. Куртмуллаева.

населению. О вышитых белых платьях у киргизов мы упоминали выше. У туркмен известна белая расшитая шелком накидка-халат (*чырпы*). Эти примеры могут быть продолжены. Свидетельством широкого употребления в далеком прошлом белой домотканины на одежду служат традиционная мужская рубаша всех народов Средней Азии. Изначальность белого цвета в традиционной одежде подтверждает также цвет последней одежды человека — савана, в которой консервируются некоторые архаичные черты народной одежды.

Существование одежды белого цвета у народов Средней Азии засвидетельствовано письменными источниками средневековья разных периодов. Так, в раннесредневековых китайских хрониках Бейши и Суйшу говорится, что одеяние владетеля Кана (самаркандского Согда) — «из вышитых шелковых тканей, камки и белого полотна»³⁸. У Наршахи (X в.) в его «Истории Бухары» повествуется о людях в белых одеждах, составлявших ядро движения Мукадды³⁹. По предположению О. А. Сухаревой, в них следует видеть простолюдинов, носивших одежды из домотканых белых материй. В труде китайского путешественника XIII в. Чан-Чуня есть строки, посвященные костюму жителей Самарканда: «Рубахи и у мужчин и женщин были одинаковы и состояли из тонкой шерстяной материи белого цвета...»⁴⁰. Интересны в этом плане и сообщения об одежде огузских племен. Их мужской костюм в X в. состоял из халатов разных цветов, в том числе и белого, шившихся из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, парчи⁴¹.

Археологические памятники свидетельствуют о еще большей древности традиции шить одежду из белых тканей. Известны скульптурные изображения женщин в белых одеждах⁴² из дворца хорезмшахов Топрак-Калы (III в.), есть они и в стенной живописи этого памятника (арфистка⁴³). В живописи и в скульптуре Топрак-Калы есть изображение женщин в одеждах белого цвета с красным геометрическим узором вокруг ворота и на груди, в котором можно предполагать вышивку («червонные дамы»⁴⁴, бюст Анахиты⁴⁵). Число подобных примеров, свидетельствующих о древности традиции изготовления одежды из тканей белого цвета, можно значительно увеличить.

Остановимся на вопросе о вышивке крестом. Эта техника вышивки, вытесненная теперь в основном другими вышивальными швами (крест сохранился лишь на мелких предметах быта), в Средней Азии давно известна. У таджиков она сохранилась до наших дней, например на футлярах для ножей⁴⁶. Крестиком население Горного Таджикистана отделывало платья. По новым материалам З. А. Широковой, вышивка крестом бывала на налобных повязках; в Кулябе также вышивались нагрудники из карбоса для девичьих и женских рубаш. Широко известны шахрисабзские вышитые крестом тюбетейки. У локайцев она встречалась на *чай-халта* (мешочек для чая) и на налобных повязках. У кунгратов крестом вышивали чайхалта, тюбетейки, кошельки, у узбеков-сарай — накидки-халаты⁴⁷. Есть вышивка крестом у туркмен (арабахи)⁴⁸ и киргизов⁴⁹.

³⁸ Бичурин И. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии. Т. II. М.—Л., 1969, с. 271, 281.

³⁹ Наршахи. История Бухары/Пер. Лыкошина Н. Ташкент, 1897.

⁴⁰ Бартольд В. В. Сочинения, Т. III. М., 1965, с. 241.

⁴¹ Агаджанов С. Г. Огузские племена Средней Азии IX—XIII вв. (Историко-этнографический очерк).— В кн.: Страны и народы Востока. В. 10. Средняя и Центральная Азия. География, этнография, история. М., 1971, с. 188.

⁴² Толстов С. П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962, с. 210, рис. 124.

⁴³ Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.—Л., 1948, рис. 46.

⁴⁴ Толстов С. П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция АН СССР (1945—1948).— ТХЭ, т. I, рис. 28.

⁴⁵ Толстов С. П. По следам..., рис. 61.

⁴⁶ Устное сообщение Н. Н. Ершова.

⁴⁷ О локайцах, кунгратах, узбеках-сарай — устное сообщение Б. Х. Кармышевой.

⁴⁸ Устное сообщение А. С. Морозовой.

⁴⁹ Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Фрунзе, 1962, с. 106.

О вышивке крестом мы узнаем не только по литературным источникам, но и по музейным экспонатам выставки прикладного искусства киргизов (1983) в Эрмитаже — женским шапочкам киргизок с накосником из белой ткани и поясам. Таким образом, Средняя Азия, где вышивка крестом, судя по всему, имеет древнюю традицию, входит в обширный ареал счетной вышивки, которая, по мнению С. В. Иванова, разработана народами Восточной и частично Южной Европы⁵⁰. Интересно отметить, что повсеместно в Средней Азии вышивали шейком, делая очень мелкий стежок, нитки клали густо. Этим среднеазиатская вышивка отличалась от вышивки, например, ханты-мансийской и даже народов Поволжья, где вышивали шерстью, стежки были крупные и редкие. У каракалпаков зафиксирован крест среднеазиатского образца — мелкий, тугой, выполненный только шелком. Таким образом эта техника вышивки появилась в Средней Азии, выяснить сейчас нельзя, однако можно предположить, что у каракалпаков она возникла на местной основе, как простейшая и соответствовавшая особенностям домотканых материалов полотняного переплетения, которые производились этим народом⁵¹.

В результате проведенного исследования можем сделать следующие выводы: одежду из белой домотканины с вышивкой крестом в каракалпакском традиционном костюме есть все основания считать реликтом той, возможно, достаточно универсальной стадии в развитии одежды, когда она шилась из неокрашенной шерсти или холста. В некоторых районах холст в силу хозяйственно-культурных традиций, связанных с природно-климатическими условиями, первоначально изготовлялся из волокон дикорастущих растений (в Средней Азии, в частности у каракалпаков, из кендыря — разновидность конопли, в других регионах — из крапивы, затем конопли). Одежда из белых тканей полотняного переплетения первоначально, видимо, покрывалась наиболее простой счетной вышивкой, соответствующей выделке ткани.

В Средней Азии, где издавна было развито шелкоткачество высокого класса в сравнении, например, с Поволжьем, этап распространения одежды из белого холста или шерсти даже в народной среде в целом отделен значительным сроком времени от этапа употребления на одежду тканей цветных. В Средней Азии сохранились лишь реликты одежды из белой домотканины, наиболее заметные на периферии.

Из всего сказанного вытекает, что одежда из белой домотканины с вышивкой крестом является более древним пластом в каракалпакской одежде и что в прошлом цветовая гамма женского костюма каракалпачек молодого возраста и техника вышивки на одежде в сравнении с костюмом начала XX в. были, очевидно, иными. Как известно, в костюме молодой каракалпачки начала XX в. встречаем цветные кустарные и фабричные хлопчатобумажные, шелковые, полущелковые ткани и вышивку петельным и тамбурным швом с добавлением глади. Вышивались кзылкимешек и воротник жипек-жегде молодых женщин, нарукавники-женгсе на халаты и шубы, жага (воротник) для женских платьев. Причем такая вышивка выполнялась исключительно по красному и черному сукну, которым отделявали разные части этих видов одежды, а сама одежда была из цветных, очень часто полосатых тканей.

Первое впечатление от этого факта такое, будто появление новой техники вышивки объясняется распространением новых тканей, по которым вышивать крестом без специальной сетки было трудно. Однако такое представление не совсем верно. Дело в том, что в других регионах (у ряда народов Среднего Поволжья и Прикамья, у обских угров, у русских) пестрядинные ткани домашнего производства, затем фабричные вытесняли не только белый холст на одежде, но и старинную счетную вышивку, которой украшали холщевую одежду; цветная ткань стала,

⁵⁰ Иванов С. В. Указ. раб., с. 80.

⁵¹ Здесь мы не касаемся вопроса историко-культурных связей между каракалпачками и обскими уграми, затронутого в ряде работ Т. А. Жданко, поскольку он заслуживает самостоятельного рассмотрения.

служить украшением одежды, ею пользовались для отделки костюма⁵². У каракалпаков дело обстояло несколько иначе, так как детали одежды из цветных тканей у них также имеют вышивку, но уже тамбурным и петельным швами по красному и черному сукну.

Складывается впечатление, что техника ильме воспринята каракалпаками вместе с традицией вышивать ею на красном и черном фоне, а это в среднеазиатском регионе характерно для вышивок киргизов и дештикипчакских узбеков. У казахов, дештикипчакских узбеков, киргизов, связанных в какой-то мере и единством происхождения, свободной вышивкой, в том числе тамбурной, кроме одежды покрывались многие предметы быта⁵³ из разнообразных материалов по качеству и цвету, в том числе красных и черных, что свидетельствует, видимо, о давних традициях такой вышивки у этих народов.

Тамбурный шов широко известен тюркским и монгольским народам и его бытование зафиксировано на предметах, найденных в пазырыкских курганах (V—IV вв. до н. э.). Вопрос о нем в каракалпакской вышивке не разработан. По всей видимости, у каракалпаков тамбурный шов не является простым заимствованием у родственных народов региона, поскольку он имеет свои особенности в орнаменте, в сочетании красок и т. д., свидетельствующие о самостоятельном пути развития такой вышивки. У каракалпаков шов ильме вместе с традицией вышивать им на цветной однотонной (красной и черной) ткани появился, видимо, на поздних этапах их этногенеза и связан с включением в их состав тюркских элементов, причем общих для казахов, киргизов и дештикипчакских узбеков. Возможно, вышивка ильме связана именно с кипчакским пластом в этногенезе каракалпаков, т. е. процесс развития материальной культуры на этом этапе у каракалпаков тесно связан с их этнической историей.

Теперь возвратимся к высказываниям информаторов, считающих, что техника ильме, как и крест, каракалпакская и старинная. Мне кажется, что эти виды вышивки отражают одновременные этнические пласты в этногенезе каракалпаков. Вышивка крестом у каракалпаков, видимо, более древняя, чем тамбурно-петельная, поскольку последней вышивали те же элементы женского костюма, но уже из цветных тканей, кустарных и фабричных, вытеснявших сначала белые, а затем и пестрядинные домотканые материи. Этот вывод подтверждается и мнением, имевшим распространение среди населения, что вышивка крестом все-таки более древняя⁵⁴. Возможно, что время появления у каракалпаков тамбурной вышивки совпало с распространением у них цветных тканей, сосуществовавших какой-то период с белыми даже в костюме молодых женщин.

Женская одежда с вышивкой тамбуром в начале XX в. шилась из привозных с абровым рисунком шелков и полуселков (наспинная часть кзыл-кимешека, девичьи халаты, праздничные платья) и из полосатых тканей часто местного производства — это кзыл-жегде, халаты (*шапан*). Шелкоткачество у каракалпаков появилось поздно, хотя использование шелка для вышивки практиковалось. Изготавливали ли они шелковую нитку сами или пользовались покупной, нам неизвестно. Прежде на халаты, очевидно, и на жегде, употребляли полосатые хлопчатобумажные ткани с лошением (*морелли*), первоначально домашнего изготовления. Вопрос о появлении у каракалпаков и вообще в среднеазиатском регионе полосатых тканей остается открытым. Судя по данным, подкрепляемым археологическим материалом, широкое распространение их в Средней Азии относится, видимо, к периоду позднего средневековья. Рамки статьи не позволяют подробнее остановиться на этом вопросе.

В заключение отметим, что вопросы развития покроев, смены тканей и их цветовой гаммы на костюмах, различные, сменяющие друг друга,

⁵² См. указанные работы Белицер В. Н., Гаген-Торн Н. И. и др.

⁵³ См. Чепелевская Г. Л. Вышивка.— В кн.: Народное декоративно-прикладное искусство киргизов. М., 1968.

⁵⁴ См. Жданко Т. А. Каракалпаки Хорезмского оазиса.— ТХЭ, т. I, с. 564; *ее же*. Народное орнаментальное искусство каракалпаков.— ТХЭ, т. III, с. 399.

технические приемы вышивок, вытеснение вышивки отделкой из тканей и др., с которыми мы столкнулись при рассмотрении каракалпакской одежды, актуальны и для изучения истории одежды народов всего среднеазиатско-казахстанского региона в плане разрешения этнических проблем регионального масштаба, выявления этнокультурных связей местных народов. Изучение таких вопросов во многом только начинается. Работа над «Историко-этнографическим атласом Средней Азии и Казахстана», несомненно, будет способствовать их решению.

Г. Е. Афанасьев

ЭТНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ БУРТАСОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ VIII — НАЧАЛЕ X В.

Открытие в конце XIX в. салтово-маяцкой культуры явилось значительным событием в изучении древностей Восточной Европы. С первых шагов исследования Верхнесалтовского катакомбного могильника на Северском Донце и Маяцкого городища на Дону — памятников, положенных в основу выделения этой культуры (позже — лесостепного варианта этой культуры), развернулась дискуссия об этнической принадлежности ее носителей. Ряд крупных ученых, указывая на сходство открытых памятников с аланскими древностями Северного Кавказа, видели в носителях салтово-маяцкой культуры алан (А. А. Спицын, Ю. В. Готье). Другие полагали, что эта культура принадлежала хазарам (Д. Я. Самоквасов, Д. И. Багалей, В. А. Бабенко), венграм (Н. Феттих, В. Арендт) или шведам (Г. Вернадский).

Благодаря исследованиям М. И. Артамонова, Н. Я. Мерперта, И. И. Ляпушкина и С. А. Плетневой выяснилось, что салтово-маяцкая культура неоднородна, в ней выделяются локальные варианты, связанные в той или иной степени с определенными этносами и в совокупности характеризующие культуру населения Хазарского каганата в целом. Сейчас уже не подлежит сомнению, что лесостепной вариант этой культуры сформировался на основе аланской культуры Северного Кавказа, но ее носителями в лесостепной зоне кроме алан были также болгары и еще какое-то население, практиковавшее обряд трупосожжения.

Однако археологические данные об обитании алан в лесостепной зоне Донецко-Донского междуречья почти не находили до настоящего времени хронологически соответствующих параллелей в письменных источниках. Как справедливо отметила С. А. Плетнева, «богатый, развитый и воинственный народ как будто совершенно не участвовал в общеевропейской жизни. Это наводит на мысль, что имя аланов скрыто (разрядка наша. — Г. А.) в источниках под каким-то другим общим названием»¹. В ходе изучения памятников лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры у нас сложилось впечатление о возможной связи их с буртасами.

Начиная с IX в. целая плеяда арабо- и персоязычных географов включает в свои описания стран сведения о народах Юго-Восточной Европы, представлявших реальную политическую силу на исторической арене данного региона. Именно от этой силы зависела стабильность раннефеодальных государственных образований в Поволжье и на Северном Кавказе, византийских колоний в Северном Причерноморье или закавказских владений Арабского халифата, а также безопасность торговых путей в Поволжско-Прикаспийском регионе. Географические наблюдения были впоследствии объединены Б. Н. Заходером в «Каспий-

¹ Плетнева С. А. От кочевий к городам. — Материалы и исследования по археологии СССР (далее — МИА). М.: Наука, 1967, № 142, с. 186.

ском своде», состоящем из четкого перечня народов (хазары, буртасы, булгары, мадьяры, славяне, русы и др.) и конкретных «тем», относящихся к тому или иному народу².

Описание страны буртасов — одна из важных частей Свода. Однако проблема буртасов, выдвинутая более 150 лет назад Х. Д. Френом, все еще остается дискуссионной, хотя было написано немало работ, предлагавших различные варианты ее решения. Достаточно подробно историография этой проблемы рассмотрена Б. А. Васильевым³ и А. И. Поповым⁴. Почти все работы базировались преимущественно на противоречивых цифровых данных географов X—XVI вв. о расстояниях между землями буртасов, хазар и булгар, хотя, оперируя этими данными, можно, как показали Н. Ф. Калинин и А. Х. Халиков, предложить 64 варианта локализации буртасов⁵, каждый из которых опирается на соответствующую средневековую информацию. Таким образом, на основании сведений о расстояниях между землями решить проблему не удалось.

Кроме этих сведений источники содержат существенную информацию о хозяйстве и быте буртасов, т. е. об их хозяйственно-культурном типе. Отдельные данные такого рода привлекались, как правило, лишь для подкрепления той или иной концепции. Весь же комплекс сведений о хозяйственно-культурном типе буртасов никем пока не анализировался.

Основная задача исследователей сводилась к попыткам этногенетически связать современные народы Поволжья (мордву, чувашей, мишарей, марийцев и др.) с буртасами. При этом данные IX в. прямо связывались с той ситуацией, которую рисуют источники XVI—XVII вв. Отсутствие четкого определения хронологических рамок существования буртасов и периода, когда информация о них поступала на Восток, привело к неоправданному отождествлению с ними сакалибов⁶, на что уже обращал внимание В. Ф. Минорский⁷. Это же лишало хронологического фундамента привлекавшиеся для решения буртасской проблемы археологические материалы. Более того, ряд историков, предлагавших различные варианты локализации буртасов, не располагали в достаточной степени археологической информацией и не могли поэтому связать с буртасами конкретные археологические памятники. Были даже призывы к археологам «открыть» специфическую археологическую культуру буртасов⁸. В этом отношении весьма показательна работа П. Н. Черменского, который на основании сходства буртасских и финно-угорских гидронимов пытался обосновать угорскую принадлежность буртасов. При этом он не учитывал, что в бассейнах тех рек, которые, по его мнению, носят финно-угорские названия (Оскол, Нежеголь, Короча и т. д.)⁹ распространены памятники салтово-маяцкой культуры.

Впервые к археологическим материалам для решения буртасской проблемы обратилась В. В. Гольмстен¹⁰. Она полагала, что культура оседлого земледельческо-скотоводческого народа, каким буртасов изображали восточные письменные источники, не могла бесследно исчезнуть и должна была как-то запечатлеться на месте его обитания. Стра-

² Захoder Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX—X вв. М.: Изд-во восточ. лит., 1962, с. 25.

³ Васильев Б. А. Проблема буртасов и мордва. — В кн.: Вопросы этнической истории мордовского народа. М.: 1960, с. 180—209.

⁴ Попов А. И. Названия народов СССР. Введение в этнонимистику. Л.: Наука, 1973, с. 111—121.

⁵ Калинин Н. Ф., Халиков А. Х. Итоги археологических работ за 1945—1952 гг. — Тр. Казан. филиала АН СССР. Казань, 1954, с. 44—63.

⁶ Dunlop D. M. The History of the Jewish Khazars. 2 ed, N. Y., 1967, p. 83.

⁷ Minorsky V. A New Book on the Khazars. — Orients, XI/2. Leiden, 1958, p. 127—128.

⁸ Васильев Б. А. Указ. раб., с. 209.

⁹ Черменский П. Н. Народ буртасы по известиям восточных писателей и данным топонимики. — В кн.: Историческая география России. Вопросы географии. М., 1970, в. 83, с. 83—94.

¹⁰ Гольмстен В. В. Буртасы. — Кр. сообщения Ин-та истории материальной культуры (далее — КСИИМК), 1946, 13, с. 20.

ной буртасов В. В. Гольмстен предлагала считать территорию между Самарской лукой и бассейнами рек Суры, Цны и верховьев Мокши, связывая с этим народом Краснослободский, Зубаревский, Лядинский и Крюковский могильники и, таким образом, отождествляя буртасов с мордвой-мокшей. Эту гипотезу поддержала Е. И. Горюнова, «отдав» буртасам селище XIII—XIV вв. Полянки в бассейне р. Мокши на том основании, что название «буртасы» есть в топонимике района¹¹. Археологическая часть гипотезы В. В. Гольмстен была подвергнута справедливой критике А. Е. Алиховой. По ее мнению, методически неверно определять локализацию буртасов, у которых источники отмечают развитое земледелие, ссылаясь только на находки серпов и жерновов в мордовских поселениях; равным образом как и находки здесь привозных вещей сами по себе не доказывают связи с буртасами, имевшими, судя по источникам, множество «торговых мест»¹².

А. П. Смирнову гипотеза В. В. Гольмстен представлялась убедительной. Он считал, что тексты восточных сочинений о расстояниях между хазарами и буртасами хорошо согласуются с данными археологии, если поместить буртасов на территории городищ Древнемордовской культуры¹³, в северной части Саратовской области.

Итак, В. В. Гольмстен, Е. И. Горюнова и А. П. Смирнов по существу использовали археологические материалы для обоснования выдвинутой историками (П. С. Савельев, В. В. Бартольд и др.) «мордовской гипотезы». Но сама эта гипотеза подвергалась критике со стороны целого ряда исследователей и в настоящее время фактически отвергнута¹⁴. Один из главных аргументов неправомерности идентификации мордвы и буртасов,— упоминание буртасов в качестве самостоятельного народа, отличного от мордвы¹⁵, в «Слове о погибели Русской Земли»¹⁶ и в сочинении Рашид ад-Дина, повествующего о походе в 1236—1237 гг. золотоордынских ханов против буртасов, мокши и эрзи¹⁷.

Иное решение буртасской проблемы предложили Н. Ф. Калинин и А. Х. Халиков. Из 64 выявленных ими возможных районов локализации буртасов они выбирают один — часть территории Среднего Поволжья, где известна буртасская топонимика. Буртасам, в которых авторы видят родственные мордве племена, априори приписываются памятники именьковской (восточно-буртасской) культуры. В построениях авторов имеется существенное противоречие. Известно, что в Мордовском и Мещерском краях географические названия, связанные с этнонимом «буртас», появились не ранее XVI—XVII вв. и «именно потому, что выделяли чуждых пришельцев — буртасов из общей массы коренного местного населения — мокшан, эрзян и мещеры»¹⁸.

В несколько измененной форме идея Н. Ф. Калинина и А. Х. Халикова была развита В. Ф. Генингом. Поскольку исторические источники по мнению автора, связывают хозяйственный уклад буртасов и физико-географические особенности их страны с лесостепной зоной, то «носители именьковского, романовского, тураевского, ош-пандинского и ногайского археолого-этнических типов и были те, кого на востоке называли буртасами»¹⁹, т. е. страна буртасов находилась в лесостепном Вол-

¹¹ Горюнова Е. И. Селище Полянки.— КСИИМК, 1947, 15, с. 106—110.

¹² Алихова А. Е. К вопросу о буртасах.— Сов. этнография, 1949, № 1, с. 54—56.

¹³ Смирнов А. П. К вопросу о буртасах.— КСИИМК, 1951, 40, с. 47; его же. Очерки древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья.— МИА М., 1952, № 28, с. 157—161.

¹⁴ Мордва. Историко-этнографические очерки. Саранск: Морд. кн. изд-во, 1981 с. 12—20.

¹⁵ Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. и др. Древнерусское государство и его международное значение. М.: Наука, 1965, с. 93—95.

¹⁶ Слово о погибели Русской Земли.— В кн.: Изборник. М.: Худож. лит., 1969 с. 326—327.

¹⁷ Рашид ад-Дин. Сборник летописей, т. 2. М., 1960, с. 38.

¹⁸ Попов А. И. Указ. раб., с. 119.

¹⁹ Генинг В. Ф. Южное Приуралье в III—VII вв. н. э. (проблема этноса и его происхождения).— В кн.: Проблемы археологии и древней истории угров. М., 1972 с. 278—294.

го-Камье. Следует, однако, отметить, что в гипотезе В. Ф. Генинга есть ряд натяжек. Прежде всего неясно, каким образом буртасам IX—X вв. могут принадлежать археологические памятники V—VII вв. и что представляют тогда упомянутые в источниках памятники буртасов, современников хазар и волжских булгар. Автор не приводит никаких доказательств локализации буртасов на левом берегу Волги в низовьях рек Камы, Зай, Белой, где концентрируются памятники тураевского и романовского типов V—VII вв. Все это делает гипотезу В. Ф. Генинга весьма уязвимой.

Наиболее раннее упоминание буртасов встречаем в сочинении Кальби, которое А. Я. Гаркави относит к 819 г. Вслед за Шармуа он предлагает отождествить упомянутый в источнике народ бурджас с буртасами²⁰. Если такое отождествление справедливо, то мы можем считать, что информация о буртасах стала поступать на Восток со второй половины VIII в. Следующие по времени сведения о буртасах находим в сочинениях арабских авторов X в. — Ибн Русте, Истахри и Масуди, отражающих информацию IX в. Но уже в первой половине X в., как заметил Б. Н. Заходер, термин *буртас* требовал объяснения²¹. Действительно, Ибн Хаукаль (976 г.) писал: «В настоящее время не осталось и следа ни из булгара, ни из буртаса, ни из хазара, ибо русы напали (или истребили) всех их, отняли у них все эти области и присвоили их себе. Те же, которые спаслись от их рук, рассеяны по ближайшим местам, из желания остаться вблизи своих стран и надеясь заключить с ними мир и подчиниться им». Обычно это событие связывают со знаменитым походом Святослава на хазар в 965 г., отмеченным в русской летописи²², однако более вероятно, что упадок буртасов начался раньше, в первых десятилетиях X в. Текстологический анализ восточных источников привел Б. Н. Заходера к выводу, что уже в начале X в., когда писали Истахри и Масуди, «союз племен, именуемый буртасами, не существовал более, а сами упомянутые авторы должны были пользоваться фиксированным, но мертвым материалом»²³. И в этом отношении весьма примечательно, что Ибн Фадлан, проехавший в 921—922 гг. от столицы хазар до столицы булгар, ничего не знает о буртасах²⁴, а автор сочинения «Худуд ал-Алем», датированного 983 г., вообще смешивает информацию о буртасах и булгарах²⁵.

Все рассмотренные сведения о буртасах, содержащиеся в восточных источниках относятся ко второй половине VIII — началу X в. Следует оговорить, что целый ряд восточных географов XI—XII вв. — Гардизи, Бекри, Марвази, Идриси — подробно описывают буртасов как существующий народ, но все использованные ими материалы взяты или из более ранних по времени сочинений Джейхани и фактически отражают ситуацию IX в.²⁶, или из работ авторов, знакомых с этими сочинениями (например Исхак Ибн ал-Хусейн)²⁷. К середине X в. относится и другой интересный источник, упоминающий буртасов, — письмо хазарского кагана Иосифа. Характеризуя этнополитическую ситуацию в бассейне Волги, он перечисляет обитающие здесь народы, которые платят ему дань: бург-с (буртасы), булг-р (булгары), с-в-ар (сувары), арису (мордва), ц-р-мис (черемисы), в-н-н-тит (вятичи), с-в-р (северяне) и др. Од-

²⁰ Гаркави А. Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца X века по Р. Х.). Спб., 1870, с. 15.

²¹ Заходер Б. Н. Указ. раб., с. 231.

²² Бартольд В. В. Арабские известия о русах. — В кн.: Советское востоковедение. В. 1. М. — Л., 1940, с. 34.

²³ Заходер Б. Н. Указ. раб., с. 243—244.

²⁴ Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956.

²⁵ Minorsky V. *Hudūd al-'Ālam*. The Regions of the World. 2 ed. L., 1970, p. 460.

²⁶ Minorsky V. *Sharaf al-Zamān Tāhir Marvazī on China, the Turks and India*. Arabic Text (Circa. A. D. 1120) with an English Translation and Commentary. L., 1942, p. 125.

²⁷ Minorsky V. The Khazars and Turks in the *Ākām al-Marjān*. — In: The Turks, Iran and the Caucasus in the Middle Ages. L., 1978, p. 149.

нако эти сведения о границах Хазарского каганата и окрестных народах относятся ко временам могущества Хазарии — VIII—IX вв.²⁸

Через два века этноним «буртасы» вновь появляется в источниках в качестве названия реально существующей этнической общности: буртасы упоминаются вместе с мордвой и черемисами как зависимые от киевских князей народы начала XII в. Против них в 1236—1237 гг. был осуществлен поход золотоордынских ханов, а в 1380 г. они названы в составе войск хана Мамай²⁹. В русских актовых документах XVI—XVII вв. буртасы фигурируют как пришлое население в Мордовском и Мещерском краях, с которыми связана и соответствующая топонимика.

Таким образом, источники позволяют говорить о двух периодах бытования этнонима *буртасы*, или двух периодах истории народа: 1) VIII—начало X в. и 2) XII—XVII вв.

В статье мы остановимся только на первом периоде. Однако важно подчеркнуть, что эти хронологические различия связаны и с различиями территориальными; локализация буртасов в первый период и во второй период их истории — две самостоятельные темы, разработка которых требует и дифференциации в использовании источников, в частности археологических.

Мысль о том, что в истории буртасов следует различать два периода, не нова. Еще Ф. Ф. Чекалин отмечал, что буртасы «по естественному ходу вещей» переселились или отодвинулись в северном направлении, ближе к лесной зоне, по соседству с мордвой-мокшей³⁰. В динамике рассматривают территорию обитания буртасов М. Г. Сафаргалиев, Б. А. Васильев, А. И. Попов и др. Однако в археологических построениях, как уже говорилось, эта ситуация не учитывалась. Первым шагом в данном направлении была работа М. Р. Полесских, предложившего различать в истории буртасов два периода: ранний — VIII—X вв. и поздний — XI—XIII вв. С последним он связывает археологические памятники верховьев р. Суры (памятники типа Золотаревского городища)³¹, в которых видит черты южной аланской традиции. Но истоки этой традиции, т. е. вопрос локализации буртасов в VIII—X вв. и их археологических памятников этого времени, М. Р. Полесских не исследует.

Попытаемся выявить в восточных источниках географические и хозяйственно-культурные ориентиры для локализации буртасов в VIII—X вв.

У ряда авторов есть тенденция помещать страну буртасов на берегу Волги. Для доказательств обычно отбираются только те источники, в которых на это указывается; другие же, противоречащие такому выводу, не привлекаются.

Сочинения восточных географов в этом отношении можно дифференцировать на три группы. В первую входят сочинения Ибн Русте, Гардизи, Бекри и Марвази, дающие наиболее полную информацию о буртасах. «Земля буртасов лежит между хозарскою и болгарскою землями, на расстоянии пятнадцатидневного пути от первой», — пишет Ибн Русте, а вслед за ним и все остальные авторы этой группы³². Как видим, Итиль — Волга здесь не упоминается как проходящая непосредственно через страну буртасов, хотя при описании Волжской Булгарии на это прямо указывается: «Болгарская земля смежна с землею буртасов. Жи-

²⁸ Плетнева С. А. Хазары. М.: Наука, 1976, с. 68.

²⁹ Полное собрание русских летописей. Воскресенский список. Т. VIII. Спб., 1859, с. 34.

³⁰ Чекалин Ф. Ф. Мещера и буртасы по сохранившимся о них памятникам. — Тр. VIII Археологического съезда. М., 1897, т. III, с. 70.

³¹ Полесских М. Р. Исследования памятников типа Золотаревского городища. — В кн.: Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971; его же. Древнее население верхнего Посурья и Примокшанья. Пенза: Приволж. кн. изд-во, 1977, с. 67—84.

³² Хвольсон Д. А. Известия о хозарах, буртасах, болгарях, мадьярах, славянах и русах Абу-Али Ахмеда бен Омар ибн-Даста. Спб., 1869, с. 19.

вут болгары на берегу реки, которая впадает в море Хазарское и называется Итиль, протекая между землями хозарской и славянской»³³.

Вторая группа источников утверждает, что Итиль протекает через страну буртасов. По Истахри, «Буртасы — народ, соседящий с хазарами, нет между ними и хазарами другого народа; они — люди, расположившиеся вдоль долины Атила»³⁴. А Ибн Хаукаль пишет: «... восточный ее (р. Итиль. — Г. А.) край выходит из страны Хирхиз — протекает по землям, лежащим между каймаками и гузами, и служит естественной границей между ними. Далее она течет на запад за болгарями, затем поворачивает назад на восток, так что протекает через Рус, а затем через Болгарию; потом течет через Буртас, пока не впадает в Хазарское море»³⁵. Важно отметить, что эта группа географов дает самую незначительную и разбросанную информацию о буртасах.

Третья группа источников помещает страну буртасов в стороне от Итиля. Анонимное сочинение «Худуд ал-Алем» указывает: «К востоку от них (буртасов. — Г. А.) — река Атил; к югу от них — хазары...»³⁶. Совершенно очевидно, что в данном случае источник четко различает Итиль и расположенную к западу от него страну буртасов. То же наблюдается и в рассказе Масуди о разгроме русов в 913 г.: «Около 5000 из них спаслись и отправились на судах в страну, примыкающую к стране буртасов, где они оставили свои суда и стали на суше; но из них кто был убит жителями Буртаса, а кто попался мусульманам в стране Бургар и те убили их»³⁷. В другом разделе Масуди подчеркивает: «Буртас... живет, как ранее упоминалось, на реке, названной по его имени»³⁸, причем эта река впадает в Итиль; это повторяет и другой восточный автор — Димашки. Таким образом, третья группа источников помещает буртасов в стороне от Итиля (к западу, по Худуд ал-Алем), на берегу одного из его притоков.

Как видно из приведенных отрывков, на вопрос, протекает ли Итиль в стране буртасов, источники второй и третьей групп отвечают неодинаково. Надо отметить и разительное различие этих источников по объему информации о буртасах вообще. Ее несравненно больше в сочинении «Худуд ал-Алем», в работах Масуди и Димашки, что, естественно, обуславливает и большее к ним доверие. Сомнение в правоте Истахри и его ученика Ибн Хаукаля, поселяющих буртасов непосредственно на Итиле, вызывает и то обстоятельство, что здесь же, на Итиле, они помещают страну русов, локализуемую исследователями значительно западнее этой реки³⁹. Возможно, Итиль в сочинениях Истахри и Ибн Хаукаля имеет значение географического ориентира для всего описываемого региона — Восточной Европы. В таком контексте дается и размещение у Итиля в-н-н-тит (вятичей) и с-в-р (северян) в письме хазарского царя Иосифа⁴⁰ (первые, действительно, обитали, как показывают археологические и письменные источники, в бассейне Оки — на верхнем Дону, вторые же — на левобережье Днепра)⁴¹.

Все это дает основание в большей степени доверять источникам третьей группы, локализующим буртасов к западу от Итиля, и контексту источников первой группы. Этот вывод, казалось бы, противоречит сообщению Масуди о том, что буртасы находятся между Хазарией и Хорезмом, но данный фрагмент, как единодушно отмечали Д. А. Хвольсон,

³³ Там же, с. 22.

³⁴ Dunlop D. M. Op. cit., p. 96.

³⁵ Караулов Н. А. Сведения арабских географов IX—X вв. по Р. Х. о Кавказе, Армении и Азербайджане. — Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. В. 38. Тифлис, 1908, с. 113.

³⁶ Minorsky V. Hudūd..., p. 162.

³⁷ Гаркави А. Я. Указ. раб., с. 133.

³⁸ Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербенда X—XI веков. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1963, с. 195—196.

³⁹ Новоселовцев А. П. и др. Указ. раб., с. 335—408; Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М.: Наука, 1982, рис. на с. 215.

⁴⁰ Коковцов П. К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л., 1932, с. 98—99.

⁴¹ Седов В. В. Восточные славяне в VI—XIII вв. Археология СССР. М.: Наука, 1982, карта 38.

В. Ф. Минорский и Б. Н. Заходер, «весьма сомнительны и неисправны»⁴².

В последние годы складывается мнение, что буртасы были кочевым или полукочевым народом. Этой точки зрения придерживаются Б. А. Васильев, Б. Н. Заходер, А. И. Попов, П. Голден⁴³. Попытаемся рассмотреть приводимые ими аргументы, наиболее полно изложенные Б. А. Васильевым.

В источниках часто встречается описание погребальных обрядов буртасов: «Одни из буртасов сжигают покойников, другие хоронят», — пишет Ибн Русте, а вслед за ним Гардизи и Марвази. Рассматривая это сообщение, Б. А. Васильев, отмечает, что такой же обряд погребения практиковался и у печенегов, а, следовательно, уводит в кочевой мир. Вряд ли этот довод можно считать убедительным. Археологические источники свидетельствуют, что во второй половине I тысячелетия н. э. обряд трупосожжения был широко распространен и у народов, которые никак нельзя отнести ни к кочевникам, ни к полукочевникам (памятники роменской, боршевской и других культур).

Другой аргумент, приводимый сторонниками кочевого образа жизни буртасов, — наличие у них многочисленного конного, вооруженного луками, войска. Обратимся к источникам. Действительно, Ибн Русте пишет: «Буртасы подчиняются царю хазар и выставляют в поле 10 000 всадников»⁴⁴. Это повторяют Гардизи, Марвази и другие географы. Однако может ли сам факт наличия конного войска свидетельствовать о кочевом быте всего народа? Думается, что нет, особенно если учесть замечание Гардизи: «Лошадь имеет не всякий, а только очень богатые»⁴⁵. Более того, комплекс традиционного оружия буртасов — два дротика, топор и лук — характеризует их скорее как пеших воинов, чем всадников. Можно думать, что сообщение о буртасских всадниках отражает наличие в обществе прослойки богатых дружинников, принимавших участие в военных операциях хазар.

В качестве свидетельства кочевого образа жизни буртасов нередко приводят сообщение Ибн Русте и Гардизи о том, что «Буртасы имеют верблюдов, рогатый скот»⁴⁶. Этот аргумент в свое время уже был подвергнут справедливой критике В. В. Гольмстен⁴⁷. И действительно, кости верблюдов найдены на многих поселениях лесостепной и лесной зоны Восточной Европы, занятых оседлым населением (в частности, на городищах Боршевское, Титчиха, в Булгаре, Киеве)⁴⁸.

По мнению Б. А. Васильева, доказательством подвижного характера хозяйства буртасов являются их жилища⁴⁹. Но этот вывод явно противоречит той информации, которую дают восточные источники: «У них деревянные дома, в них они живут зимою, и шатры, в них они обитают летом»⁵⁰. Деревянные дома никак не согласуются с кочевым бытом, так же как летние шатры совсем не обязательно должны принадлежать кочевникам. Легкие летние постройки хорошо известны по археологическим и этнографическим материалам у ряда оседлых этнических общностей Восточной Европы.

В качестве аргумента использовалось также сообщение о распространении в стране буртасов сосны. «Большая часть их (буртасов. — Г. А.) деревьев — хелендж», — пишет Бекри⁵¹. Одни исследователи пере-

⁴² Заходер Б. Н. Указ. раб., с. 235.

⁴³ Golden P. Khazar Studies. A Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Budapest, 1980, p. 90.

⁴⁴ Хвольсон Д. А. Указ. раб., с. 19.

⁴⁵ Бартольд В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893—1894 гг. Спб., 1897, с. 121.

⁴⁶ Хвольсон Д. А. Указ. раб., с. 21.

⁴⁷ Гольмстен В. В. Указ. раб., с. 17—25.

⁴⁸ Кропоткин В. В. Караванные пути в Восточной Европе. — В кн.: Кавказ и Восточная Европа в древности. М., 1973, рис. 1; *его же*. О топографии кладов куваческих монет IX в. в Восточной Европе. — В кн.: Древняя Русь и славяне. М., 1978, с. 116.

⁴⁹ Васильев Б. А. Указ. раб., с. 203.

⁵⁰ Заходер Б. Н. Указ. раб., с. 27.

⁵¹ Куник А., Розен В. Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах. Ч. 1. Спб., 1878, с. 62.

водят слово *хелендж* как «береза», другие — как «сосна»⁵². Поскольку сосна растет в более южных по сравнению с березой районах, сторонники второго варианта перевода считают возможным локализовать страну буртасов южнее зоны распространения березы⁵³. Не касаясь вопроса о правильности перевода слова хелендж, следует сказать, что в любом случае южная граница распространения этих деревьев не выходит за пределы лесостепной зоны, а сама эта зона не соответствует представлению о кочевом характере хозяйства ее населения.

Итак, все рассмотренные аргументы не могут, на наш взгляд, служить доказательством кочевого быта буртасов. Более того, целый ряд «тем» «Каспийского свода» приводит нас к прямо противоположному выводу. Перейдем к их анализу.

Прежде всего, есть четкие указания источников на развитое земледелие у буртасов. «Занимаются они и землепашеством», — пишет Ибн Русте⁵⁴, а Бекри сообщает об обширных пашнях⁵⁵. Аналогичные сведения находим и в сочинении Гардизи. Исследователи, характеризующие буртасов как кочевников или полукочевников, обычно не упоминают о земледелии (за исключением Б. Н. Заходера, отмечавшего, что «источники знают буртасов — и скотоводов, и земледельцев»)⁵⁶. Те же, кто считал буртасов оседлым населением, делали акцент именно на земледелие (Ф. Ф. Чекалин, В. В. Гольмстен, В. Ф. Генинг и др.). Следует отметить, что сочинения восточных географов не позволяют говорить о земледелии как ведущей форме хозяйства у буртасов. Но сам факт упоминания в их трудах земледелия свидетельствует о его значительной роли (особенно в контексте с сообщениями об отсутствии земледелия у соседей буртасов — русов, мадяров, в-н-нд-ров).

Важное место в хозяйстве буртасов источники отводят животноводству. По Ибн Русте и Гардизи, «Буртасы имеют верблюдов, рогатый скот»⁵⁷, а Бекри сообщает: «...и имеют они большие стада рогатого скота и овец»⁵⁸. Но особенно важно дополнение Марвази: «Они имеют свиней и рогатый скот»⁵⁹. Здесь весьма существенно, что свиньи упоминаются первыми. Б. Н. Заходер полагал, что это сообщение отражает не реальный факт, а брезгливое отношение мусульманина к людям, употребляющим «нечистое» свиное мясо. Возможно, это замечание Заходера связано с его взглядом на буртасов как на кочевой народ, что должно полностью исключать свиноводство. Но, следуя этим путем, можно исключить любое животное из буртасского стада в зависимости от той или иной концепции.

Итак, рассматривая в целом состав стада, надо признать, что оно характерно для оседлых животноводов южной лесостепной зоны, пограничной со степью.

Во многих сочинениях восточных географов особо подчеркивается занятие буртасов бортничеством. Ибн Русте, Бекри и Марвази отмечают, что «главное их богатство составляет мед»⁶⁰, а Гардизи добавляет: «Плодов в этой стране нет; вино у них делается из меда»⁶¹. Как известно, в истории пчеловодства различают три основных этапа: пчеловодство дикое (бортевое), колодное и рамочное. Два первых этапа отражают древнейшие формы хозяйства, причем первый этап — бортничество — непосредственно связан или с использованием дупел толстых деревьев, или со специальным выдалбливанием дупел, что возможно только в лесной

⁵² Вестберг Ф. Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе. — Журн. Мин-ва народного просвещения, 1908, ч. XIII—XIV, февраль-март, с. 403.

⁵³ Васильев Б. А. Указ. раб., с. 203.

⁵⁴ Хвольсон Д. А. Указ. раб., с. 21.

⁵⁵ Куник А., Розен В. Указ. раб., с. 62.

⁵⁶ Заходер Б. Н. Указ. раб., с. 245.

⁵⁷ Хвольсон Д. А. Указ. раб., с. 21.

⁵⁸ Куник А., Розен В. Указ. раб., с. 62.

⁵⁹ Minorsky V. Sharaf al-Zamān..., p. 33.

⁶⁰ Хвольсон Д. А. Указ. раб., с. 21; Куник А., Розен В. Указ. раб., с. 62; Minorsky V. Sharaf-al-Zamān, ..., p. 33.

⁶¹ Бартольд В. Отчет..., с. 121.

или лесостепной зонах. Прямая зависимость бортничества от леса в Поволжье наиболее наглядно проявилась в его резком сокращении в XVII в. в связи с вырубкой лесов. Но до настоящего времени в некоторых районах Башкирии сохранились бортевые деревья с дикими лесными пчелами. Распространение бортничества у буртасов также противоречит гипотезе об их кочевой жизни; оно указывает на лесной или лесостепной характер страны, что согласуется с приведенным сообщением о наличии у буртасов свиней.

Существенной статьей дохода буртасов является и пушной промысел. «Из страны буртас вывозят шкуры черных лисиц,— пишет Масуди,— представляющие самые ценные меха. Из них существует несколько видов: бурые и белые, не уступающие в ценности собольему и песцовому... Черные лисьи меха не встречаются нигде в мире, кроме этой страны и соседних с нею стран. Неарабские цари стараются перешеголять друг друга роскошью шуб из этих мехов и делают из них шапки и шубы, так что черные меха ценятся очень дорого. Вывозят их в Баб-ул-Абваб, Берда'а и прочие страны Хорасана. Часто вывозят их в северные страны славянских земель..., а затем везут в земли Франции и Испании. Оттуда вывозят черные и красные лисьи меха в Магриб...»⁶². По В. Ф. Минорскому и Б. Н. Заходеру, буртасы экспортировали не только мех лисиц, но и куниц, горностаев, соболей, белок и бобров. Это еще один аргумент в пользу того, что страна буртасов расположена в лесостепной зоне.

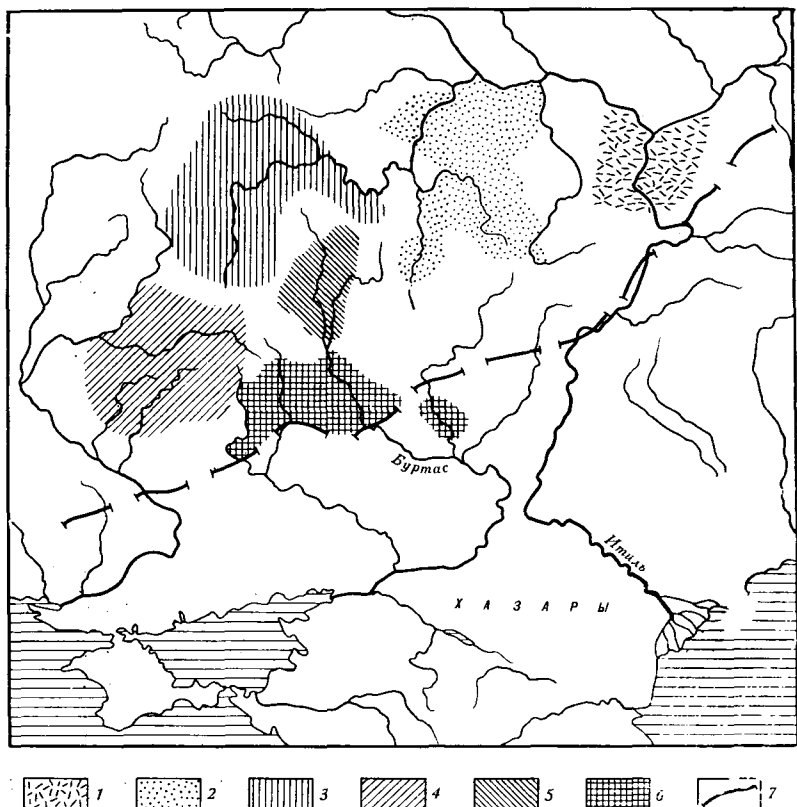
Таким образом, восточные источники дают нам следующий перечень занятий буртасов в порядке их значимости в хозяйстве: 1) охота с целью добычи пушнины на экспорт; 2) пчеловодство; 3) животноводство; 4) земледелие. Разумеется, можно усомниться в реальности такой градации значимости занятий. Восточные географы акцентируют внимание на том, что для них ново, непривычно и удивительно. Широкая слава буртасского мехового товара приводит к тому, что подсобное занятие — охота — ставится на первое место в хозяйстве. Изготовление вина из меда, что также необычно для южан, определяет место пчеловодства — второе по важности занятие буртасов. Исследовав весь комплекс сведений об особенностях хозяйства и культуры буртасов, можно определить их хозяйственно-культурный тип. Буртасы — оседлые животноводы и пашенные земледельцы, занимающиеся также подсобными промыслами — охотой и бортничеством. Этот хозяйственно-культурный тип соответствует определенному агроклиматическому району — лесостепной зоне и полностью исключает степи (если учитывать уровень развития производительных сил в VIII—X вв.).

Следовательно, для локализации буртасов в первый период их истории мы имеем важные ориентиры — хронологический, территориальный и агроклиматический, ибо знаем теперь, что памятники археологической культуры буртасов должны быть, во-первых, заключены в хронологические рамки VIII—X вв., во-вторых, находиться к западу от Волги, но не на ее берегу и, в-третьих, располагаться в южной части лесостепной зоны.

К западу от Волги, где восточные источники помещают буртасов, находятся две физико-географические зоны — степь и лесостепь. Южная граница лесостепи между Днепром и Волгой проходит по линии Полтава — Балаклея — Валуйки — Россошь — Новохоперск — Саратов. Отдельные острова лесостепи вклиниваются в степную зону по долинам рек Хопер, Бузулук и Медведица — левым притокам Дона. Очерченная территория характеризуется и специфическим составом фауны, отличающимся от фауны степной зоны: здесь бобры, белки, горностаи, лисицы, куницы и т. д.⁶³, т. е. именно те животные, пушнину которых, согласно источникам, добывали буртасы.

⁶² Караулов Н. А. Указ. раб., с. 34—35.

⁶³ Кириков С. В. Человек и природа в восточно-европейской лесостепи в X — начале XIX в. М.: Наука, 1979, с. 16—17.



Археологические культуры лесостепной зоны Восточной Европы в VIII—X вв.: 1 — памятники волжских булгар; 2 — памятники мордвы и муромы; 3 — памятники вятичей на Оке; 4 — памятники северян (роменская культура); 5 — памятники донских славян (боршевская культура); 6 — памятники лесостепного (аланского) варианта салтово-маяцкой культуры; 7 — граница лесостепной зоны

Археологические культуры, датируемые в рамках VIII—X вв., в этой зоне выявлены достаточно четко. К северу от Саратова по обоим берегам Волги между устьями рек Черемшан и Кама расположены памятники волжских булгар (см. карту), страна которых, как мы знаем, отличалась от страны буртасов. К западу, в бассейне рек Цны и Мокши в междуречье Суры и Оки, находятся памятники мордвы (арису царя Иосифа). Лесостепная зона Днепровского левобережья вплоть до Северского Донца занята памятниками роменской культуры, носителями которой были северяне (с-в-р царя Иосифа). В бассейне Верхнего Дона сосредоточены памятники боршевской культуры, которые отдельные исследователи связывают с вятичами (в-н-н-тит царя Иосифа).

Южная кромка лесостепной зоны между памятниками роменской культуры и мордовскими занята лесостепным (аланским) вариантом салтово-маяцкой культуры середины VIII — начала X в., который соответствует выделенным нами для локализации буртасов ориентирам — хронологическому, территориальному и агроклиматическому. Вместе с тем памятники этого варианта культуры исключают возможность отождествления их с каким-либо другим из упомянутых в источниках соседних с буртасами народов (бул-г-р, с-вар, арису, ц-р-мис, в-н-н-тит, с-в-р, с-л-виюн в письме хазарского царя Иосифа).

Итак, страна буртасов локализуется нами в границах лесостепного (аланского) варианта салтово-маяцкой культуры. На юго-западе она включает территории по среднему течению Мжи и далее по руслу Сухой Гомолыши; на северо-западе — по долине Северского Донца в райо-

не с. Архангельское, долине р. Короча у с. Большое Городище, долине р. Оскол (вблизи г. Новый Оскол) и далее по долине р. Тихая Сосна. Археологические разведки, проведенные нами на Донском левобережье, выявили памятники этой культуры почти на 90 км северо-восточнее Дона, на островке лесостепи в долине Хопра, что позволяет наметить северо-восточную границу салтово-маяцкой культуры в этом регионе.

Как же соотносится предложенная локализация страны буртасов с информацией о территориальных и политических связях буртасов и хазар? В этом отношении весьма примечательно сообщение Марвази: «Им (хазарам.—Г. А.) принадлежат буртасы, чья территория является частью хазарской территории. Между этими двумя народами 15 дней пути. Они (буртасы.—Г. А.) подчиняются царю хазар и выставляют ему 10 000 всадников»⁶⁴. Налицо территориальные и политические связи между хазарами и буртасами в рамках Хазарского каганата, что вполне соответствует сложившемуся в настоящее время представлению о салтово-маяцкой культуре как культуре Хазарского каганата⁶⁵. Оказывается возможным идентифицировать степную территорию, лежащую между хазарами и буртасами. Гардизи так описывает ее: «Вся местность между их (буртасов.—Г. А.) владениями и страной хазар представляет равнину; на пути есть населенные места с источниками, деревнями и текущими водами»⁶⁶. Вероятно, речь идет здесь о степях нынешних Ворошиловградской и Волгоградской областей с притоками Северского Донца и Дона.

С размещением буртасов связан и вопрос об отождествлении реки Буртас. Сведения о ней приводятся у Масуди: «Хазары имеют челны, на которых они плавают из своего города вверх по реке, которая течет в их реку (Итиль.—Г. А.) из верхних мест и которая называется Буртас». Несколько далее он опять замечает: «Буртас... живет, как ранее упоминалось, на реке, названной по его имени»⁶⁷. Это описание повторяет Димашки. Речка под названием Буртас имеется на юго-западе современной Пензенской области (впадает в Вышу, приток Цны), и в пользу ее отождествления с рекой, упомянутой Масуди, высказался еще П. С. Савельев⁶⁸. Такое отождествление отверг Д. А. Хвольсон, полагая, что р. Буртас слишком мала для плавания хазарских лодок. Добавим к этому, что буртасская топонимика, как установлено исследователями, в этом районе появилась поздно. Сам же Д. А. Хвольсон высказал предположение, что р. Буртас восточных географов — это часть Камы и Волги. С р. Буртас И. Маркварт отождествлял р. Самару⁶⁹, В. Ф. Минорский — верхнее течение Волги, Оку, или Дон⁷⁰, А. Е. Алихова, исходя из кавказской гипотезы локализации буртасов, — Маныч (последнее подверг критике А. П. Смирнов)⁷¹.

Попытаемся отыскать р. Буртас с позиции предложенного определения страны буртасов. Из описания Масуди и Димашки ясно, что это многоводная судоходная река, приток Итиля, который должен, как было показано ранее, располагаться к западу от Итиля. Но ни в среднем, ни в нижнем течении Волги между хазарами и волжскими булгарами таких притоков нет. И здесь, вероятно, следует вспомнить рассказ Масуди о протоке, соединяющем Итиль с Русским морем: «Я же видел, что большая часть занимавшихся описанием морей из древних и новых упоминают в своих сочинениях, что рукав Кустантинии, выходящий из Майотаса, соединяется с Хазарским морем; но я не знаю, как это возможно и откуда они это взяли, путем ли собственного наблюдения, путем ли

⁶⁴ Minorsky V. Sharaf al-Zamān..., p. 33.

⁶⁵ Плетнева С. А. От кочевий..., с. 189.

⁶⁶ Бартольд В. Отчет..., с. 121.

⁶⁷ Минорский В. Ф. Указ раб., с. 195—196.

⁶⁸ Савельев П. С. Мухаммедаанская нумизматика в отношении к русской истории. Спб., 1847, с. 65, прим. 109.

⁶⁹ Marquart J. Osteuropäische und Ostasiatische Streifzüge. Leipzig, 1903, S. 396, Anm. 2.

⁷⁰ Minorsky V. Hudūd..., p. 462—463.

⁷¹ Алихова А. Е. Указ. раб., с. 53; см. также: Смирнов А. П. К вопросу о буртасах, с. 47.

умозаключения и сравнения»⁷². И далее: «В верховьях хазарской реки есть устье, соединяющееся с рукавом моря Нейтас, которое есть Русское море; никто кроме них (русов) не плавает по нем и они живут на одном из его берегов»⁷³. Комментируя эти фрагменты, А. Я. Гаркави писал: «Ошибочное мнение Масуди, разделяемое, как уже было выше замечено, также другими арабскими географами, что рукав Волги соединяется с рукавом Азовского моря или Доном, — имеет источником то обстоятельство, что с самых ранних времен судам и ладьям, плававшим по Волге и Дону, небольшое расстояние между обеими этими реками... никогда не представляло препятствия: их перетаскивали волоком через сушу»⁷⁴. Эту же мысль высказывает и Б. А. Рыбаков, отмечая, что наземная переправа из Дона в Волгу создавала у арабских географов впечатление об их слиянии⁷⁵.

В таком случае закономерно поставить вопрос об отождествлении р. Буртас с Доном, который в районе г. Калач-на-Дону так близко подходит к Волге, что информаторы Масуди принимали его за приток Итиля. Это отождествление (с учетом размещения памятников лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры в Донецко-Донском междуречье) вполне соответствует ее описанию в сочинении Масуди как внутренней реки буртасов и как водной артерии, связывающей буртасов с хазарами и, следовательно, способствующей развитию торговли.

Важной частью буртасской проблемы является объяснение этнонима «буртас», в котором исследователи видят самоназвание народа⁷⁶. У Истахри этот термин используется в двух значениях: название этнической общности и название страны. Третье значение термина приводит Иакут — название города. Исходным для толкования этнонима служит сообщение Истахри и Ибн Хаукаля: «Язык болгар похож на язык хазар, у буртасов — другой язык, равно как язык русов — не язык хазар и буртасов»⁷⁷. Это сообщение позволяет исключить при дешифровке этнонима тюркские и славянские языки. С другой стороны, предложенная связь буртасов с аланской этнолингвистической общностью дает основание объяснить этноним из иранских языков. Однако первая попытка толкования термина *буртас* была сделана В. Сбоевым на основе чувашского языка. Исследователь видел в слове *буртас* древнюю форму глагола *бурнас* в значении «жить, быть оседлым»; отсюда *буртас* — это «обитаемое место, жилище, становище»⁷⁸. Перевод В. Сбоева не получил признания. Следующая попытка была предпринята В. Томашеком, переводившим слово *буртас* от староиранского *mrtāsa* — «людоеды». Против такого толкования выступил И. Н. Смирнов⁷⁹. А. В. Марков связывал этноним *буртас* с финским словом *purdas* — «мост», имеющим иранское происхождение (авестийское *parātu*)⁸⁰, но, по мнению Б. Н. Заходера, это чтение принять трудно. В. Ф. Генинг⁸¹, предположив, что термин *буртас* сложносоставной, предлагает четыре варианта его чтения и в каждом оказывается отраженной взаимосвязь двух этносов — уральского (фратриальное имя Бор/Пор) и монголо-тюркского (Тас-Ас).

В арабо-персидской географической литературе встречаются несколько разновидностей написания термина *буртас*: б-ртас, б-рдас, б-радас,

⁷² Гаркави А. Я. Указ. раб., с. 128.

⁷³ Там же, с. 130.

⁷⁴ Там же, с. 153.

⁷⁵ Рыбаков Б. А. Указ. раб., с. 210.

⁷⁶ Попов А. П. Буртасы и мордва. — Уч. зап. ЛГУ. Сер. востоковедческих наук. В. 2. Л., 1948, с. 209.

⁷⁷ Dunlop D. M. Op. cit., p. 98.

⁷⁸ Сбоев В. Чуваша в бытовом, историческом и религиозном отношении (их происхождение, язык, обряды, поверья, предания и пр.). М., 1865, с. 184.

⁷⁹ Смирнов И. Н. Мордва. Историко-этнографический очерк. Казань, 1895, с. 40—41.

⁸⁰ Марков А. В. Отношения между русскими и мордвой в истории и в области народной поэзии в связи с вопросом о происхождении великорусского племени. — Изв. Тифлиских высших женских курсов. Кн. 1. В. 1. Тифлис, 1914, с. 19.

⁸¹ Генинг В. Ф. Этническая история Южного Прикамья в I тыс. н. э. Дис. на соиск. уч. ст. д-ра ист. наук. Свердловск: Ин-т археологии АН СССР, 1973 (хранится в архиве ИА, Р-2, № 2144, с. 260).

ф-рдас, ф-ртас. К этому можно добавить бур-т-с хазарского царя Иосифа. Разнообразие графических форм термина буртас показывает, как отмечал Б. Н. Заходер, что название буртасы не укладывается точно в арабскую графическую систему и что, возможно, оригинал этого изображения арабской графикой имени звучал несколько иначе, чем русское буртас. Ранее другой известный знаток восточных источников, В. Ф. Минорский, допускал, что первоначальной была употребляемая Бекри форма — фурдас. Интересно, что эта форма сохранялась вплоть до XVII в. Так, в сочинениях Рази упоминается древний народ фуртасы.

Если согласиться с В. Ф. Генингом, что данный этноним состоит из двух частей — *бурт/фурт* + *ас*, то первая часть может быть понята (из иранских языков) как «сын» (по аналогии с авестийским *ридга*, санскритским *putra*, скифским *furt*, осетинским *фырт*, персидским *pūr*), причем некоторые различия в значениях первой (п — ф) и третьей (т — д) согласных отражают фонетические особенности осетинского языка: древнеиранскому «п» в осетинском соответствует «ф», а звук «т» может переходить в «д»⁸². Вторая часть этнонима *-ас* не нуждается в специальном пояснении. Это язиги, язаматы, яксаматы античных источников, аштигор «Армянской географии» VII в., оси-овсы грузинских источников, асы персидских, арабских, византийских и китайских источников, ясы русских летописей, яз-ок венгерских источников⁸³. Сказанное позволяет предположить, что этноним *бурт/фурт-ас* можно перевести как «сын асский». Такое словообразование характеризует древнее состояние синтаксиса осетинского языка, когда «определение стояло позади определяемого»⁸⁴, что наглядно иллюстрируется сложными словами *батыр-ас* — «богатырь асский» и *сари-ас* — «вождь асский». И здесь не лишним будет вспомнить, что сложносоставные этнонимы с элементом *ас* были известны в арабо-персидской литературе уже в X в., их использовали для обозначения аланской этнолингвистической общности. Например, упомянутое у Ибн Русте главенствующее аланское племя *рухс-ас* — «светлые асы», чьи генетические корни уходят к роксаланам, а также народ *тул-ас*, в котором одни исследователи видят туальцев Южной Осетии, а другие — имя аланского князя Дула⁸⁵.

Подведем некоторые итоги. В результате исследования получены ключевые, на наш взгляд, ориентиры для определения этнической территории буртасов: выявлены хронологические рамки первого периода истории народа, характер физико-географической зоны, где находилась страна, расположение этой страны по отношению к Волге и, наконец, хозяйственно-культурный тип буртасов. Нам представляется, что есть все основания связать с буртасами лесостепной вариант салтово-маяцкой культуры. Эта связь подтверждается также правоммерностью отождествления р. Буртас с Доном. Да и само понимание салтово-маяцкой культуры как культуры Хазарского каганата соответствует описанному в источниках территориальному и политическому союзу между хазарами и буртасами. Согласуется с нашим выводом и предложенный вариант перевода этнонима «буртас» сложносоставным словом *бурт/фурт-ас*, означающим название аланских племен Северного Кавказа — асов, которые в середине VIII в. мигрировали в лесостепную зону бассейна Среднего Дона, приняв участие в формировании салтово-маяцкой культуры. Археологически этот процесс достаточно хорошо фиксируется как на Северном Кавказе, где в середине VIII в. прекращается функционирование большой группы аланских катакомбных могильников и соответствующих поселений в районе Кисловодской котловины⁸⁶, так и в лесо-

⁸² Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. М.-Л., 1949, с. 15, 209—211; автор пользуется случаем поблагодарить В. И. Абаева за консультацию по вопросам лингвистики.

⁸³ Гаглойти Ю. С. Аланы и вопросы этногенеза осетин. Тбилиси: Мецниереба, 1966, с. 167—221.

⁸⁴ Абаев В. И. Указ. раб., с. 232, 233.

⁸⁵ Minorsky V. Hudūd..., p. 445.

⁸⁶ Афанасьев Г. Е. К вопросу о происхождении аланского варианта салтово-маяцкой культуры. — В кн.: Античные государства и варварский мир. Орджоникидзе, 1981.

степной зоне, где в это же время появляются катакомбные могильники и поселения, связываемые с аланской этнической общностью⁸⁷. Характерно, что в этнониме «буртас» отражена этногенетическая связь аланского населения лесостепной зоны бассейна Среднего Дона с аланской (асской) общностью Северного Кавказа.

⁸⁷ Плетнева С. А. Салтово-маяцкая культура.— В кн.: Степи Евразии в эпоху средневековья. Археология СССР. М.: Наука, 1981, с. 62—74.

В. Г. Стельмах

ХОЗЯЙСТВО ИНДЕЙЦЕВ США НА РУБЕЖЕ XIX—XX СТОЛЕТИЙ

Выбор данной темы не случаен: многие социокультурные проблемы индейцев США связаны с длительной обособленностью и односторонним развитием их хозяйства. Между тем эволюция хозяйственных занятий индейцев в условиях капитализма изучена недостаточно. Американские исследователи обычно рассматривают архаические формы хозяйства и их пережитки у аборигенного населения, лишь констатируя факт интеграции его в экономику страны¹. Исключением является Л. Карлсон, в работе которого предпринята попытка изучения влияния закона Дауэса (1887 г.) на развитие сельского хозяйства в индейских резервациях².

Хотя советские этнографы неоднократно затрагивали различные стороны адаптации хозяйства этнических меньшинств к окружающим условиям в связи с исследованием проблем социального строя аборигенов США³, специально этот вопрос не изучался.

Задача настоящей статьи — рассмотреть развитие хозяйства индейцев на рубеже XIX—XX вв., в период интенсивного экономического освоения западных областей США, ускорившего процесс вовлечения обособленного в целом хозяйства индейских общин в экономическую жизнь страны.

Условия жизни, демографические тенденции, общие черты хозяйственного развития индейских племен

К 90-м гг. XIX в. индейское население США, по данным 11-й переписи, насчитывало 248,2 тыс. человек. В результате систематического вытеснения с исконных этнических территорий, проводившегося федеральным правительством с 30-х гг. прошлого века, 78% индейцев проживало в восьми штатах: Оклахома, Аризона, Нью-Мексико, Южная Дакота, Калифорния, Вашингтон, Монтана и Висконсин, которые, исключая последний, расположены к западу от Миссисипи. У индейских племен оставалось около 121,0 млн. акров земли, из которых 104,3 млн. были распределены между 162 резервациями, а остальные принадлежали главным образом пяти «цивилизованным племенам» Оклахомы (чироки, чокто, чикасо, крики и семинолы) и не имели статуса резерваций. 171,5 тыс. индейцев (76%) считались трудоспособными (такими по офи-

¹ Castetter E. Yuman Indian Agriculture. Albuquerque, 1951; Hill W. Navajo Pottery Manufacture. Albuquerque, 1937; Acculturation in Seven American Indian Tribes/Ed. Linton R. Gloucester, 1963; Wissler C. Indians of the U. S. N. Y. 1940; Spicer E. Cycles of Conquest. The Impact of Spain, Mexico and U. S. on Indians of the Southwest. Tucson, 1962; Washburn W. The Indian in America. N. Y., 1975.

² Carlson L. Indians, Bureaucrats and Land. Westport, 1981.

³ См., например: Аверкиева Ю. П. Индейское кочевое общество XVII—XIX вв. М.: Наука, 1975.

циальным критериям того времени признавались лица, достигшие десятилетнего возраста)⁴.

Как показали исследования американских этнографов, социальные отношения индейцев США соответствовали стадии разложения родовой общины. Формально по-прежнему существовала общественная собственность на землю, функционировали племенные органы власти, а в бытовой сфере соблюдались многочисленные родовые нормы. В действительности же процесс разложения рода зашел достаточно далеко. Так, у племен пьюлэлап (штат Вашингтон) и шошонов (Невада) установилась индивидуальная собственность на жилища, предметы обихода, орудия производства и на деньги, заработанные личным трудом вне резерваций. У южных юта (Колорадо), оглала-сиу и сэнти-сиу (Южная Дакота) за отдельными семьями бессрочно закреплялись обрабатываемые земельные участки. А «цивилизованные племена» Оклахомы даже создали свою систему органов власти наподобие федеральной (законодательные функции были переданы выбираемым на 2—3-годовой срок племенным ассамблеям, исполнительные — губернаторам соответствующего племени) и приняли законы, официально закреплявшие за отдельными членами племени огромные, порой до 1000 акров (1 акр = 4 тыс. м²), участки племенных земель⁵.

Что же представляло собой хозяйство индейских племен на рубеже XIX—XX вв.? По мнению американских ученых, оно было «полностью аккультурированным». Под термином «экономическая аккультурация» Э. Кастеттер, Р. Линтон, Д. Харрис, М. Оплер, М. Смит понимали главным образом «заимствования... нового сельскохозяйственного инвентаря (плугов, кос), в отдельных случаях — новых культур (пшеницы)», которые «происходили в ходе более или менее регулярных контактов индейского и белого населения при индустриальном освоении Запада». Процесс трансформации хозяйства был, по их мнению, повседневным, относительно быстрым и привел к определенной стандартизации хозяйственных занятий индейских племен, находившихся до установления контакта с белыми на разном уровне экономического развития и имевших различные хозяйственные модели⁶. Безусловно, при таком узком подходе процесс адаптации хозяйства коренного населения к условиям капитализма США можно считать завершенным к 80-м гг. прошлого века, т. е. к моменту окончательного переселения аборигенов в резервации. Однако это не совсем точно. Остановимся более подробно на общих тенденциях развития хозяйственных занятий индейских племен в конце XIX в.

Прежде всего необходимо уяснить, что представляли собой земли индейцев. Судя по всем источникам, включая официальные отчеты Индиан-оффис, в целом они были плохими. Член Ассоциации защиты прав индейцев Д. Харрисон, изучавший в 1885 г. условия их жизни в резервациях штатов Монтана, Небраска, Южная Дакота, Орегон и Вашингтон, писал, что в большинстве мест земли были засушливыми, нередко с непригодными для хозяйства солончаками; пересеченный рельеф местности и овраги препятствовали развитию животноводства. Харрисон пришел к выводу, что в этих резервациях количество годных и негодных для сельского хозяйства земель выражалось соотношением 1 : 7⁷. Лишь у

⁴ 11 Census of the U. S. 1890. Wash., 1895, v. 6, pt 1, p. CC, 965; Annual Report of the Commissioner of Indian Affairs to the Secretary of the Interior (далее — ARCIA) 1887—1917. Wash., 1887—1918; Ibid., 1890, p. 38, 448; 13 Census of the U. S. 1910. Indian Population in the U. S. and Alaska in 1910. Wash., 1915, p. 250; Annual Report of the Commission to the Five Civilized Tribes. 1900. Wash., 1900, p. 83, 153.

⁵ Harrison J. The Latest Studies on Indian Reservations. Philadelphia, 1887, p. 164, 165; Documents of U. S. Indian Policy. Lincoln, 1975, p. 194. Подробнее о социальных отношениях у индейцев в тот период см.: Smith M. Puylalup of Washington.— Acculturation..., p. 13—15; Harris J. White Knife Shoshoni of Nevada.— Ibid., p. 45—46, 54; Opler M. Southern Ute of Colorado.— Ibid., p. 7—79; Joffe N. The Fox of Iowa.— Ibid., p. 124—125; Carlson L. Op. cit., p. 84, 89.

⁶ Castetter E. Op. cit., p. 81; см. также: Smith M. Op. cit., p. 34; Harris J. Op. cit., p. 89.

⁷ ARCIA. 1898, p. 112, 129, 183; Harrison J. Op. cit., p. 18, 39, 45, etc.

«цивилизованных племен» Оклахомы были плодородные земли⁸. Переселению индейцев в малопригодные для хозяйства резервации сопутствовал упадок традиционных источников существования: охоты, рыболовства, собирательства. Как заметил американский этнограф Х. Элкин, жизнеобеспечение в новых условиях неизбежно приводило к созданию идентичных хозяйственных форм у различных индейских племен⁹.

Главной отраслью хозяйства индейцев было земледелие. Согласно официальным данным, в нем было занято 27,2 тыс. семей, обрабатывающих в совокупности 288,6 тыс. акров земли¹⁰. Ряд факторов свидетельствовал об определенной адаптации земледелия к капиталистической экономике США. Повсеместно индейское население выращивало те же культуры, что и его белые соседи: пшеницу, кукурузу, ячмень, овес, зернобобовые, картофель, овощи, тыквы, арбузы. В некоторых резервациях, например Флэтхэд (Монтана), Сайлитц (Орегон), Сенека (Нью-Йорк), Виннебаго (Небраска), а также на землях «цивилизованных племен», индейские поселки представляли ухоженные фермы площадью от 40 до 160 акров; в период полевых работ их владельцы использовали механические косилки, сеялки, молотилки. Уполномоченный по делам индейцев Д. Оберли писал, что «между их хозяйством и американским (хозяйством белых.— В. С.) было в общем-то мало различий»¹¹. Но приведенные примеры являлись исключением. Харрисон считал, что в целом сельское хозяйство резерваций «с большим трудом приспособлялось к новым условиям: неблагоприятный климат, нехватка инвентаря, семян и отсутствия в ряде мест знаний приемов земледелия — все это обрело индейцев на нищенское, полуголодное существование». В результате резервации индейцев кроу и блэкфит (Монтана), сэнти и омаха (Небраска), шошонов (Вайоминг), оглала (Южная Дакота) постоянно находились под угрозой голода. По данным Индиэн оффис на 1890 г., продукция земледелия, составлявшая 881,4 тыс. бушелей пшеницы (1 бушель = 35,2 л), 1139,2 тыс. — кукурузы, 545,0 тыс. — ячменя и овса, 482,5 тыс. — овощей «давала лишь $\frac{1}{3}$ продовольствия, необходимого для пропитания людей, не говоря уже о создании семенного фонда»¹².

Аналогичным образом развивалось и животноводство. Индейцы владели, о чем будет сказано ниже, сравнительно большим поголовьем скота (только лошадей в 1890 г. у них было 433 тыс.), однако продукции скотоводства «с трудом хватало на домашнее потребление»¹³.

Занятие сельским хозяйством не обеспечивало населения резерваций, что вынуждало его искать другие источники дохода. К 90-м годам прошлого столетия относятся отдельные попытки использовать, где это было возможно, лесные ресурсы индейских земель. Чиппевы и меномини (Висконсин), омаха продавали окрестному белому населению дрова. Однако это занятие, безусловно, ставшее подспорьем в хозяйстве, не могло быть основой существования даже в богатых лесом резервациях в силу дешевизны продукции: 1 корд (3,6 куб. м) спиленных дров стоил от 2 до 4 долл.¹⁴. Что касается труда вне резервации, то индейцам удавалось подработать лишь на перевозке различных грузов в своей округе. Но поскольку перевозка груза весом 1 тыс. фунтов (1 фунт = 453,6 г) стоила 10 центов, общий доход от нее в 1890 г. составил всего 94,3 тыс. долл. и, как отмечали документы Индиэн оффис, эти деньги шли «не столько на покупку семян, сельхозинвентаря и устройство жилищ, сколько на ремонт телег и корм лошадам». В целом за работу вне сельского хозяйства индейцы получили в 1890 г. только 1,6 млн. долл.¹⁵ (около 7 долл. на человека в год).

⁸ Documents of U. S. Indian Policy, p. 190.

⁹ Elkin H. Northern Arapaho of Wyoming.— In: Acculturation..., p. 256.

¹⁰ ARCIA. 1887, p. X; 1890, p. 480.

¹¹ ARCIA. 1887, p. XII, LXXXIX; см. также: 1890, p. 122, 136, 176; Harrison J. Op. cit., p. 9—25, 35, 55, 98.

¹² Harrison J. Op. cit., p. 11—15; ARCIA. 1890, p. 3, 28, 115, 480.

¹³ ARCIA. 1890, p. 26, 34, 114.

¹⁴ Harrison J. Op. cit., p. 59, 98.

¹⁵ ARCIA. 1890, p. 51, 150, 480.

Следует отметить, что федеральное правительство оказывало индейскому населению определенную помощь в виде продовольственных поставок и денежных дотаций, которые оно обязалось выплачивать при переселении какого-либо племени из исконного этнического региона в резервацию. Величина этой помощи была довольно незначительной — в среднем 3,8—4 млн. долл. в год, что не мешало ряду американских ученых (в частности, У. Даннингу и К. Уисслеру) преувеличивать ее роль в хозяйстве индейцев. Справедливой представляется точка зрения Р. Линтона, отметившего, что федеральные поставки, не решая проблемы жизнеобеспечения, усиливали зависимость коренного населения от правительства США¹⁶. Давая общую оценку развития хозяйства индейцев уполномоченный Д. Оберли писал: «... Хотя они в силу необходимости начали изменять свое хозяйство..., им было трудно войти в американскую систему земельных и хозяйственных связей»¹⁷.

Таким образом, вряд ли можно говорить о «полной экономической аккультурации» хозяйства аборигенов к концу прошлого века. Несмотря на чисто внешнее сходство с фермерским, оно по-прежнему было замкнутым, застойным, малопроизводительным. Но нельзя не заметить и новых его черт, проявлявшихся в возраставшей зависимости от капиталистической экономики и в появлении идентичных для всего индейского населения хозяйственных занятий в резервациях. Какое направление могло принять дальнейшее развитие хозяйства индейцев, какое место общественной структуре США было уготовано им самим, зависело от общих тенденций экономического развития государства и политики правящих кругов.

Бурное развитие производительных сил США на рубеже XIX и XX столетий, происходившее в условиях, «наиболее благоприятных... из всех возможных при капитализме»¹⁸, оказало серьезное воздействие на хозяйственную и социальную жизнь индейского населения, так как экономическая колонизация вплотную подошла к новым местам проживания аборигенов или к близлежащим к ним районам. В этих условиях природные ресурсы новых индейских земель в очередной раз «привлекли пристальное внимание предприимчивых белых граждан», вновь потребовавших от федерального правительства разрешения индейского вопроса¹⁹. Учитывая заинтересованность различных групп промышленной буржуазии и фермерства в освоении этих земель, Конгресс принял закон Дауза (1887 г.), закон Куртиса (1898 г.), закон Берка (1906 г.) и закон Лейси (1907 г.)²⁰. Главной целью этого законодательства, по мнению американских исследователей, было «открытие» индейских территорий для освоения их белым населением путем отмены общественной владения землей и раздела ее на индивидуальные участки — аллоты (по более 160 акров на одну индейскую семью) с последующей распродажей оставшихся земель всем желающим²¹.

Однако новую индейскую политику не следует сводить исключительно к проблеме очередного этапа захвата земель, принадлежащих коренному населению. По мнению ее инициаторов, она должна была «окончательно и навсегда упразднить индейский вопрос посредством скорейшего инкорпорирования аборигенов в систему экономических и социальных связей американской цивилизации», превратив индейское хозяйство в фермерское²². Для этого предполагалось, во-первых, максимальное сократить федеральные поставки индейским племенам, чтобы «они

¹⁶ Dunning W. Social and Economic Change among North. Ojibwa. Toronto, 1953. p. 40—47; Wissler C. Op. cit., p. 284; Linton R. Editor's Summary.— In: Acculturation. p. 118.

¹⁷ ARCIA. 1887, p. VIII, LXXXIX.

¹⁸ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 150.

¹⁹ Documents of U. S. Indian Policy, p. 190.

²⁰ Тексты законов см.: U. S. Statutes at Large. V. 24—34. Wash., 1887—1908; v. 2 p. 338; v. 26, p. 795; v. 30, p. 497; v. 34, p. 182, 1221.

²¹ Spicer E. Op. cit., p. 347; Wissler C. Op. cit., p. 288; Talbot S. Roots of Oppression: American Indian Question. N. Y., 1981, p. 110—114; Carlson L. Op. cit., p. 79—8

²² ARCIA. 1906, p. 24.

накоплен понятья, пусть даже через испытание голодом, что для нормального существования необходимо самим зарабатывать деньги». Во-вторых, закон Дауэса (ст. 5) и закон Куртиса (ст. 37) требовали в качестве условия перехода аллота в полную собственность своего владельца «ведения на нем цивилизованного (фермерского.— В. С.) хозяйства». То, что, невзирая на длительный период контактов, хозяйство индейских общин было не готово к столь быстрой интеграции в рыночную экономику, не смущало правящие круги. «Кто из них при этом утонет, а кто нет — их дело. Новая политика способствует выживанию наиболее достойных и предприимчивых... Остальные смогут обеспечить себя, найдя работу на окрестных ранчо, на строительстве и т. п.... Главное, уразумев, что лишь труд в поте лица может дать средства к существованию, они смогут в перспективе стать неотъемлемой частью нашего общества не как американские индейцы, а как американцы», — заявляли официальные лица²³. Таким образом, объективные тенденции развития американского капитализма в конце XIX в. и политика правительства способствовали установлению более тесных связей замкнутого в целом хозяйства индейских общин с рыночной экономикой США.

Сельское хозяйство

Новые условия затронули в первую очередь сельское хозяйство индейцев. Угодья, оставшиеся во владении племен, стали сокращаться: если в 1890 г. они составляли 104,3 млн. акров, то в 1913 г. лишь 72,1 млн. акров. Поскольку этому сопутствовал некоторый прирост численности индейского населения (в 1890 г. оно составляло 248,2 тыс. чел., а в 1910 г. — 265,6 тыс.)²⁴, во многих резервациях возникла сложная ситуация: общая площадь принадлежащих индейцам земель не позволяла выделить каждой семье аллот в 160 акров, гарантированный ст. 1 закона Дауэса.

Хотя по оценкам того времени для пропитания средней по размеру семьи требовался земельный участок минимум в 20 акров, индейцам часто доставались аллоты в 15 акров (апачи и пима, Аризона), 11 акров (восточные чироки, Северная Каролина), а иногда и четыре акра (пайюты, Невада). Даже официальные лица были вынуждены признать, что на таких участках невозможно создать ферму с правильным севооборотом²⁵. Более того, действуя в духе новых веяний в индейском вопросе, Индиэн оффис перестал снабжать индейские резервации сельскохозяйственным инвентарем. В донесениях агентов различных штатов звучали жалобы на нехватку самых необходимых орудий: плугов, сеялок, молотилок. В одной из резерваций Нью-Мексико индейцы были вынуждены вспахивать землю самодельным плугом с лемехом из рогов, сделанным по архаическим образцам. Обычно, вместо инвентаря, индейцы, по свидетельству вождя шошонов У-ши-ки, получали совет «сажать вместо злаковых картофель, выращивание которого не требует плугов и другой техники»²⁶.

Все эти обстоятельства в сочетании с плохими природными условиями стали, по мнению Э. Спайсера, основной причиной регресса сельского хозяйства резерваций даже в тех районах, где ранее оно было на высоком уровне²⁷. Ассортимент культур не менялся на протяжении десятилетий. Попытки нововведений, как правило, не имели успеха. Например, желание восточных чироков выращивать в своей резервации рентабельный хлопчатник, «несмотря на их трудолюбие, не смогло осуществить-

²³ Board of Indian Commissioners (далее — BIC). Ann. Report. 1901. Wash., 1901, p. 335—340; Congressional Record. 49 Congr. 2 sess., v. 18, pt 1, p. 190; ARCIA. 1891, p. 252; 1901, p. 4—5; 1905, p. 7; 1911, p. 3.

²⁴ Indian Population in 1910, p. 10; ARCIA. 1890, p. 448; 1913, p. 93.

²⁵ ARCIA. 1898, p. 218; 1906, p. 224—229; 1913, p. 8; Congressional Record. 49 Congr., 2 Sess., v. 18, pt 1, p. 224.

²⁶ ARCIA. 1906, p. 209, 217, 264; I Have Spoken. American History through the Voices of the Indians. N. Y., 1971, p. 149.

²⁷ Spicer E. Op. cit., p. 540—546.

Производство сельскохозяйственных культур индейцами США*

Обрабатываемые земли (тыс. акров); сельскохозяйственные культуры (тыс. бушелей)	1893 г.	1902 г.	1913 г.
Земли	312	361	595
Пшеница	1727,0	913,2	1343,2
Кукуруза	1373,1	954,5	1525,3
Ячмень и овес	798,2	742,8	869,3
Овощи	541,4	444,5	25,2**

* ARCIA. 1893, p. 723; 1902, p. 667; 1913, p. 116, 121.

** В млн. фунтов.

ся. Гористый характер местности, эрозия почвы и ее размыв в период дождей по сути дела исключали посадку хлопка. Возможности улучшения качества земли у индейцев отсутствовали», — сообщал агент резервации²⁸.

Стала сокращаться, несмотря на увеличение площади обрабатываемых земель, урожайность. Как явствует из табл. 1, урожай основных культур в 1902 г. сократился по сравнению с 1893 г. в среднем в 1,3 раза, и лишь к 1913 г. приблизились к уровню двадцатилетней давности.

Такой объем продукции земледелия, отмечалось в документах Индиэн оффис, «не всегда позволял индейцам обеспечивать себя продуктами питания даже при том скромном образе жизни, который они вели». Что касается прибыли, то «большинство владельцев аллотов не могло о ней думать», поскольку производить товарную продукцию они не могли²⁹.

Все это в свою очередь обуславливало падение интереса индейских общин к земледелию, нежелание развивать эту отрасль хозяйства. «Деятельность в данной области стоит на самом низком уровне, — говорилось в отчете Коллегии уполномоченных по делам индейцев за 1916 г. — И причина этого — не патологическая лень индейцев, как хотели бы представить некоторые агенты, а глубокое их разочарование... Прошлое стало для них временем процветания, поэтому они мрачно смотрят в будущее»³⁰. Можно согласиться с М. Смит, утверждавшей, что вопреки намерениям правительства земледелие не смогло стать основой хозяйства резерваций. Оно постепенно превращалось в подсобное занятие индейцев³¹.

Животноводство в резервациях развивалось аналогичным образом. Зависящее в меньшей степени, чем земледелие, от качества земли, разведение скота представляло для индейского населения «большой интерес и выгоду». Ответы индейских агентов из различных штатов свидетельствовали о «хорошем знании приемов скотоводства, правильном уходе за животными, селекционной работе по улучшению пород» (резервации Форт Холл в Айдахо; Кроу и Сайлитц в Орегоне; Стендинг Рок Роузбад и Кроу Крик в Южной Дакоте). Для жителей этих, а также ряда других резерваций разведение скота стало не только источником питания, но и средством получения доходов, ибо «индейцы могли продавать часть скота на окрестных ярмарках»³². Однако позитивные тенденции в развитии этой отрасли сельского хозяйства зачастую перечеркивались упадком и застоем земледелия. Потребность в пищевых продуктах и дополнительных денежных средствах толкала население резерваций на убой не только товарного, но и племенного скота, поэтому общий прирост поголовья в рассматриваемый период был невелик: поголовье одних видов домашнего скота увеличивалось, других — сокращалось (см. табл. 2).

²⁸ ARCIA. 1898, p. 218; 1906, p. 225.²⁹ Ibid., 1898, p. 45, 219; 1913, p. 110.³⁰ BIC. Annual Report. 1916, Wash., 1916, p. 360—362.³¹ Smith M. Op. cit., p. 34.³² ARCIA. 1906, p. 251—253.

Поголовье скота в индейских резервациях в 1890—1916 гг. (тыс. голов)*

Виды скота	1890	1896	1900	1902	1911	1913	1916
Крупный рогатый скот	170	254	253	288	269	228	276
Свиньи	87	41	50	38	16	33	н. д.
Мелкий рогатый скот	965	1294	967	945	1219	1770	1562
Лошади	443	373	343	344	195	431	267

ARCIA. 1890, p. 468; 1896, p. 551; 1900, p. 725; 1902, p. 667; 1911, p. 525; 1913, p. 227, 231; 1916, p. 178

Вследствие этого товарная продукция животноводства практически не увеличивалась с 1890 по 1916 г., общий ее объем в среднем составлял 1,5 млн. долл. (максимальный уровень в 1916 г.—2,5 млн. долл., минимальный в 1894 г.—0,8 млн. долл.)³³. Иными словами, и эта отрасль хозяйства не могла обеспечить жизнь индейских общин.

Раздел индейских земель вызвал невиданное ранее и практически незнание их жителям явление — земельную аренду. Уполномоченный Р. Льюппи нарисовал типичную для тех лет картину. «Получив во владение аллот, индейская семья зачастую была не в состоянии обработать его своими силами: не хватало инвентаря, семян... И тут появлялись различного рода мошенники, предлагавшие владельцам сдать свой участок в аренду». А поскольку формально это запрещалось ст. 5 закона Дауэса, «аренда приобрела характер тайных сделок» и «стала раем для всяческого рода подозрительных лиц и земельных спекулянтов». Хотя большинство договоров о сдаче индейских земель в аренду скрывалось, Министерству внутренних дел удалось установить, что к 1913 г. индейцы сдали только для сельскохозяйственных целей (главным образом под пастбища) 10,78 млн. акров своих владений, плата за которые составляла около 900 тыс. долл. ежегодно³⁴.

Тайная аренда оказалась настоящим бедствием для резервационного хозяйства. Помимо прямого обмана³⁵ белые арендаторы настолько хищнически использовали землю, что, по свидетельству уполномоченного Р. Валлентайна, «приводили ее в полную негодность за какие-нибудь три-четыре года». По истечении арендного договора индейцам ничего не оставалось, как продать свой аллот за бесценок. За полтора десятилетия с начала XX в. было продано почти 890 тыс. акров индейских земель в среднем по 14,4 долл. за акр, тогда как рыночная цена акра земли такого качества составляла в тот период 25—35 долл.³⁶. Неудивительно, что даже правящие круги США забили тревогу и потребовали решительного пресечения спекуляций индейскими землями, поскольку все это «на корню подрывало идею создания там фермерского хозяйства, обеспечивающего себя самостоятельно, без какой-либо федеральной помощи»³⁷. В итоге курс правительства на создание в резервациях хозяйства фермерского типа, как отметил уполномоченный К. Селлз, оказался близким к провалу³⁸.

³³ Рассчитано нами по данным ежегодных отчетов управляющих с 1890 по 1916 гг.

³⁴ ARCIA. 1906, p. 3; 1913, p. 217.

³⁵ Индейцы отоу (Оклахома) сдали земельным спекулянтам под пастбища часть земель за 6—8 центов/акр, а затем эти участки были пересданы местным скотопромышленникам за 30—35 центов/акр (ARCIA. 1898, p. 246).

³⁶ ARCIA. 1906, p. 4, 5; 1917, p. 175.

³⁷ BIC. Annual Report. 1902, p. 797.

³⁸ ARCIA. 1913, p. 110.

Упадок сельского хозяйства резерваций толкал индейцев на поиски и развитие иных хозяйственных занятий, которые могли бы улучшить их благосостояние. На рубеже столетий у многих племен возник процесс, названный американскими этнографами возрождением первичных хозяйственных отраслей — охоты, рыболовства, трапперства, собирательства. Особенность его заключалась в том, что он происходил не только у тех племен, где присваивающее хозяйство было ранее основой жизнеобеспечения, но и у тех, в жизни которых оно имело второстепенное значение задолго до переселения в резервации (юма, марикопы, пима, арапахо и др.)³⁹. К сожалению, документальные источники не позволяют проанализировать подробнее это интересное явление: официальные лица стремились преуменьшить роль традиционных занятий у индейцев, так как, по их мнению, это было рецидивом «дикости и варварства». Однако из фрагментарных упоминаний явствует, что так называемыми нецивилизованными занятиями жило от 7 до 11 тыс. чел. Продукция присваивающего хозяйства зачастую становилась важным источником питания; так было на протяжении ряда лет в резервации чиппевов Нетт Лейк (Висконсин). Индейцы мака, оузет, квиллюты (Вашингтон) иногда продавали рыбу на рынках г. Сиэтла⁴⁰. Впрочем, по-видимому «нецивилизованные» занятия в целом носили вспомогательный характер, не перерастая в ведущую отрасль хозяйства той или иной резервации.

В отличие от этих занятий традиционное индейское ремесло стало источником дохода. По свидетельству индейца виннебаго (А. Д.) продавать ремесленные изделия их заставляла нужда. В одну из голодных зим его матери случилось продать в близлежащем поселке несколько корзин. Это привело к идее о возможности такого приработка и в дальнейшем⁴¹. Ремесло оказалось серьезным подспорьем для жителей многих резерваций. К 1913 г. 14,3 тыс. индейцев занимались изготовлением и продажей ремесленных изделий: 4 тыс. плели корзины, 3,1 тыс. изготавливали украшения и вышивки, 2,9 тыс. ткали из шерсти одеяла, 2,3 тыс. занимались гончарным делом, а остальные шили мокасины, кошельки, ремни, плели кружева. Доход от продажи изделий составлял 1,1–1,3 млн. долл. ежегодно. Если бы «Индиэн оффис» взял индейские ремесла под опеку..., — писал уполномоченный Ф. Льюпп, — снабжая индейцев сырьем, контролируя продажу изделий по справедливой цене, они могли бы стать эффективным источником самообеспечения индейского населения, который вдобавок сохранял традиции его материальной культуры и этническую самобытность⁴². Но этого не произошло. Как отмечают многие исследователи, ремесла индейцев, основанные на традиционной технике и использовании местных ресурсов той или иной резервации, были малопроизводительными. К тому же общественные нормы делали их, как правило, уделом женщин, которые, разумеется, не знали реальной стоимости своего труда. Они уступали продукцию, зачастую являвшуюся подлинным произведением искусства, за бесценок, обогащая скупщиков, перепродававших ее затем втридорога⁴³. Поэтому несмотря на возрастающий спрос, доходы индейцев от традиционного ремесла не увеличивались в течение ряда лет.

К 90-м годам прошлого века относятся попытки индейцев использовать естественные ресурсы резерваций, что также свидетельствовало о приспособлении их хозяйства к новым условиям. По официальным оценкам тех лет племена северо-западных штатов владели в совокупности

³⁹ Castetter E. Op. cit., p. 77; Elkin H. Op. cit., p. 118.

⁴⁰ ARCIA. 1898, p. 301, 320; 1913, p. 131; Indian Population in 1910, p. 255.

⁴¹ См.: Radin R. An Autobiography of the Winnibago Indian. N. Y., 1963, p. 16.

⁴² ARCIA. 1902, p. 401; 1906, p. 375; 1907, p. 15; 1913, p. 131; 1917, p. 109.

⁴³ Известен факт покупки у навахов одеяла по цене 75 центов с последующей перепродажей по 30–40 долл. (ARCIA. 1916, p. 33).

Лесозаготовки у чиппегов Висконсина *

Резервация	Площадь резерваций (тыс. акров)	Из них аллотировано (%)	Продано леса (млн. куб. футов)	Годовой доход (тыс. долл.)
Рэд Клиф	14,1	100	9,4	86,7
Бэд Ривер	124,3	95,7	26,9	107,2
Лэк Корт Д'Орелль	66,1	80	3,5	7,6
Лэк Дю Фламбо	69,8	77,9	19,8	72,6

* ARCIA. 1898, p. 319—320.

7,85 млн. акров леса, где запасы древесины составляли около 40,7 млрд. куб. футов (1 куб. фут = 0,02 куб. м) ⁴⁴. Продажа дров, как уже упоминалось, была одним из первых промыслов, связывавших хозяйство резерваций с рынком. Она получила довольно широкое распространение в резервациях Шошон (Вайоминг), Коллвил (Вашингтон), Ворм Спринг (Орегон), Лич Лейк (Миннесота) и др. Как свидетельствовали агенты, этот промысел стал важным источником доходов, на которые «индейцы могли покупать продукты питания в неурожные годы». Своего пика эта торговля достигла к 1894 г., когда индейцы продали 81,2 тыс. кордов дров. Впоследствии она начала сокращаться и уменьшилась к началу XX столетия в 4 раза, поскольку ее вытеснило более доходное занятие — лесозаготовки ⁴⁵.

Интенсивное строительство в штатах северо-запада, увеличившее потребность в лесоматериалах, обратило внимание предпринимателей на новый источник древесины — леса, расположенные в индейских резервациях. Лесозаготовительные компании стали все чаще заключать с индейцами контракты на заготовку и доставку спиленных деревьев к местам сплава. Это было достаточно прибыльным занятием (см. табл. 3). Агенты из штатов Висконсин, Вайоминг, Монтана свидетельствовали: «Они довольно скоро поняли, что продавать лес выгоднее, чем заниматься каким-либо другим делом» ⁴⁶.

Все же несмотря на отдельные успехи в развитии лесозаготовительного промысла, в целом хозяйство резерваций было недостаточно подготовлено к интенсивному вовлечению в систему экономических связей американского общества. Для индейца колебания рыночных цен на древесину, система контрактации, аукционная продажа и другие атрибуты капиталистической экономики были малопонятны. Пользуясь этим, ловкие дельцы часто подкупали лиц, оценивавших древесину, вменяли индейцам в обязанность транспортировку леса после его продажи на аукционе, наживались на сортности древесины и т. п. Злоупотребления были столь значительны, что Коллегия уполномоченных по делам индейцев неоднократно обращалась к Конгрессу с просьбами о наведении порядка в этой области ⁴⁷. Начиная с 90-х гг., федеральные и местные органы власти приняли ряд мер, которые должны были регламентировать лесоразработки в резервациях. Но эти меры, проводимые в духе закона Дауэса, не столько ограничивали произвол лесозаготовительных компаний и охраняли ресурсы индейских земель, сколько стимулировали раздел лесных угодий того или иного племени на отдельные участки, обязывая компании заключать контракты только с владельцами алло-тов ⁴⁸.

Последствия развития лесозаготовительного промысла оказались решающими для индейского хозяйства северо-запада. Прежде всего, как явствует из табл. 3, в районе лесозаготовок практически исчезли племен-

⁴⁴ ARCIA. 1913, p. 194.⁴⁵ Ibid., 1894, p. 599; 1898, p. 259, 297, 322; 1902, p. 667; 1906, p. 245.⁴⁶ Ibid., 1913, p. 194.⁴⁷ BIC. Annual Report, 1916, p. 366—370.⁴⁸ U. S. Statutes at Large, v. 26, p. 1095; v. 31, p. 660; v. 35, p. 51.

ные земли. Вместо них появились индивидуальные владения, хозяева которых вели «бизнес» на свой страх и риск. Другой стороной адаптации индейского хозяйства к потребностям капиталистического рынка стало исчезновение в этих регионах земледелия. К концу XIX в. от него практически полностью отказались чиппевы, меномины, племена Орегона. Как доносили агенты соответствующих штатов, «очень трудно было убедить их (индейцев.— В. С.) заняться чем-либо, кроме лесозаготовок... Даже овощи индейцы стали покупать в окрестных лавках, ибо маленькие огороды, которые еще сохранились у части семей, давали слишком скудный урожай»⁴⁹. А между тем запасы леса резерваций, хищнически разрабатывавшиеся компаниями, были не беспредельны. С. Покейген, индеец поттоватоми, посетивший резервацию в Мичигане в начале XX в., рассказывал: «Я был потрясен: леса, под сенью которых испокон веков жили свободные предки моих друзей..., оказались сметеными циклоном цивилизации»⁵⁰. Впрочем, лесозаготовительные компании и федеральные органы не интересовало будущее индейских земель и их жителей: территории, принадлежавшие аборигенам, не включались в районы консервации природных ресурсов, намеченной кабинетом президента Т. Рузвельта. Когда в 1906 г. совет резервации чиппевов Грин Бей (Висконсин) обратился к уполномоченному Ф. Льюппу с требованием как-то упорядочить лесозаготовки, чтобы и в будущем у индейцев сохранился этот источник существования, тот ответил: «Бизнес не входит в сферу полномочий правительства; оно никогда не будет предписывать своим избирателям какие-либо правила в этой сфере»⁵¹.

Хотя в отличие от лесозаготовок индейское население не могло само принять участия в разработке полезных ископаемых, открытых в индейских землях, в этой области развивались аналогичные явления. В Огайо, Нью-Йорке и в особенности в Оклахоме, где были разведаны богатые залежи сырья: нефти, газа, угля, асфальта, началась настоящая борьба корпораций за аренду месторождений и концессии на их эксплуатацию, в которой любые средства были хороши. Прекрасным образцом такого рода сделок стало заключенное в 1898 г. соглашение на разработку нефти между компанией «Сенека Ойл» и племенем сенека резервации Аллеганы (Нью-Йорк). Подкупив вождей племени, представители компании затем на закрытом заседании легислатуры штата утвердили соглашение об аренде, согласно которому она обязалась выплатить индейцам одновременно 4 тыс. долл., а впоследствии перечислять им стоимость $\frac{1}{8}$ добытой продукции. Однако корпорация впоследствии отказалась «общаться о размерах добычи нефти, и «индейцы, подлинными ее хозяевами так и не увидели принадлежащих им денег»⁵².

К 1914 г. масштабы аренды индейских земель и добыча на них полезных ископаемых стали весьма значительными: только в Оклахоме было добыто 2,8 млн. т угля и 56,2 млн. баррелей (1 баррель = 0,16 куб. м) нефти. Всего же индейцы сдали в аренду различным корпорациям с целью разработки ресурсов 921,9 тыс. акров земель, а денежные поступления от этого достигли 2,3 млн. долл.⁵³. Причем «даже эти средства индейцы могли бы использовать с большей выгодой, если бы им не приходилось покупать на них продукты питания», поскольку местах, «где процветала аренда, сельское хозяйство окончательно пришло в упадок»⁵⁴. Таким образом, за весьма скромную компенсацию, у индейских общин оказалась изъятым почти миллион акров земель, которые при сельскохозяйственном использовании могли бы значительно лучше кормить население общин.

⁴⁹ ARCIA. 1898, p. 320.

⁵⁰ I Have Spoken, p. 152.

⁵¹ ARCIA. 1906, p. 4.

⁵² Ibid., 1898, p. 212—214.

⁵³ Ibid., 1913, p. 215; 1914, p. 236, 282.

⁵⁴ Ibid., 1906, p. 224—229.

Постепенное проникновение белого населения в соседние с индейскими землями районы, появление городов, строительство железных и шоссейных дорог, разработки месторождений ископаемых, возведение ирригационных сооружений — все это нарушало сложившуюся картину хозяйственной жизни резерваций. Однако вместе с тем развитие экономики западных районов США создавало для индейцев возможность труда по найму. В этой связи интересен документ — донесение агента резервации Пайн Ридж (Южная Дакота), который, как оказалось, был одним из первых официальных лиц, увидевших в труде по найму выход из нужды: он дал объявление в местной газете о том, «что 500 мужчин оглала-сиу нуждались в какой-либо работе»⁵⁵.

Хотя в целом индейское население не имело профессиональной квалификации, «возможность труда вне резерваций для него все же существовала, ибо строительство, землекопные работы, а также труд на ранчо и фермах не требовали особой подготовки». Этому благоприятствовало и отношение официальных лиц, считавших труд по найму «важным средством экономической эмансипации индейцев..., в ходе которой они, работая бок о бок с белыми, приобрели бы такие качества, как предприимчивость и целеустремленность». Для содействия регулированию найма индейцев на работу с 1905 г. при Индиэн оффис стало функционировать бюро по найму⁵⁶.

Было ли индейское население готово покинуть резервации и включиться в рынок труда? В начале XX в. — вряд ли. Как свидетельствовал Р. Туклэни — житель резервации апачей Форт Стилл (Оклахома), уход из резервации представлял для индейцев большую трудность. «Когда мы покидаем наши земли..., нам говорят: наш образ жизни плох, мысли никуда не годятся, знания неверны. Чтобы выбраться из этой беды, мы должны принять образ жизни белых..., но нам он мало понятен и чужд»⁵⁷. И индейцы в общем-то смотрели на уход из резервации лишь как на временную меру, порожденную нуждой, а не как на разрыв со своим племенем и кардинальную перемену жизни. «Привязанность индейцев к очагу столь сильна, — сообщал уполномоченный Ф. Льюпп, — что они всегда предпочитали самую низкооплачиваемую работу рядом с резервацией... поискам счастья где-либо на стороне». Но упадок сельского хозяйства индейцев привел к тому, что число лиц, более или менее длительное время работавших вне резерваций, постоянно увеличивалось. И работа по найму к началу войны стала заметной чертой хозяйственной жизни индейского населения: если в 1900 г. вне резерваций трудилось всего 2,9 тыс. чел., то к 1915 г. их число увеличилось почти в 9 раз, достигнув 25,3 тыс., что составляло около 30% самодостаточного индейского населения⁵⁸.

Индейцы были заняты главным образом на неквалифицированных и малооплачиваемых работах. Так, навахи, зуни и хопи рыли каналы и возводили дамбы в штатах Аризона, Колорадо и Нью-Мексико; мохавы резервации Колорадо-ривер строили железнодорожную линию компании Санта-Фе; юма и кокопоу нанимались матросами на пароходы, другие устранились пастухами на ранчо, рассыльными в магазины и т. п.⁵⁹. 13-я перепись населения США 1910 г., впервые включившая особый раздел, посвященный индейскому населению (к сожалению, излишне схематизированный), дает представление о труде индейского населения вне резерваций (см. табл. 4)

⁵⁵ ARCIA. 1906, p. 12, 172—173; 1911, p. 220.

⁵⁶ Congressional Record. 49 Congr., 2 sess., v. 18, pt 1, p. 190; ARCIA, 1906, p. 11; 1907, p. 13—15; 1911, p. 6—7.

⁵⁷ I Have Spoken, p. 157.

⁵⁸ ARCIA. 1906, p. 7; 1917, p. 130.

⁵⁹ ARCIA. 1906, p. 14—16; 1907, p. 12; 1911, p. 13; Castetter E. Op. cit., p. 83.

**Распределение работающих по найму индейцев
по основным секторам экономики ***

Отрасль хозяйства	В ней занято (чел.)	Процент от трудоспособного индейского населения
Добыча ископаемых	563	0,8
Промышленное производство **	11 960	16,2
Транспорт	1 930	2,6
Торговля	1 385	1,9
Сфера обслуживания (домашняя прислуга)	4 609	6,2
Прочие непроеизводственные отрасли ***	1 399	3,2
Всего	21 846	30,9

* Indian population in 1910, p. 250—256.

** Имеется в виду занятые в нетрадиционных ремеслах — кузнецы, плотники, шорники, портные и т. п.

*** Церковная прислуга, фельдшеры, фотографы и т. п.

Фактически свыше 20 тыс. индейцев, занятых длительное время в различных отраслях хозяйства, стали, по мнению официальных лиц, «постоянным экономическим фактором в районе бывшей подвижной границы»⁶⁰.

Не следует, однако, думать, что вовлечение индейского населения в сферу наемного труда могло полностью решить проблему его жизнеобеспечения. Прежде всего, вопреки растущему спросу на рабочую силу в осваиваемых западных штатах индейцы часто не могли получить работу, ибо здесь «разделяли бытовавшую в районе бывшей индейской границы точку зрения о нежелательности соседства краснокожих, мешавших прогрессу американской нации»⁶¹. Если же индейцам удавалось устроиться куда-либо, они подвергались жестокой эксплуатации. Рабочий день их составлял официально 10—11 часов, но под предлогом того, что коренные жители якобы не желали ритмично трудиться в течение дня и не выполняли задания полностью, «широко практиковалось произвольное увеличение времени работы». Оплата была мизерной: землекопы на строительстве получали 1,5 долл. в день, пастухи — 1 долл.; за стрижку одной овцы платили 6—7 центов. В целом среднегодовая зарплата индейца, трудившегося, как правило, сезонно и временно, составляла около 91 долл.⁶². А так как лишь около 1/3 индейского населения, работавшего по найму, владело в достаточной степени английским языком, имел место и прямой обман при выплате заработанных денег, чем особенно «прославилась» железнодорожная компания Санта-Фе⁶³. Впрочем, индейцам, попавшим в непривычную обстановку, не удавалось, как правило, сохранить свою нищенскую зарплату. «Они были плохими счетоводами, полагая, что 1 долл. в кармане лучше трех в банке, и тратили зарплату на покупку бесполезных вещей», — рассказывал один из очевидцев работы и жизни индейцев омаха на рытье ирригационного канала в Небраске⁶⁴. Наконец, экономический кризис 1913 г., затронувший более всего штаты запада и тихоокеанского побережья, лишил работы более 3 тыс. индейцев⁶⁵.

Таким образом, экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. и политика правящих кругов объективно способствовали нарушению обособленности хозяйства индейцев США, постепенно вовлекая резервации и их обитателей в общеамериканскую систему экономиче-

⁶⁰ ARCIA. 1906, p. 16.

⁶¹ Congressional Record. 69 Congr., 3 sess., v. 49, pt 4, p. 3908.

⁶² ARCIA. 1902, p. 10; 1907, p. 7; 1917, p. 130.

⁶³ Indian Population in 1910, p. 212; BIC. Annual report, 1916, p. 358.

⁶⁴ ARCIA. 1917, p. 358.

⁶⁵ Ibid., 1914, p. 236, 287, 292; 1917, p. 3—5, 130.

ских связей. Вместе с тем адаптация резервационного хозяйства к изменившимся условиям усугубила упадок основной отрасли экономики — сельского хозяйства и, лишив индейское население возможности жизнеобеспечения за счет своей земельной базы, обусловила превращение резерваций в источник дешевых природных и людских ресурсов, прочно закрепив за аборигенами нижнюю ступень в социальной иерархии США.

**В. С. Шинкаренко, В. В. Наумкин,
Г. Л. Хить, А. А. Зубов**

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА о. СОКОТРА

В соответствии с соглашением, подписанным между Академией Наук СССР и Йеменским центром культурных исследований Народной Демократической Республики Йемен в 1983 г. приступила к работе Советско-Йеменская комплексная научная экспедиция. Один из отрядов экспедиции в составе В. В. Наумкина (начальник отряда, Ин-т востоковедения АН СССР), В. С. Шинкаренко (Ин-т общей патологии АМН СССР) и двух стажеров из НДРИ в феврале — апреле 1983 г. работал на о. Сокотра. Функции были распределены следующим образом: В. В. Наумкин — организационная работа, исторические, этнографические и лингвистические исследования, В. С. Шинкаренко — антропологические и медицинские исследования, антрополого-этнографические фото- и киносъемка, оказание врачебной помощи местному населению.

Перед отрядом на ближайшие пять лет поставлен ряд важных задач, связанных с выяснением генезиса населения Южного Йемена, составлением этнографического и антропологического атласов районов Хадрамаута, Махры и Сокотры (первый из них представляет одну из главных областей складывания южноаравийской цивилизации, два других — области расселения отличающихся от большей части населения Йемена этносов), описанием малоизученных бесписьменных языков махри и сокотри, а также разговорных диалектов Хадрамаута и т. п. Таким образом, все собранные на Сокотре материалы будут в дальнейшем сопоставлены с аналогичными материалами по Махре и Хадрамауту, а антропологические данные — также и с материалами обследования, которое намечено провести в столице НДРИ — г. Адене.

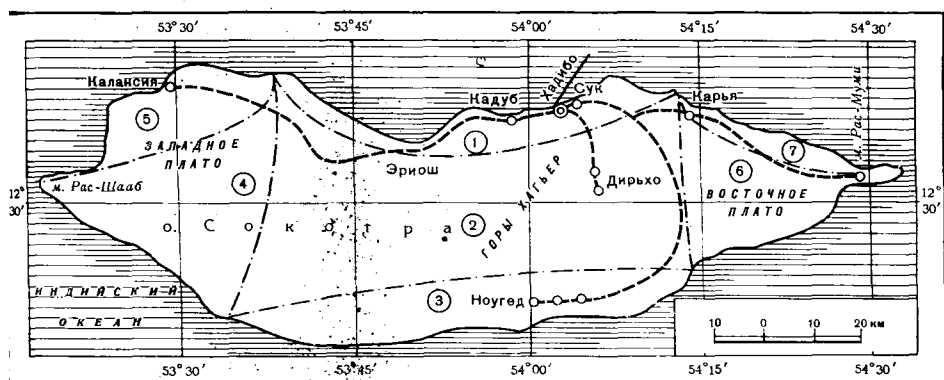


Рис. 1. Остров Сокотра. Штриховой линией показан маршрут отряда, пунктир-штриховой — условные границы районов. Районы: 1 — Северное побережье; 2 — Центральный район (горный массив Хагер); 3 — Южное побережье (район Ноугед); 4 — Западный район (горы); 5 — Западный район (побережье); 6 — Восточный район (горы); 7 — Восточный район (побережье)



Рис. 2. Представитель племени ди'рьхо (горный массив Хагьер в центральной части Сокотры) сбивает масло из козьего молока в бурдюке, изготовленном из шкуры козы. Веревка, на которой подвешен бурдюк, сделана из луба пальмы

В ходе подготовки к экспедиции на основе имеющихся предварительных данных были приняты попытки выделить на острове региональные общности. Эти попытки базировались на двух типах зафиксированных ранее различий: культурно-хозяйственном и культурно-языковом.

Основное занятие жителей горных районов и внутренних равнинных районов острова — разведение мелкого рогатого скота (преимущественно коз) и в небольшом количестве — коров. Жители прибрежных районов — преимущественно рыбаки. И скотоводы, и рыбаки также выращивают пальмы.

Границы между обоими хозяйственными типами частично совпадают с границами культурно-языковых групп. Хотя сокотрийцы говорят на одном языке, между диалектом горцев и диалектом жителей прибрежных районов существуют значительные фонетические, лексические и другие различия. Кроме того, в сокотрийском языке можно выделить еще систему говоров, причем соответствующие изоглоссы пересекают остров в меридиальном направлении.

При определении районов обследования были также учтены некоторые данные этнической истории острова, хотя она в целом пока еще остается неясной. На основе всех этих данных было выделено семь районов (см. карту-схему на рис. 1): 1) Северное побережье; 2) Центральный район (горы Хагьер); 3) Южное побережье (район Ноугед); 4) Западный район (горы); 5) Западный район (побережье); 6) Восточный район (горы); 7) Восточный район (побережье).

Границы районов на схеме проведены условно и отмечают преимущественную локализацию выделенных региональных общностей на основе вышеуказанных различий.

При этом учитывалось, что большая часть населения принадлежит к племенным группам, за каждой из которых исторически закрепился определенный район расселения. Для обследования отбирались наиболее репрезентативные группы населения, например, в центральном районе — одно из крупнейших «чисто» скотоводческих племен — *ди'рьхо*, долгое время живущее в условиях изоляции и представляющее эндогамную группу (рис. 2); на Северном побережье — потомки как коренных жителей Сокотры, так и потомки бывших африканских рабов, попадавших сюда в основном в новое и новейшее время, а также выходцев из Махры (исторически связанный с Сокотрой район центральной части южного побережья Аравии; рис. 3) и т. п.

При проведении антропологических исследований на Сокотре авторы стремились исходить из принципов комплексного подхода, учитывая влияние на облик населения различных факторов, которые определялись в ходе этнографического обследования (характер хозяйственной деятельности, жилищные условия, характер питания и т. п.).

Пока остается неизвестным, когда и кем был впервые заселен остров. Можно предполагать, что первая волна шла из Южной Аравии и с побережья Персидского залива. Преобладала точка зрения о том, что первые на острове появились те народы, которые создали древнеюжноаравийские цивилизации. Во всяком случае, в эпоху существования древ-

них цивилизаций остров был уже обитаем. Остается открытым вопрос о вероятности более древнего заселения острова, о его возможных связях с дравидийскими и другими древними народами Востока. Известно, что на острове высаживались греки, которые, как полагают, и распространили здесь христианство. В средние века на остров неоднократно переселялись жители Махры. В XVI в. на Сокотре размещался португальский гарнизон. Более древняя часть населения острова, как принято полагать, с приходом сюда новых поселенцев уходила в глубь острова, в горы. Однако в принципе возможно, что освоение горных районов произошло под влиянием других факторов.

Сокотрийские племена и роды в основном эндогамны, среди населения преобладают браки с кровными родственниками: встречаются как ортокузенные, так и, реже, кросскузенные браки, в подавляющем большинстве патрилинейные. В отдельных местах исследователи обнаружили роды, которые делятся на две крупные экзогамные группы.

Если в этническом, культурном и лингвистическом отношении остров хотя еще не полностью, но все же изучен¹, то данных об антропологических типах племени, населяющих его, до настоящего времени не было. При этом нельзя сказать, что Сокотра была обойдена вниманием исследователей-естественников. Растительный и животный мир острова изучен довольно подробно. Достаточно упомянуть фундаментальный труд «Естественная история Сокотры и Абд-Эль-Кури», созданный коллективом английских ученых под руководством Х. Форбса². Однако в предисловии к этой монографии Форбс вынужден констатировать, что «вследствие определенных религиозных убеждений сокотрийцев ... было невозможно добиться позволения сфотографировать их или провести измерения показателей их физического развития». Попытки нескольких последующих экспедиций (последняя из которых была предпринята англичанами³ в 1967 г.) получить необходимый антропологический материал наталкивались на прочную стену древнего табуирования. Единственным исключением можно считать экспедицию, организованную в 1956 г. Оксфордским университетом⁴, которой ценой больших усилий удалось получить некоторое количество проб крови сокотрийцев для последующего иммуногенетического анализа (выполненного в Лондоне), результаты которого были опубликованы десять лет спустя⁵. Однако другого антропологического материала и этой экспедицией собрано не было. Не удавалось также получить и систематических фотографий, которые позволяли бы оценить антропологический тип (или типы) корен-



Рис. 3. Сокотрийка — дочь выходцев из Махры. Северное побережье острова

¹ Наимкин В. В., Порхомовский В. Я. Очерки по этнолингвистике Сокотры. М.: Наука, 1981, с. 14—63; Johnstone T. M. Folklore and Folk Literature in Oman and Socotra.— In: Arabian Studies/Eds Serjeant R. B., Bidwell R. L. L., 1974, v. 1, p. 7—16.

² The Natural History of Sokotra and Abd-el-Kuri/Ed. Forbs H. O. L., 1903, p. XLI, 447—463.

³ Doe D. B. Socotra. An Archeological Reconnaissance in 1967/Eds. Field H., Laird E. M. Miami, 1970.

⁴ Botting O. Island of the Dragon's Blood. L., Stoughton, 1958, p. 89—116.

⁵ Lister R. W., Orr N. W. M., Botting D., Ikin E. W., Mourant A. E., Lehmann H. The Blood Groups and Haemoglobin of the Bedouin of Socotra.— Man, 1966, v. 1, p. 82—86.

Основные признаки дерматоглифики у сокотрийцев и сравнительных групп (мужчины) *

Группа	n	Dl ₁₀	I _c	t	H _y	ДМТ	Th/I
1. Сокотра-1	75	14,21	7,31	53,3	32,0	30,0	4,7
2. Сокотра-2	37	13,71	7,93	52,7	45,9	27,0	8,1
3. Сокотра-3	40	13,64	8,06	42,5	38,8	38,8	10,0
4. Сокотра суммарно	152	13,94	7,87	50,3	37,2	31,6	6,9
5. Каткари	187	13,88	7,79	57,7	37,2	36,4	11,2
6. Персы	196	14,16	8,85	53,6	35,5	39,0	13,0
7. Евреи бухарские	101	14,75	8,44	48,5	39,6	26,7	5,9
8. Арабы среднеазиатские	204	12,97	8,66	68,1	29,6	33,4	10,3
9. Эфиопы	65	13,43	7,74	73,1	18,5	13,8	2,3

* Источники: 5—Хитъ Г. Л., Долинска Н. А., Имамулов О. Кожные узоры кисти у некоторых групп населения Индии. — В кн.: Новые материалы к антропологии Западной Индии. М.: Наука, 1982: 6—8; Хитъ Г. Л. Дерматоглифика народов СССР. М.: Наука, 1983 и впервые вводимые данные; 9—Гладкова Т. Д. Материалы по дерматоглифике эфиопов. — Вопросы антропологии, 1983, в. 71.

ного населения острова. В свете вышесказанного понятно, что в литературе сколько-нибудь определенных сведений по рассматриваемой проблеме нет. Можно было лишь предполагать существование неких антропологических параллелей между коренным населением Сокотры и жителями некоторых районов Южной Аравии, с которыми остров связан историческими, политическими, экономическими и культурно-языковыми связями. Однако эти районы, к которым относятся Дофар и самая восточная провинция Народно-Демократической Республики Йемен — Махра также мало изучены. Указания на антропологический тип племен, населявших некогда Южную Аравию и, возможно, мигрировавших на Сокотру, как людей с более темным, чем у бедуинов, цветом кожи и меньшего, чем они, роста являются косвенными, основанными лишь на историко-лингвистическом анализе источников⁶.

Во время полевого сезона 1983 г. отрядом, работавшим на о. Сокотра, были впервые выполнены: 1) антропологическое (краниометрическое, одонтологическое и дерматоглифическое) обследование населения; 2) систематизированное фотографирование и кинорегистрация разных антропологических типов населения; 3) дифференцированные исследования групп крови системы АВО и наличия резус-фактора в соответствии с разными этнокультурными зонами (районами) острова; 4) исследование ряда важнейших физиологических показателей у жителей острова: уровня артериального давления крови, частоты сердечных сокращений, температуры тела, уровня гемоглобина в крови.

В данной статье приводятся результаты первичного изучения дерматоглифических и одонтологических коллекций⁷. Все сделанные выводы, разумеется, имеют предварительный характер.

Результаты сравнительного анализа антропометрических данных, а также сведения о группах крови и физиологических показателях будут публиковаться по мере их обработки.

Данные дерматоглифики

Первично обработаны коллекции отпечатков пальцев и ладоней мужчин, разбитых на три территориальные группы: северного побережья (75 человек), горной центральной части (37 человек) и остальной прибрежной полосы (40 человек), обозначенные соответственно Сокотра 1, 2 и 3 (табл. 1). Материал описан по стандартной методике Г. Камминса и Ч. Мидло, для классификации осевых ладонных трирадиусов применялась шкала А. Шармы⁸.

⁶ Грязневич П. А. Развитие исторического сознания арабов (VI—VIII вв.) — В кн.: Очерки истории арабской культуры V—XV вв. М.: Наука, 1982, с. 75—155.

⁷ Дерматоглифические данные обработаны Г. Л. Хитъ, одонтологические — А. А. Зубовым.

⁸ Cummins H., Midlo Ch. Finger Prints, Palms and Soles. N. Y., 1961, p. 56—119; Sharma A. Comparative Methodology in Dermatoglyphics. Delhi, 1964, p. 1—23.

Обобщенные дерматоглифические расстояния между сокотрийцами и сравнительными группами

Группа	о. Сокотра			
	1	2	3	Суммарно
Каткари	9,0	12,2	10,4	5,8*
Персы	13,2	18,7	13,2	12,5**
Евреи	13,8	12,2	14,8	10,9
Арабы	19,2	24,9	23,5	20,4***
Эфиопы	25,2	30,5	36,5	29,5****
Европеоиды Передней Азии	16,4	17,2	22,3	16,0
Негроиды Африки	26,7	35,1	30,5	29,8
Австралоиды Индии	12,3	22,6	20,9	15,7

Примечание. Оценка величин расстояний для этнического уровня. * — очень малые, ** — малые, *** — большие, **** — очень большие. Все расстояния значимы по *t*-критерию Стьюдента.

Расово-дерматоглифическая характеристика сокотрийцев в целом

Суммарная группа островитян Сокотры отличается чрезвычайным своеобразием, сочетая повышенный дельтовый индекс, малый индекс Камминса, очень малый процент низкого осевого ладонного трирадиуса с очень большим содержанием узоров на гипотенаре и добавочных межпальцевых трирадиусов. Из-за этих особенностей идентифицировать сокотрийцев невозможно, так как ни одна из крупных расовых групп человечества не имеет подобного сочетания признаков. При более детальном анализе выявляется следующее.

Общеизвестно, что существует заметная трансгрессия в распределении частот признаков у разных расовых стволов, поэтому важное значение приобретают не столько величины признаков в группах спорного происхождения, сколько сдвиг в определенном направлении, позволяющий судить о преобладании каких-либо расовых свойств. При этом, разумеется, для оценки величины признака необходимо учитывать конкретную историю формирования группы. Так, повышенный дельтовый индекс (DI_{10}), судя по историческим данным, у сокотрийцев не может быть следствием проявления монголоидной примеси. В то же время аналогичные величины индекса свойственны южным европеоидам, а такие же и еще более высокие значения составляют характерную черту австралоидных популяций Индии⁹. По низкой величине второго важнейшего диагностического признака — индекса Камминса (I_c) — сокотрийцы совершенно аналогичны индо-австралоидам, но резко различаются с южными европеоидами, которые имеют очень высокие значения этого индекса. Проксимальный осевой трирадиус ладони (t) у сокотрийцев редок, что сближает их с такими народами, как абазины, черкесы, грузины-мегрелы, белуджи, персы и др.¹⁰. По высокой узорности гипотенарной подушечки (Hu) островитяне Сокотры сближаются как с южными европеоидами, так и с отдельными популяциями австралоидов Индии, которым все же свойственны более низкие частоты. По суммарному проценту добавочных межпальцевых трирадиусов (DMT) сокотрийцы более сходны с индо-австралоидами, в то время как у южных европеоидов признак развит гораздо слабее. Небольшая узорность тенарной подушечки (Th/I) также сближает сокотрийцев с австралоидами Индии; впрочем, внутрирасовая межгрупповая изменчивость этого признака

⁹ Суждения о дерматоглифической характеристике крупных расовых подразделений почерпнуты из подготовленной к печати Г. Л. Хить и Н. А. Долиновой сводки всех различных данных.

¹⁰ Хить Г. Л. Дерматоглифика народов СССР. М.: Наука, 1983, с. 99, 128.

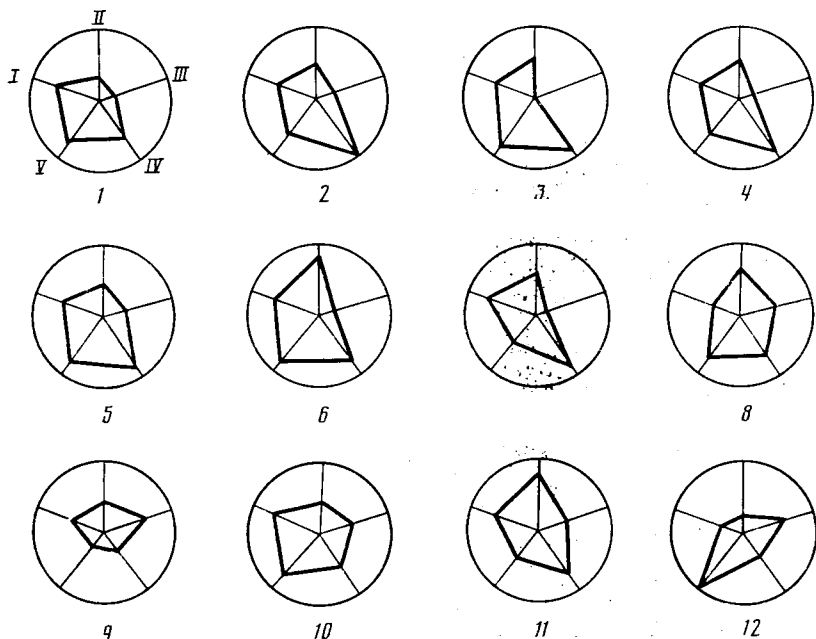


Рис. 4. Дерматоглифические полигоны мужских групп. Обозначение радиусов: I — DI_{10} , II — I_c , III — t , IV — H_y , V — ДМТ. Центр полигона соответствует минимальному, конец радиуса — максимальному лимиту евразийской шкалы популяционных средних. 1 — Сокотра-1, 2 — Сокотра-2, 3 — Сокотра-3, 4 — Сокотра суммарно, 5 — каткари, 6 — персы, 7 — среднеазиатские евреи, 8 — арабы, 9 — эфиопы, 10 — австраалоиды Индии, 11 — европеоиды Передней Азии, 12 — негроиды Африки

настолько велика, что он лишается той высокой диагностической ценности, которой обладают остальные перечисленные признаки⁴¹.

Таким образом, по отдельным чертам основного комплекса признаков кожного рельефа сокотрийцы обнаруживают сходство как с австралоидами Индии, так и с южными европеоидами переднеазиатского происхождения. К этому же выводу приходим при анализе величины обобщенного дерматоглифического расстояния по пяти ключевым признакам (табл. 2). Сокотрийцы в целом оказываются практически одинаково близкими к индо-австралоидам (15,7) и переднеазиатским европеоидам (16,0), будучи в то же время вдвое удалены от негроидов Африки (29,8). Аналогичная картина возникает при рассмотрении полигонов, дающих представление о комбинации признаков (рис. 4). Ясно, что характерный для суммарной группы сокотрийцев комплекс мог возникнуть при взаимодействии индо-австралоидного и южноевропеоидного компонентов, из которых, если судить по двум важнейшим диагностическим признакам (обоим индексам), мог преобладать первый. Видимые следы влияния негроидов Африки здесь обнаружить не удастся.

Это наблюдение подтверждается также при сопоставлении сокотрийцев с отдельными группами населения Индии и Передней Азии. Максимальная статистическая близость связывает сокотрийцев с каткари — популяцией с западного побережья Индии, имеющей в своем составе преобладающую долю австралоидного компонента⁴². Все особенности, отличающие сокотрийцев от каткари и австралоидов Индии в целом, логически увязываются с проявлением у сокотрийцев южноевропеоидный черт (понижение частоты проксимального трирадиуса ладони и числа добавочных межпальцевых трирадиусов, повышение индекса Каммин-

⁴¹ Хить Г. Л. Указ. раб., с. 20—23; Хить Г. Л., Кейта Б. Дерматоглифическая дивергенция основных расовых ветвей человечества. — Расы и народы, 1981, в. II, с. 29—31.

⁴² Хить Г. Л., Долинова Н. А., Исмагулов О. Указ. раб., с. 175—204; Абдушелишвили М. Г. Антропологический состав населения Северо-Западной Индии. — В кн.: Новые материалы к антропологии Западной Индии. М.: Наука, 1982, с. 47—126.

са). Примечательно, что наиболее близкими к сокотрийцам, после каткари, оказываются европеоидные группы переднеазиатской расы, в максимальной степени сохранившие характерный расовый тип (евреи и персы-иранцы), в то время как арабы отличаются от сокотрийцев чрезвычайно резко. Максимально далеки от сокотрийцев эфиопы¹³, и этот факт, подтверждаемый формой полигонов, делает невозможным предположение о сходных путях формирования обеих групп.

Внутригрупповой дерматоглифический анализ сокотрийцев

Поскольку численность выборок невелика, заключения по необходимости носят предварительный характер.

В распределении признаков и их сочетаний можно отметить определенные закономерности: с севера на юг уменьшаются дельтовый индекс и частота проксимального трирадиуса ладони, увеличиваются индекс Камминса и процент узоров на тенаре /I межпальцевой подушечке. Все эти изменения, кроме последнего признака, говорят о постепенном уменьшении индо-австралоидных черт и возрастании доли южноевропеоидного компонента. В целом это относится и к узорности гипотенара, которая минимальна на севере, а к югу увеличивается, достигая максимума в горной группе.

Интересно, что специфическая особенность тропического расового ствола — высокое содержание добавочных межпальцевых трирадиусов — сильнее всего развита на южном побережье острова. Если этот факт подтвердится на большем материале, он может явиться доказательством примеси у сокотрийцев африканских негроидов. Правда, среди отдельных групп южных европеоидов также встречаются высокие величины признака.

Судя по полигонам, все три группы сокотрийцев представляют относительно единый тип, который постепенно модифицируется с севера на юг, в соответствии с увеличением доли южноевропеоидного компонента. Примечательно, что горцы составляют как бы переход между остальными двумя группами.

Статистически, по величине обобщенного расстояния, наиболее резки различия между выборками побережья (16,1), которые и оцениваются как большие для уровня территориальных групп. Горцы максимально близки к северным сокотрийцам (12,0 — величина, относящаяся к разряду средних различий) и сильнее отличаются от южных (14,0, что соответствует почти большой разнице). Среднее внутригрупповое расстояние составляет 14,0 и свидетельствует о повышенной неоднородности сокотрийцев. Для масштаба укажем, что примерно такая же дифференциация характерна в целом для населения Кавказа, который выделяется из всех регионов СССР увеличенной гетерогенностью локальных групп (13,7)¹⁴.

Судя по величине обобщенного дерматоглифического расстояния, на севере острова индо-австралоидный компонент выражен максимально по сравнению с остальными сокотрийцами: северяне очень близки к каткари (9,0) и австралоидам Индии в целом (12,3), менее сходны с персами, евреями (13—14) и европеоидами Передней Азии (16,4). Самые резкие различия отделяют северян от эфиопов (25,2) и негроидов Африки (26,7). В целом же выборка северных сокотрийцев представляет наиболее смешанную их часть, так как отличается от всех трех крупных расовых групп в меньшей степени, чем выборка горных и южных сокотрийцев (см. табл. 2).

Горцы одинаково близки к евреям и каткари (12,2), но все же теснее связаны с европеоидами Передней Азии (17,2), чем с австралоидами

¹³ Гладкова Т. Д. Указ. раб., с. 114—119.

¹⁴ Оценку величин обобщенных расстояний на разных таксономических уровнях см. Хитъ Г. Л. Указ. раб., с. 26—34.

Индию (22,6). Наибольшее расстояние отделяет их от эфиопов (30,5) и негроидов Африки (35,1).

Сокотрийцы береговой полосы юга, запада и востока статистически наиболее сходны с каткари (10,4), затем с персами (13,2) и евреями (14,8), максимально отличаются от эфиопов (36,5). К австралоидам Индии эта группа немного ближе, чем к переднеазиатским европеоидам (20,9 и 22,3 соответственно), наиболее далека от негроидов Африки (30,5).

Таким образом, на основе дерматоглифического анализа можно сделать следующие выводы.

1. Население о. Сокотра в целом представляет собой крайне своеобразную группу, сочетающую черты индо-австралоидного и южноевропейского переднеазиатского комплексов. Отчетливые следы примеси негроидов Африки в суммарной группе сокотрийцев не обнаружены, как и сходство с арабами и эфиопами.

2. Три изученные локальные группы сокотрийцев сходны между собой по типу сочетаний признаков, что может служить указанием на отнесенное единство их предков. В то же время статистическая дивергенция этих групп по сумме признаков превышает средний уровень свидетельствует о достигнутой к настоящему времени заметной гетерогенности популяций.

3. Эта гетерогенность может быть объяснена различной долей двух основных компонентов, вошедших в состав сокотрийцев. На севере преобладает индо-австралоидный компонент, и, кроме того, северяне являются наиболее смешанной из всех сокотрийских групп. У населения остальной прибрежной полосы индо-австралоидные и южноевропейские черты примерно сбалансированы и, возможно, проявляется слабая негроидная примесь. У горцев явно преобладает южноевропейский компонент. Примечательно, что все три выборки максимально отличаются от негроидов Африки в целом, а на групповом уровне — от эфиопов. Следовательно, негроидное влияние (если оно имело место в процессе формирования сокотрийцев) было наиболее слабым.

Данные одонтологии

Одонтологический материал, полученный на о. Сокотра, представляет значительный интерес для антропологии ввиду почти полного отсутствия данных по населению арабских стран и своеобразия процессов формирования антропологического типа населения острова.

Поскольку между населением горных районов и побережья существует значительная разница, выборки, взятые в горах и на побережье, рассматриваются отдельно. Для сравнения приведены полученные ранее одонтологические данные об этнических группах Индии¹⁵, а также об эфиопах¹⁶. Частоты маркирующих одонтологических признаков приводятся в табл. 3.

При рассмотрении таблиц обращает на себя внимание весьма высокий процент диастем, особенно у населения побережья. Аналогичных значений в сравнительном материале не встречается, что позволяет говорить об этой особенности как о возможном «местном» признаке. Процент краудинга (скупенного расположения зубов в области латерального верхнего резца), напротив, низок, как среди населения гор, так и побережья. По этому признаку население Сокотры в целом более всего сближается (в пределах рассматриваемых материалов) с аборигенными группами Индии (санталы).

Процент лопатообразных резцов («восточный» маркирующий признак) у населения побережья Сокотры невысок (среднее для европеоид-

¹⁵ *Зубов А. А., Гашимова У. Ф.* Одонтологическая характеристика населения Западной Индии. — В кн.: Новые материалы к антропологии Западной Индии, с. 157—174.

¹⁶ Материалы по Эфиопии любезно предоставлены Ю. К. Дорониным и обработаны А. А. Зубовым. Данные публикуются впервые.

дов и негроидов Африки значение), а у горцев повышен: такие цифры отмечены в Эфиопии, в некоторых районах Индии и в ряде метисных групп Средней Азии.

У населения горных районов Сокотры отмечена черта, которая может наряду с весьма высоким процентом диастем рассматриваться как локальная особенность, а именно — чрезвычайно высокий процент редуцированных форм латерального верхнего резца.

У разных авторов неоднократно отмечалось, что данный признак очень часто является следствием изоляции.

Очень высок в обеих исследованных на Сокотре группах процент бугорка Карабелли (особенно на побережье). Столь высокие значения среди неевропеоидных расовых групп отмечены пока только в Эфиопии. Кстати, именно для населения Эфиопии характерно необычное сочетание чрезвычайно высокого процента бугорка Карабелли с повышенными концентрациями «восточных» маркеров — лопатообразных резцов, дистального гребня тригониды, коленчатой складки метакониды, шестого бугорка.

По строению нижних моляров группы горных районов и побережья на Сокотре резко различаются. Горцы характеризуются четко выраженной тенденцией к грацилизации первого и второго нижних моляров, сближаясь по этому признаку с населением Индии, а также вообще с разного рода грацильными одонтологическими комплексами, широко распространенными среди европеоидной расы. У населения побережья, напротив, отмечается низкий уровень грацилизации нижних моляров и повышенный процент шестого бугорка на первом нижнем моляре. У горцев наблюдается довольно высокий процент дистального гребня тригониды при сравнительно незначительной концентрации коленчатой складки метакониды. Это сочетание, вместе с упомянутой тенденцией к грацилизации, очень характерно для так называемого южного грацильного типа, распространенного на севере и северо-западе Индии, а также — на Кавказе (данных по арабским странам и Ирану нет). Очень интересной особенностью изученных групп Сокотры является высокий (по мировому масштабу) процент внутреннего среднего дополнительного бугорка, особенно на побережье. Столь высокие значения обычно встречаются лишь у представителей негроидной расы (негры Мали, США, эфиопы). В горных районах Сокотры повышение процента этого признака не столь ярко выражено: его частота здесь сравнима с величинами, наблюдаемыми в некоторых группах Индии (точнее, занимает промежуточное положение между последними и эфиопской выборкой).*

По одонтоглифическому признаку — типу борозды 2 метакониды — обе группы укладываются в общем в пределы упомянутого южного грацильного типа, к которому в данном случае близки и эфиопы.

По «восточному» маркеру — варианту «3» борозды 1 ра — группа побережья сближается с эфиопами и индийскими группами. Горная выборка имеет пониженную частоту этого признака, сближаясь с более «чистыми» вариантами европеоидной расы (Кавказ, северные европеоиды).

Подводя итоги, можно сказать, что в одонтологическом отношении обе изученные группы о. Сокотра относятся к кругу групп «западного одонтологического ствола», включающего представителей европеоидов и негроидов Африки. При этом выборка населения горных районов наиболее близка к восточной ветви так называемого южного грацильного европеоидного типа, представленной в северной и северо-западной Индии. Правда, наряду с данным комплексом присутствуют черты, сближающие выборку с какими-то африканскими вариантами и, по-видимому, занесенные с побережья. Выборка населения побережья острова характеризуется одонтологическим комплексом, весьма близким к эфиопскому, обладая всем известным «набором» восточноафриканских особенностей. Таким образом, обе выборки разнородны и отражают сложный характер формирования антропологического типа населения о. Сокотра. Нужно сказать, что приведенные выводы базируются пока на скромном материале.

Таблица 3

Частота некоторых одонтологических признаков у сокотрийцев и в группах, взятых для сравнения (♂ и ♀ суммарно)

Признаки	Сокотрийцы гор		Сокотрийцы побережья		Эфиопы		Парсы Индии		Брахманы читпаван		Каткарн		Санталы	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Диастема	12	25,0	31	48,0	54	9,3	112	3,6	116	5,2	82	7,5	100	0,0
Краудинг	12	8,3	31	3,2	54	14,8	111	26,1	119	10,1	78	16,7	100	9,0
Лопатообразные резцы (2+3)	12	16,7	31	9,6	54	16,7	112	9,8	115	10,1	78	11,5	98	37,7
Редукция I (2+3)	12	8,3	31	0,0	54	0,0	112	0,0	116	3,4	74	1,4	100	1,0
Бугорок Карабелли (2—5)	11	54,5	70	60,3	54	52,0	102	35,1	114	18,7	62	12,9	81	9,9
Редукция гипоконуса на M ² (3 и 3+)	7	100,0	12	50,0	54	38,9	104	38,5	103	48,4	73	53,4	81	54,3
6-бугорковый M ₁	8	0,0	24	12,5	51	7,5	113	8,0	123	7,2	77	13,0	86	14,0
4-бугорковый M ₁	8	37,5	24	4,2	54	3,7	113	12,4	123	17,9	77	7,8	86	3,5
4-бугорковый M ₂	7	85,7	14	64,0	55	54,5	106	81,2	105	87,4	65	76,1	83	60,2
Дистальный гребень	8	25,0	25	8,0	54	13,0	110	4,5	113	7,8	59	14,3	84	19,0
Коленчатая складка	9	11,1	23	21,7	45	24,4	107	23,4	113	20,5	52	21,2	74	27,0
Г. а. т. i.	11	18,2	27	33,3	54	24,1	115	15,7	122	7,3	73	12,3	86	9,3
Борозда 2 med (II)	5	20,0	19	26,3	48	16,7	102	13,7	116	15,9	68	7,4	67	9,0
Борозда 1 pa (3)	8	12,5	18	27,8	35	28,6	102	21,6	113	30,4	59	25,5	57	43,9

Чрезвычайно интересно было бы продолжить исследование и получить новый материал по этой весьма интересной этнической группе. Это помогло бы прояснить многие интересные антропологические и исторические проблемы, связанные с формированием физического типа народов Арабского Востока, Индии, Восточной Африки, а также с миграциями и взаимодействием расовых групп, проникавших на острова Индийского океана в разное время, с разных смежных территорий. Можно думать, что одним из важных моментов такого исследования в плане расоведения была бы попытка проникнуть в еще не разгаданные тайны происхождения и взаимоотношения эфиопской и дравидийской рас, носящих либо смешанный, либо недифференцированный характер, а также уточнить факты, касающиеся старой и еще не решенной проблемы негроидного компонента у арабских народов Азии. В заключение нужно заметить, что интерес к антропологическим исследованиям групп, мигрировавших на острова Индийского океана, несомненно, возрастает в связи с новыми археологическими открытиями Т. Хейердала на Мальдивских островах, проливающими свет на распространение древнеиндийских культур по островам Индийского океана.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНЕЙШЕЙ СЛАВЯНСКОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ*

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Вяч. Вс. Иванов (Москва)

1, 4, 7. Одной из особенно важных и насущных задач мне представляется определение относительной хронологии развития славянской культуры, начиная с гипотетических периодов выделения ее носителей из балто-славянской общности (и возможных еще более ранних общностей носителей целых групп «древнеевропейских», или «западноевропейских» диалектов, единство которых можно отнести ко времени около III—II тыс. до н. э., что соответственно ограничивает балтославянский период приблизительно временем II—I тыс. до н. э. в абсолютной хронологии). Развитие духовной культуры определенным образом связано с историей материальной культуры и социально-экономическими отношениями. Методы экспериментальной археологии и типологические параллели могут быть использованы для проверки соответствующих импликаций типа: если погребальный обряд, применяющий кремацию, предполагает технологию, обеспечивающую температурный потенциал выше 1000°С, то в данной культуре возможны плавка железа и изготовление железных изделий, а поэтому — и тип социально-экономической организации и духовной культуры, вероятный в железном веке Евразии. Задача выявления относительной хронологии исключительно трудна, однако только ее решение позволило бы вести исследование духовной культуры в духе современного структурного гуманитарного знания. При кажущейся трудности (и реальной сложности) реконструкции целого комплекса соотносящихся друг с другом по определенным правилам (типа приведенных выше) фактов техники, духовной культуры, социальной структуры, их комплексное восстановление оказывается единственным способом определения относительной хронологии, так как оно позволяет проверить надежность восстановления каждого отдельного факта входящего в данный комплекс, характерный для определенной эпохи.

Под «древнейшей славянской культурой» в строгом смысле слова можно понимать ту, которая обособляется (в абсолютной хронологии не ранее I тыс. до н. э.) от балто-славянской, ей предшествовавшей. В дальнейшем своем развитии эта культура могла иметь локальные варианты, соотносящиеся с диалектной (в частности, лексической) дробностью праславянского языка. Но фольклористические (в том числе музыковедческие) и лингвистические исследования убеждают в единстве архаических форм общеславянской мифологической и обрядовой поэзии. Восстановление текстов, относящихся к разным ее жанрам, позволяет предполагать, во-первых, значительную архаичность этих текстов даже по отношению к их общеиндоевропейским прототипам (ср., например праславянскую формулу наречения имени: *jimeŋ dēti <и.-е. *Nimnēn. deni 'имя положить', слав. *pas- 'пасти, хранить слово, клятву', во втором

* Начало дискуссии см. в предыдущем номере журнала.

значении возводимое к индоевропейскому на основании совпадения славянского с анатолийским и тохарским, и многие другие аналогичные формулы, продолжающие индоевропейский прообраз), во-вторых, значительное единство сохранившихся традиций на всех славянских территориях. Последнее, видимо, связано с тем, что язык и формы обрядовой поэзии могли поддерживаться в архаических консервативных жанрах даже и там, где другие речевые жанры обнаруживали заметные локальные инновации. Степень архаизма славянской традиции до сих пор недооценивается. Так, др.-рус. *вьрста* (вплоть до переносного использования слова в «Верстах» Цветаевой) продолжает непосредственно общиндоевропейское название единицы измерения пространства и времени (ср. *время* < *wert-men), связанное с засвидетельствованным и в древнеиранских, и в митаннийских арийских текстах обычаем гнать коней по стадиону, вдоль которого ставились верстовые столбы.

11. Степень единства и архаизма передаваемой мифопоэтической традиции существенным образом зависит от социальных условий ее бытования. До тех пор, пока (и в той мере, насколько) сохранялись унаследованные от общезападноиндоевропейского периода формы общественной организации с сакральным правителем и разветвленной системой жреческих должностей и функций (типа доэтрусской римской) и дуально-экзогамной структурой с кросскузенными браками и авункулатом, сохранялись и основные черты древнего пантеона (в частности, противопоставление бога Солнца и бога Грозы, типологически выявленное для всех обществ этого типа А. М. Хокартом) и дуалистической космологии. Отдельные языковые инновации (типа др.-рус. *Стрибогъ* из *ptg-ei-bogŭ 'отец-бог' с заменой и.-е. *deiu- 'бог Солнца, Ясного Неба — Дня' новым словом — иранизмом и переосмыслением функции бога) не мешают увидеть в трансформированных формулах след общиндоевропейских формул (ср. другое переосмысление того же исходного и.-е. *diu-pater- > лат. Iuppiter при переносе на римского громовержца имени древнего бога Солнца и т. п.). Так, название 'дождя, плохой погоды' — ст.-слав. *дъждь* < *dus-di- 'плохой день' (этимология Н. С. Трубецкого) позволяет предположить в исходном раннеславянском, как и в гомеровском и ведийском языках, отражение дуального противопоставления и.-е. *dus- 'плохой' — *e/osu- 'хороший' (второй член противопоставления представлен в др.-инд. вед. *su-dyut-* 'благое сияние', хет. *Aššu-šiuat-* 'бог Благого Дня'). Как видно из этого, основной метод — выявление исходного прототипа посредством анализа того, что в форме (в том числе и языковой) и функции подверглось трансформации (перешифровке в том смысле, что исходная праформа при передаче во времени подвергается воздействию помех, результат которых сходен с операциями перекодирования исходного сообщения, восстанавливаемого исследователем, исполняющим по сути функции дешифровщика так, как они понимаются при истолковании дешифровки в свете теории информации).

3, 6, 10. Поскольку нигде на современной территории распространения славянских языков не сохранилось широкого социального контекста бытования древней культуры, функции (а в подавляющем большинстве примеров — и формы, хотя они и гораздо консервативнее, чем функции) элементов, частично ее продолжающих, и отношения, в которые они входят, трансформированы. Поэтому использование любого современного факта непосредственно для реконструкции того праславянского прототипа, к которому он в конечном счете восходит, невозможно без предварительного учета этих структурных сдвигов (в этом смысле сохраняет свою значимость данная П. Г. Богатыревым критика с позиций структурного анализа традиционных методов реконструкции).

После праславянского периода при разных социальных и религиозных изменениях фрагменты древней системы сохранялись в изолированных (обычно деревенских, в общем виде — провинциализированных) ситуациях. В них не воспроизводилась атмосфера пантеона, высший бог которого соотносился с сакральным правителем, и языческого жреческого культа. Эту атмосферу еще можно выявить в мифологии начальной

Киевской Руси (и позднее в отдельных элементах структуры княжеского обряда, ср., например, архаическую должность *каравайченка* при Великом Князе Московском и т. п.). Наиболее архаические черты могут сохраняться в пережитках, не имеющих функционального истолкования при синхронном описании (например, глаз коня как целительный символ в Полесье, по данным С. М. Толстой), поэтому на них следует обращать больше внимания в программах для сбора сведений.

12. «Двоеверие» (например, на Руси в эпоху тайных культов «баб богомерзких») можно сравнить с двуязычием, при котором существуют два названия для одного общего понятия. Так можно объяснить параллелизм Мокоши и (Параскевы-) Пятницы, Волоса и Власия, Перуна и Ильи (и Георгия-змееборца) и т. п. В некоторых случаях при типичной для средневековых текстов гетерогрaфии письменный неродной термин (в восточно-славянских текстах — южно-славянский, во Фрейзингских отрывках — латинский) предполагает еще наличие соответствующего по смыслу и более древнего родного, в котором иногда можно видеть след древней дохристианской сакральной терминологии (в слав. *světъ*, ср. иранск. *srənta* как обозначение «маны» и т. п.; во Фрейзингских отрывках обычно передается на письме лат. *sanctus*, но читалось, безусловно, соответствующим древнесловенским словом).

5, 8, 9. Наиболее настоящей задачей представляется картографирование сходных культурных явлений на всей территории Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы, где славянские культуры находились в длительном контакте с неславянскими. Это отразилось и на географическом распространении соответствующих обычаев, символов и т. п. В ряде случаев (например в жертвоприношении коня и таких символах как коньки на крыше здания, а также в соответствующем орнаменте) сходство славянских традиций с другими евразийскими индоевропейскими настолько велико, что археологам трудно определить этническую принадлежность открытого при раскопках обряда: принесение в жертву коня при закладке дома в древнем Новгороде может иметь и прибалтийско-финское, и северовосточнославянское происхождение (параллелизм этих этнических элементов подтверждается и новыми толкованиями берестяных грамот мифологического содержания). Явная обособленность восточнославянского севера от всех других славянских ареалов (как в языке, так и в культуре) существенным образом связана с характером взаимодействия его населения с неславянским (в частности, угро-финским) окружением. Часто весьма архаический обычай с древней терминологией (русс. диалектн. *молить* скот в смысле «жертвовать божеству») сохраняется именно в неславянском языковом окружении (в частности, финно-волжском).

13, 14. Быстрота темпов изменения обрядов и обычаев делает особенно настоящей как задачу фиксации еще пережиточно сохраняющихся, так и планомерной обработки и издания многочисленных архивных и музейных материалов (например, в Вологде и в других севернорусских городах).

2, 15. Особое внимание следует обратить на взаимное согласование выводов, получаемых языкознанием и этнографией. Так, смысл восточнославянского обряда *завивания* (из колосьев) *бороды* языческого бога проявляется благодаря этимологии слова *борода*, содержащего то же древнее западноиндоевропейское название (по происхождению заимствование из семитского) «злака, ячменя», что и слав. **boršno*. Обычай привешивания к идолу бороды из колосьев соотнесен с обычаем (ритуального) бритья бороды у всех тех западных индоевропейцев, которые заменили этим названием (**bor-da < *bhar-dh-*) более древнее общеиндоевропейское (др. — инд. *śmaśru*, хет. *zamankur*, в частности, как название бороды бога). Этнолингвистика превращается в науку в той мере, в какой синхронное описание позволяет подойти и к диахроническому истолкованию обрядов, поверий, обычаев, отражающихся в истории соответствующих слов.

1. Основным в изучении и реконструкции древнейшей славянской духовной культуры является активное продолжение экспедиционных сборов информации о самых различных этнографических, фольклорных, мифологических и других элементах ее в тех регионах современного славянского мира, где они в той или иной степени (в реликтовой форме) дошли до нашего времени. Такое же значение имеет проводимая параллельно научная систематизация всех материалов, которыми располагает современная наука. Однако на современной стадии изучения выделить отдельные этапы и промежуточные звенья древнейшей славянской духовной культуры не представляется возможным. К изучению древнейшей славянской духовной культуры необходимо подключить археологию в самых широких масштабах. Вопреки представлениям некоторых ученых о том, что археология занимается исключительно материальной культурой, ее материалы при умелом и тщательном анализе дают обширную и надежную информацию об очень многих сторонах духовной культуры. Пока же археологи-слависты очень мало внимания уделяют изучению духовной культуры.

Следующей стадией реконструкции древнейшей славянской духовной культуры должен быть комплексный анализ всех этнографических, фольклорных, мифологических и языковых данных, согласованный с результатами, полученными на материалах археологии. На этой стадии уже возможно выделение основных этапов эволюции древнейшей славянской духовной культуры, ее промежуточных звеньев. Такой комплексный анализ не только позволит выделить и охарактеризовать древнейший пласт духовной культуры славян, относящийся к периоду становления и начального этапа развития праславянского языка и этноса, но и выявить наслоения, связанные с последующей историей праславян и обусловленные взаимодействием их с кельтами, германцами, иранцами, балтами и другими этническими группировками. Возможно даже, что эти наслоения удастся расчленить хронологически.

2. Как видно из ответа на первый вопрос, пути и методы реконструкции древнейшей славянской духовной культуры, в том числе и мифологии, не совпадают с методикой реконструкции праславянского языка, основывающейся на данных лингвистики.

5. Картографирование этнографических, фольклорных и мифологических фактов необходимо при изучении древнейшей славянской духовной культуры. Создание подобного атласа будет серьезным шагом в научной систематизации изученных реликтов славянской духовной культуры. Однако совпадение изоглосс, изопрагм и изолекс не может быть решающим для каких-либо историко-культурных выводов. Далеко не все совпадения надежны, пока они не расчленены хронологически. Кроме того, они могут быть и случайными или обусловленными некоторой неполнотой материалов или плохой сохранностью тех или иных реликтов славянской духовной культуры.

6. Понятие «славянские древности» очень неопределенное. Разные исследователи часто вкладывают в него самое различное содержание. В археологии под «славянскими древностями» подразумеваются все памятники и материалы, полученные во время раскопок. Главное, чтобы они относились ко всем периодам истории славянства, от времени выделения его из индоевропейской общности до средневековья включительно.

9. Дialeктное членение древнего славянства, судя по материалам археологии, было чрезвычайно динамичным. В разные периоды праславянской истории диалектное членение было разным, при этом диалекты были в движении, то соприкасаясь, то наслаиваясь друг на друга, то разъединяясь. При внутрирегиональных взаимодействиях славян с другими древними европейскими этносами могли образовываться новые диалекты. Образовывались они и при отрыве части славян от их основного массива. Так, в частности, сформировался древний новгородский

диалект, выявляемый как на основании анализа археологических материалов (например, берестяных грамот), так и современных диалектов.

7. Славянский этнокультурный тип и славянское этнокультурное единство, несомненно, существовали, но в глубокой древности, в ту эпоху, когда закладывались основы праславянского языка, когда он только что начал самостоятельное развитие, постепенно вырабатывая собственную структуру и лексику. Тогда племена, из которых формировались славяне, жили в одинаковых бытовых, хозяйственных и географических условиях.

В книге «Происхождение и ранняя история славян» (М., 1979) я старался показать, что единой общеславянской была археологическая культура подклошových погребений, относящаяся к 400—100 годам до н. э. и распространенная в бассейне Средней Вислы и в смежных с ним регионах. Эта культура достигала среднего течения Одры на западе и Припятского Полесья и Волыни на востоке. Ее оставили земледельцы, которые не укрепляли свои поселения и жили в одинаковых жилищах, пользовались однотипными керамикой и бытовым и хозяйственным инвентарем, имели однородные погребальный ритуал и духовную культуру.

Позднее этнокультурного единства у славян уже не было. Миграции славян в области расселения скифо-сарматов, балтов, фракийцев и других древних племен, а также инфильтрация в древнейший славянский ареал кельтов и германцев привели к тому, что славянский этнокультурный тип постепенно исчез.

Славянские древности, относящиеся к V—VII вв. н. э., известны на широкой территории от Эльбы на западе до Днепра на востоке и от южного побережья Балтийского моря на севере до Пелопоннеса на юге. Они обнаруживают значительную дифференциацию культуры славян, как материальной, так и духовной. Различия прослеживаются и в типах жилищ и поселений, и в лепной керамике, и в других важнейших элементах материальной культуры, а также в погребальной обрядности, в устройстве святилищ, типах идолов и др.

10. Архаические зоны современной Славии не могут служить моделью древнейшей славянской духовной культуры, так же как диалекты этих регионов не являются моделью праславянского языка. Архаические зоны могли сохранить в той или иной степени отдельные элементы древнейшей славянской духовной культуры, которые и необходимо самым тщательным образом зафиксировать и изучить тем методом, о котором говорилось в ответе на первый вопрос.

11. Древнейшая славянская религия в период становления праславянского языка была достаточно монолитна в территориальном и структурном отношениях. На основании тех материалов, которыми располагает наука, можно предположить, что в это время существовал единый пантеон славянских богов. Однако нельзя думать, что он был замкнутым. Славяне унаследовали свой пантеон языческих богов от периода индоевропейского единства, поэтому он в той или иной степени совпадал с богами соседних индоевропейских этносов.

Монолитность славянского пантеона была нарушена последующей историей праславян — постоянными контактами славян в конце I тысячелетия до н. э. и в первой половине I тысячелетия н. э. с кельтами, германцами, скифо-сарматами, балтами и др. В это время славянское язычество в процессе внутрирегионального взаимодействия с другими этносами восприняло многое из религиозных представлений последних. При этом «заимствования» охватывали не весь славянский мир, а лишь отдельные его регионы. Так появились, например, в юго-восточной части расселения славян языческие божества Хорс и Симаргл или на северо-западе — святилища, имеющие кельтское начало. Ни о какой-либо монолитности славянского язычества в начале средневековой поры говорить уже не приходится. Славяне, жившие в отдельных регионах, уже это время различались своими особенностями в язычестве. При этом они не были замкнутыми.

12. Проблема «двуязычия» (многоязычия) в культуре по данным а

хеологии решается легко. Различаются моно- и полиэтнические археологические культуры. Первые характеризуются однотипными основными элементами материальной и духовной культуры. Их картографирование дает однородную картину во всем ареале. Дву- или полиэтническим культурам свойственны два или несколько типов погребальной обрядности, разнотипные жилища, культовые памятники различного облика, различного характера элементы материальной культуры. Все они существуют одновременно на одной территории, на одних памятниках, поэтому при картографировании получается очень пестрая картина. Весьма важным при этом является изучение происхождения археологических культур. Одноэтническим культурам обычно предшествует одна культура, в основе полиэтнических находятся две или более предшествующих культур. Необходимо заметить, что это относится только к хорошо исследованным археологическим культурам, когда раскопано достаточно много поселений, могильников и других объектов. Об этнической принадлежности археологических культур, недостаточно изученных и выделяемых лишь по керамическому материалу, говорить преждевременно. К сожалению, в археологической литературе нередки случаи, когда выделяется именно культура по керамике. Это дает повод некоторым исследователям сомневаться в том, может ли археология изучать этногенез древних племен и народов.

А. К. Смольская, Н. И. Зубов (Одесса)

1. Основная задача — представить древнейшую славянскую духовную культуру системно, в совокупности и взаимосвязях всех ее компонентов. При реконструкции СДК возможно выделение промежуточных звеньев (аналогично, помимо праславянского языка — древнерусский и т. д.).

Для истории СДК важны два этапа: а) дохристианский период; б) христианство в языческом преломлении (общие элементы для славянства в целом и своеобразные — для славянских групп).

2. Методика реконструкции славянской мифологии не всегда адекватна методике реконструкции праславянского языка. Возможности сопоставления для славянской мифологии представляются более широкими (см. «культурологическую» направленность работ В. В. Иванова и В. Н. Топорова).

Вопрос о «диалектологии» славянской мифологии правомерен. Вероятно, при ее реконструкции не всегда будет наблюдаться совпадение с языковыми диалектами.

3. На степень важности и объективности указывает порядок перечисления источников в самом вопросе: а) письменные памятники — важнейший источник по древнейшему периоду СДК. Здесь еще остается возможность углубленного анализа. Так, после работ В. Мансикки и Е. В. Аничкова вплоть до последней книги Б. А. Рыбакова комплексный анализ древнерусских источников (с точки зрения мифологии) не проводился. Особо следует указать на роль латиноязычных памятников, которые обычно используют выборочно, без широкого сопоставления; б) диалектные данные могут отражать древнейшее состояние СДК, а также более поздние явления; в) межславянские соответствия представляют сложную картину общеславянских элементов, в том числе общих заимствований: ср. *bosorka* (чеш.) и *босорка* (укр.), *bosorkany* (венг.), *bosorkoi* (рум.).

Сложны и славяно-инославянские соответствия. Например, *perkun* (чеш.) можно соотносить с нем. *Bergmann* («горный дух»), ср. возможное сопоставление с литовским *Perkūnas*; *hajman* (чеш.) «лесное болотное страшилище», быть может, из евр. «аман» — название праздника (ср. укр. «гаман» — «черт» < аман с протетическим [γ]).

4. Возможно и сопоставительное, и ареальное изучение СДК, а также применение сравнительно-исторического метода для изучения славянской мифологии.

6. Понятие «славянских древностей» для языкознания, мифологии истории близко по значению — это праславянский период, до разделения славян.

Естественно, что понятие «древности» для письменности иное, так как дописьменный период затронул и эпоху отдельного существования славянских народов и языков.

7. Очень сложный вопрос. Очевидно, идентифицировать этнокультурное единство и языковый тип нельзя. Ср. балто-славянскую языковую близость и различие этнических типов. Однако в определенном смысле (когда речь идет о мифологии, фольклоре) можно говорить об этнокультурном единстве или, лучше, этнокультурной близости славян.

8. Вероятно, можно говорить о существовании этнокультурных союзов и контактов. Это подтверждается работами В. В. Иванова по античной балканистике; В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева, В. В. Мартынова по славяно-балтским и славяно-германским языковым и культурным (древним) связям. Наиболее интересными зонами являются Балканы, Карпаты, Север европейской территории СССР (балто-славяне).

9. Диалектное и лингвистическое членение древних славян, по данным лингвистики, представляется в двух синхронных срезах: 1) конце праславянского периода — появление отличительных черт, прежде всего в фонетике восточных и западных славян; 2) возникновение южнославянской ветви в связи с закреплением славян на Балканах.

10. Ни одна архаическая зона современной Славии не может служить безукоризненной моделью праславянского существования.

В отношении языка, обрядовой системы древних славян, фольклор наиболее интересны полесская (см. исследования Н. И. Толстого), карпатская и балканская зоны расселения славян, что объясняется причинами исторического и географического характера.

11. Один из самых спорных вопросов. Славянское язычество, несомненно, имело достаточно характерных черт, позволяющих выделить его в ряду других языческих систем индоевропейских народов. В целом можно полагать, что мифологическая картина мира имела членение по локальному принципу.

Пантеон славянских божеств является, вероятно, искусственным образованием, созданным накануне принятия христианства (Киевский пантеон). Славянские боги были, очевидно, еще очень слабо антропоморфизированы. В числе аргументов в пользу этого положения следует указать на отсутствие у славян регулярно употребляемых теофорных языческих имен. Единичные факты (отчество Дажбогович XVII или XVI в. неубедительны; вызывает сомнение существование бога Радогоста (с мнением Брюкнера и противоположную точку зрения). Можно оспаривать и существование генеалогии Сварог и «сварожич», ибо «сварожич», источник, всегда лишь ритуальное название огня, но не высшее божество у восточных славян.

15. Термин «этнолингвистика» не однозначен в языкознании. Этнолингвистика в толковании многих современных лингвистов — это параллельные исследования СДК с привлечением самого широкого круга фольклорных и этнографических сведений.

О. А. Терновская, А. В. Гура (Москва)

1, 2. Традиционная народная культура в том виде, в каком она зафиксирована этнографией и фольклористикой XIX — начала XX в., представляет собой совокупность разнородных фрагментов, которые в целом создают впечатление не столько строгого системного, сколько конгломератного образования, хотя отдельные ее фрагменты имеют системный характер. Поэтому едва ли можно ставить вопрос о реконструкции СДК как единого целого.

Одни фрагменты СДК, по всей видимости, поддаются реконструкции подобно тому как поддаются реконструкции многие языковые элемен-

(так, например, возможна реконструкция песенных рефренов). Постановка вопроса о реконструкции других фрагментов едва ли правомерна (так, вряд ли есть смысл говорить о реконструкции праславянской свадьбы в целом).

В СДК можно выделить несколько уровней. Одни элементы, или комплексы культуры, являются языковыми по своей природе. Другие связаны с языком опосредованно. Третьи характеризуются еще большей самостоятельностью.

К элементам, имеющим по преимуществу языковую природу, относятся терминология, фразеология, различные клише (песенные зачины, рефрены, «общие места» в сказках, песнях), а также такие фольклорные жанры, как приговоры, заклички, загадки. Процедура реконструкции этих элементов тождественна той, которой пользуется лингвист. Вполне правомерна постановка проблемы реконструкции демонологических систем, поскольку воссоздание исходной системы демонологических персонажей сводится, по сути дела, к реконструкции системы соответствующих имен.

Другую группу составляют тексты, вербальное воплощение которых не связано с жесткой языковой формой. Так, например, реальный текст примет в разных ситуациях может быть одним и тем же лицом передан разными словами. К такого рода текстам помимо примет можно отнести также некоторые поверья (например, типа запретов: «нельзя убивать анста, потому что...»), легенды-поверья (типа: «отчего у осины листья красные»), толкования снов. Здесь возможно реконструировать мотив и некоторые связанные с ним вербальные фрагменты (отдельные словосочетания). К этой же группе текстов могут быть отнесены былички, отличающиеся от перечисленных жанров наличием более развернутого сюжета. Однако термин «реконструкция», употребляемый по отношению к мотиву и сюжету, теряет свое лингвистическое содержание (которое он имеет в компаративистике) и приобретает логическое. Процедура, разработанная в компаративистике, заменяется логическим типологизированием. Такое же значение имеет термин «реконструкция» по отношению к песне и сказке. Эти жанры также реконструируются на уровне сюжетов и мотивов (помимо уже названных устойчивых языковых компонентов текста):

По преимуществу невербальными элементами являются магические действия и обряды. Структурные компоненты обряда — предметы, лица и действия. Среди предметов, участвующих в обряде, выделяется группа особых символических ритуальных атрибутов — таких, как обрядовое деревце (свадебное, купальское), рождественские пирамиды, жатвенная «борода» и др. Реконструкция формы этих предметов может быть приближительная, подобно тому как лингвисты говорят о реконструкции языковых форм, — близкой, но не тождественной, так как чисто логическому началу в этой процедуре принадлежит значительное место. Другую группу специальных ритуальных предметов образуют обрядовые блюда. Возможна реконструкция (в таком же смысле) системы названий ритуальных хлебов (свадебных, весенних, календарного печеня в целом).

Состав действующих лиц обряда соответствует их обрядовым функциям. На первый взгляд кажется, что процедура реконструкции набора ритуальных функций участников того или иного обряда аналогична реконструкции языковых форм. Однако это впечатление обманчиво. Так, функция замещения родителей новобрачных (посаженые родители) представлена во всех славянских зонах. Тем не менее этот факт вряд ли достаточен для утверждения о том, что эта функция была присуща праславянскому свадебному обряду. В данном случае метод реконструкции, которым пользуются языковеды-компаративисты, неприемлем для этнографа, поскольку общность данной ритуальной функции может определяться единой глубинно-семантической организацией обряда, задаваться его прагматикой, которая является достаточно стабильной и не претерпевает значительных изменений во времени и пространстве.

Таким образом, понятие реконструкции меняется при переходе от вербального и вербально-текстового к невербальному уровню культуры. Реконструкция СДК как целого, в том числе и отдельных промежуточных звеньев в ее развитии, является проблематичной.

3. Письменные памятники имеют, несомненно, меньшую ценность чем диалектные данные. Это объясняется спецификой письменности как категории культуры, с одной стороны, и спецификой славянской письменности — с другой. Славянская письменная традиция представляет интерес для изучения общих закономерностей возникновения и формирования текстов. Формы бытования мифологии в письменных памятниках являются особым объектом исследований. В этом отношении интересна не только старая письменность, но и новейшая словесность (в широком смысле слова) во всей совокупности своих жанров — от романа до графики, плаката или кроссворда.

4. Традиционная культура, подобно языку, существует во времени и пространстве. Утверждение о том, что диалектный ландшафт представляет собой развернутую в пространстве диахронию, для историка языка стало аксиомой. Для того чтобы проверить применимость этого положения к истории культуры, необходимо, чтобы этнографическая наука прошла через этап ареалогии, как это имело место в языкознании. Поэтому опыты картографирования в области традиционной народной культуры не могут не привлекать пристального внимания. Атлас, как и словарь, является прекрасной формой систематизации материала. Ареальное изучение традиционной народной культуры означало бы новую ступень в развитии этнографии как науки (см. также № 1, 2).

5. Интерпретация внутриславянских и более широких сходжений в области СДК всякий раз осложняется отсутствием четкого критерия разграничения типологического и генетического сходства. Этногенетическое исследование должно опираться на разработанную типологию, и только в этом случае оно даст надежные результаты.

10. Традиционная культура порождает новые тексты на основе моделей, набор которых ограничен и существует вне времени и пространства. Это напоминает калейдоскоп. К ней едва ли приложим термин «развитие». Изменения, которые она претерпевает во времени, не затрагивают ее глубинного механизма, поэтому любая географическая зона, в прошлом относительно свободная от влияния городской цивилизации, может служить моделью прасуществования. В особенности это касается так называемых архаических зон. Городское влияние, проникая в традиционную культурную среду, не столько преобразовывало ее, сколько само подвергалось преобразованию, которое диктовалось ее законами. Изучение этих процессов составляет особую проблему современной этнографии.

И. А. Дзендзелевский (Ужгород)

2. Вопрос о «диалектологии» славянской мифологии, по моему мнению, вполне правомерен. Существующая литература убедительно свидетельствует о значительном разнообразии и вариациях мифологических сюжетов, героев, богов не только в общеславянском ареале, но и в сравнительно небольших этнографических группах. Например, в районе Украинских Карпат еще и в наше время фиксируется довольно много оригинальных верований и магических действий, относящихся к животноводству, в частности овцеводству, которые отсутствуют в Полесье и степной части Украины. Значительные «диалектные» различия наблюдаются также в украинской демонологии конца XIX — начала XX в. и даже настоящего времени¹.

Мифология со временем претерпевает значительные изменения, однако местные («диалектные») различия славянской мифологии разных исторических периодов в какой-то мере свидетельствуют о существова-

¹ См., например, *Дзендзелівський І.* Лексика демонології у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». — *Лесь Українка. Матеріали ювілейної республіканської наукової конференції*, Київ, 1973, с. 155—177.

нии определенных «диалектных» различий и в доисторические эпохи, включая и праславянский период.

«В диалектотворческом» процессе мифологии (как и языка) очень важную роль играют экономические, социальные и духовные условия развития общества. Во всяком случае разные районы славянской прародины не только в поздний, но и в ранний праславянский период не были одинаковыми по своему рельефу, климатическим условиям, условиям ведения хозяйства, добычи средств к существованию и пр.

4. Думаю, что и на этнографических картах (как на лингвистических) снимая более поздние наслоения (иноэтнические влияния, трансформации давних народных традиций под влиянием христианской или церковной культуры) с известной достоверностью можно реконструировать ареалы славянской культуры предшествующих эпох.

8. Соседние народы (этнические группы) всегда имеют какие-то более или менее интенсивные экономические, политические, культурные и другие связи, что, естественно, обуславливает интерференцию в области как материальной, так и духовной культуры. Этнокультурные контакты, безусловно, существовали и существуют. Последствия или результаты этих контактов зависят от их продолжительности, интенсивности, политического и экономического положения, общего культурного уровня контактирующих этнических групп и пр. Нам представляется, что следовало бы ставить вопрос о различении разных типов этнокультурных контактов.

Считаем, что можно говорить и о существовании этнокультурных союзов. Например, народы, проживающие в районе Карпат (украинцы, румыны, поляки, словаки, чехи), имеют специфическую культуру (высокогорное — полонинское животноводство) с целым рядом общих черт.

В пределах современной Славии к наиболее интересным зонам интерференции в области духовной культуры мы бы отнесли район Карпат, Полесье, Кашубину, Балканы.

11. Степень монолитности праславянской религии (язычества) в территориальном, структурном и бытовом отношениях, по-видимому, не всегда была одинаковой.

Пантеон славянских богов, скорее всего, был. В количественном отношении, в разветвленности и, так сказать, в специализации, он, вероятно, не был таким, как, например, древнегреческий или древнеримский. Следует полагать, что многие древние славянские мифы не дошли даже до начала фиксированной истории славян. Иные условия были в Древней Греции и Риме, которые имели письменность и высокоразвитое изобразительное искусство, благодаря чему мифологические предания и эпос были довольно полно зафиксированы, а боги и герои описаны.

13. Многое из славянских древностей (СДК) можно собрать еще и в настоящее время. Во всяком случае, в Гуцульщине и Верховине работа по нашей программе для сбора сведений о народных обрядах, верованиях, магических действиях, эвфемизмах, табу и родственных явлениях в области овцеводства дала много нового материала. Считаю, что в ближайшее время следовало бы разработать обстоятельные аналогичные программы по сельскому хозяйству, метеорологии, свадебным, семейным и другим обрядам, народным поверьям о животных и растениях, демонологии и т. д. Можно предполагать, что богатый материал по СДК можно собрать еще в таких зонах, как Украинские Карпаты, Полесье, Волинь, Белоруссия, Смоленщина, Вологодская и Архангельская области, Польское Подгалье, Малопольша, Куявы, Коцевье, Македония и некоторые другие.

14. Программы и вопросники по сбору сведений для комплексного изучения СДК должны быть обстоятельными, составленными на основании печатных и рукописных источников, а также специальных предварительно собранных разведывательных материалов. Следовало бы в ближайшее время подготовить ряд региональных атласов и монографий специально по изучению СДК. Целесообразно продискутировать вопрос об общеславянском атласе СДК.

1. Реконструкция праславянского состояния — необходимый этап в сравнительном и сравнительно-генетическом изучении славянской духовной культуры (СДК). Реконструированные даже в самых общих чертах древнейшие формы СДК могут сыграть такую же важную или даже решающую роль в исследовании славянских древностей и духовной культуры (ДК) в целом, какую сыграла в свое время в истории славянского языкознания реконструкция праславянского языка. Всякая реконструированная прасистема выполняет, во-первых, функцию системы соответствий между развившимися на ее основе позднейшими этнокультурными феноменами, а во-вторых, дает в том или ином приближении картину реального прасостояния (в данном случае — состояния праславянской ДК). При реконструкции абстрактного типа задача сводится к восстановлению инварианта из множества вариантов и последующей его типологической и исторической оценке в качестве эвентуальной праязыковой модели и ее необходимой коррекции.

Задача реконструкции — не только в восстановлении прасостояния, но и в установлении путей эволюции, линий конвергенции и дивергенции, промежуточных стадий развития. В таком случае праязык понимается лишь как абстрактная ретроспектива развития, а каждый факт получает свою локализацию не обязательно в плоскости прасистемы, а любой промежуточной точке пространства, отделяющего прасистему от конечных культурных идиомов.

Сказанное о прасистемах в полной мере приложимо и к промежуточным стадиям, которые тоже могут пониматься либо как система соответствий для определенных культурных типов, либо как реальные пралежитская, правосточнославянская и т. п. системы ДК. Попытки реконструкции реальных промежуточных стадий (В. Ловмянский) исходили лишь из данных письменных источников и не учитывают «устной» традиции.

Промежуточные стадии не должны, как нам кажется, постулироваться заранее, а должны быть результатом сравнительного изучения СДК, учитывающего различные трансформации общей основы (различные комбинации общих элементов или даже блоков ДК), чужие культурные влияния (прабалканских культур у южных славян, балтийских и финских — у восточных, германских — у западных) и, наконец, в период раннего средневековья, различные формы «книжной» (религиозно-культурной) культуры (христианство восточного и западного типа).

1, 4. Из сказанного явствует, что в принципе можно и должно говорить при конкретном исследовании о степени реконструкции того или иного явления или блока праславянской ДК, т. е. о возможностях этой реконструкции, и степени реконструируемости отдельных явлений и фрагментов ДК. Надо надеяться, что со временем возможности реконструкции будут возрастать. Пока же вся ситуация в сфере праславянской ДК напоминает положение в сравнительном индоевропейском и славянском языкознании при их возникновении, т. е. в первой половине XIX в., когда на основании отдельных слов и их этимологий определялись фонетические законы и соответствия и строилась сравнительная грамматика, затем, наоборот, на основе этих законов, соответствий и грамматических фактов предлагались новые этимологии. Это был начальный период в языкознании, период накопления фактов и их первичного осмысления. Приблизительно в таком же состоянии находится современная славянская лингвистика и наука о славянской ДК, о славянских древностях. Однако в области СДК этот первоначальный период может быть ускорен и обобщен за счет современных методов (ареалогии, картографии, структурной типологии и др.).

2. Одна из главных методических проблем реконструкции СДК — проблема соотношения внутренней реконструкции и внешнего сравнения. В ряде последних опытов реконструкции славянских культурных древностей как бы пропускается этап внутренней реконструкции славянских

материала, а факты «современного» состояния, т. е. состояния XIX — начала XX в., непосредственно сопоставляются с другими индоевропейскими и иными традициями. В ряде случаев архаичность традиционных славянских культурных форм оправдывает такое «перескакивание», но в целом как методический прием оно вряд ли приемлемо. Сначала должно быть реконструировано праславянское состояние, а затем проведено внешнее сравнение, причем именно на уровне реконструированного прасостояния, а не позднейших форм. В лингвистике это элементарная истина. Пока языковеды не обратились к реконструкции праязыков отдельных семей так называемых ностратических языков, родство между этими семьями подтверждалось лишь случайными параллелями, а не системой соответствий. То же и в мифологии. А. Н. Афанасьев, как весьма проникательный исследователь, обнаружил немало единичных сходжений в мифологии славян и германцев, в славянской и древнеиндийской традиции и т. д., но только их систематическое сопоставление на уровне реконструированных прасистем даст действительную картину их родства, общности и специфических признаков каждой традиции.

Методика реконструкции праславянского языка представляет собой систему критериев, в соответствии с которыми тот или иной реальный или реконструированный языковой факт может быть охарактеризован по его принадлежности к исконно праславянскому фонду, к одной из диалектных ветвей праславянского языка, к инновациям того или иного периода, начиная с праславянского, к заимствованиям или новообразованиям позднего времени. Это критерии формальные (удовлетворяет ли данное явление системе звуковых соответствий между славянскими языками и т. п.) или ареальные — внутренние и внешние (распространено ли данное явление во всех трех группах славянских языков, в зоне контактов с другими языками, в окраинных или центральных зонах и т. п.). Годятся ли эти критерии для явлений культурного плана? В принципе, вероятно, да, но исследователи СДК, в отличие от исследователей славянских языков, не располагают еще самой системой формальных соответствий между отдельными этнокультурными традициями. Что же касается ареальных критериев, то они вполне применимы и к явлениям СДК с тем существенным и для языкознания уточнением, что следует оперировать не только и не столько крупными ареалами, соответствующими отдельным современным славянским этносам или языкам, сколько более дробными ареалами, выделяя и сопоставляя, например, Полесье (восточное или западное) с русским Севером (северо-западным или юго-восточным) или отдельными южнославянскими зонами (Фракий, Родопами, восточной Сербией, Шумадией) и т. п.

4, 5. Ареальное изучение и картографирование элементов культуры (как и языковых явлений) имеет двоякую направленность — на предмет изучения и на изучаемую территорию. В первом случае исследователя прежде всего интересуют территориальные разновидности в формальном, содержательном или функциональном плане изучаемого им факта или фрагмента культуры, например, определенного обряда или его компонента, какого-либо сюжета или мотива и т. п. Сопоставление территориальных вариантов в структурном отношении (какие признаки неизменны и какие варьируются?) и в территориальном (каковы ареалы отдельных вариантов и с какими другими ареалами они соотносятся?) позволяет сделать определенные выводы о структуре (соотношении различных признаков и компонентов) и о генезисе объекта, реконструировать его инвариантный вид и прайформу.

Во втором случае исследователя интересует ареальная характеристика самой территории, т. е. вся совокупность границ, проходящих по ней и связывающих ее с другими территориями или отделяющих ее от них, каких бы сторон культуры и языка ни касались эти границы. Задача состоит в их систематизации, соотнесении друг с другом и групповой интерпретации в историческом, этногенетическом и этноязыковом плане. Области наибольшего сгущения изолиний разного рода (диалектных, этнографических, археологических, исторических и т. д.) должны,

естественно, привлечь наибольшее внимание, а сами пучки таких изолиний (изоглосс, изопрагм и т. д.) должны быть сопоставлены по мощности (число линий, обозначающих данную границу, важность и структурно-историческая ценность явления, обозначенного линией), по компактности-размытости и другим формальным характеристикам, что необходимо для их дальнейшей хронологической и иной интерпретации. Понятно, что совпадение, например, границы оканья и аканья с границей разных типов конской упряжи на территории Правобережной Украины не может быть случайным, но систематическое изучение такого рода совпадений пока еще только начинается (см., например, работы на болгарском материале С. Генчева, на сербском П. Костица и др.).

6. В ответах на анкету В. Е. Гусевым справедливо выдвинуто требование комплексного понимания древностей, общего для представителей разных научных дисциплин. Это требование соблюдается, если древности понимаются как категория прежде всего содержательная, «семантическая». Это, можно сказать, «семантемы» (мифологемы, мотивы и т. п.) культурного плана, имеющие принципиально различные, множественные формальные или жанровые воплощения. Иначе говоря, это единицы плана содержания ДК, единицы древнего мировоззрения, т. е. мифологии в широком смысле слова, включающей собственно мифологию, космологию, народные представления о природе и жизненном цикле и т. д. и реализующиеся в системе мифологических кодов: космологическом и растительном, зоологическом и метеорологическом и т. д. Славянский материал дает бесчисленные примеры различного материального и жанрового воплощения одного и того же содержания. Так, мифологическая связь между хтоническими животными и атмосферными явлениями в славянских народных представлениях может быть обнаружена как в поверии о том, что убитая лягушка предвещает дождь, или в запрете убивать лягушку ввиду опасности дождя, так и в специальных магических ритуалах убийства (иногда и погребения с оплакиванием) лягушки во время засухи ради вызывания дождя. Мотив «жития и страдания культурных растений», известный в различных областях славянского мира, имеет разнообразные жанровые формы, начиная от загадок, сказочных сюжетов, магических обрядовых диалогов и кончая ритуальными танцами, способствующими плодородию возделываемых культур.

7. Вопрос имеет три аспекта: чисто типологический (проблема структурной классификации славянских культурных идиомов), генетический (славянская ДК как ветвь индоевропейской, ее отношение к балто-славянской общности и т. п.) и ареальный (славянская культура в балканском ареале, в балто-славянском, ее отношение к культурам соседних неиндоевропейских этносов).

Ряд этнографов отрицает наличие славянского этнокультурного типа на том основании, что каждая из отдельных черт (признаков), которую можно было бы определить как типично славянскую, имеет свое продолжение или может быть зафиксирована вне славянской территории, и, таким образом, нельзя выделить ни одного признака, который был бы исключительно славянским. Однако, как хорошо известно из лингвистики, тип может пониматься не как один классифицирующий признак, а как комплекс признаков, или «признаковое» пространство, в котором каждый феномен получает свою локализацию. По отношению к СДК не решены ни вопросы внутренней, ни вопросы внешней типологии, т. е. не выявлены типологически значимые признаки, по которым могут быть классифицированы отдельные славянские этнокультурные традиции, и признаки или сумма признаков, имеющие конституирующее значение для славянской ДК в целом на фоне других индоевропейских и неиндоевропейских традиций.

8. В языкознании и, в меньшей мере, в этнологии существование языковых и этнокультурных союзов связывалось в первую очередь с наличием общего субстрата и затем уже с явлением интерференции. Так определялся многими самый крупный и бесспорный — балканский культурно-языковый союз. Однако новые материалы, собранные в других

зонах, опровергают чисто балканский характер ряда содержательных единиц ДК, таких, как обряд вызывания дождя «додола-пеперуда» или ряд профилактических скотоводческих обрядов.

Что касается интерференции, которая довольно ярко проявляется в таких зонах, как карпатская и в некоторых иных пограничных с неславянским этносом областях, то следует учитывать, что не все блоки и звенья ДК (так же, как и языка) в равной мере подвержены влиянию и открыты для заимствований. Метод лингво- и этногеографии, специальная методика сопоставления достаточно дробных ареалов в зонах интерференции (например, славяно-финской или славяно-балтийской), целенаправленная интерпретация изоглосс, изопрагм и изодокс способны указать на направление заимствований, их характер (калькирование, частичная модификация формы и смысла и т. п.) и границы. Весьма ценным начинанием были бы этнокультурные атласы Балкан, Карпат, Русского Севера.

10. Оперирование понятием и показателями (структурой и материалом) архаической зоны важно для решения поставленных выше вопросов. «Архаическая зона» не синоним «зоны хорошей сохранности» ДК. И хотя условие хорошей сохранности для нее почти обязательно, необходимо еще наличие определенной системы ДК традиционного типа, которому могут сопутствовать и другие показатели, такие, как диалектная дробность, вариативность и т. п. Естественно, что такие зоны не могут быть свободны от инноваций и часто они, как, например, словенская, кашубская или карпатская, изобилуют ими. Меньше инноваций наблюдается в таких зонах, как полесская, сербско-шумадийская или, скажем, западно-болгарская. Как бы то ни было, понятие архаической зоны дает возможность охарактеризовать отдельные ареалы СДК еще по одному признаку, а каждый из таких ареалов, взятый отдельно, может служить моделью праславянского существования в отношении структуры ДК, взаимосвязи ее составляющих, равно как и устойчивости или проницаемости отдельных блоков ДК. Ценность такой модели определяется тем, что она дает именно структурное, а не реальное (текстовое) приближение к прасистеме ДК.

11. Представления о древнеславянской религии до недавнего времени строились почти исключительно на показаниях письменных источников, которым отдавалось абсолютное предпочтение перед источниками «устными», т. е. живой народной традицией. Считалось, что письменные источники древнее, хотя, как хорошо известно, «живая старина», так же как и диалектные слова и их значения, может сохранять очень большую древность. Это весьма значительно ограничивало источники и возможность реконструкции, тем более что эта ограниченность сочеталась с устойчивыми схематическими представлениями о малой вариативности древнеславянского языческого мировосприятия и о почти исключительно дивергентном характере его эволюции (от единой системы к разным, специфическим «диалектным» системам). На эти представления сильно влияло также стремление обнаружить у славян достаточно развитые формы религии наподобие пантеонов классического типа (греческого, римского, древнеиндийского). Попытка рассматривать древнеславянское язычество сквозь призму других религий была неудачной, так как эти другие религии не могли служить адекватной моделью.

Говорить о едином славянском пантеоне совершенно не приходится, ибо даже простое сравнение двух достаточно поздних локальных, неплохо засвидетельствованных пантеонов — киевского и поморского — говорит о двух различных структурных типах в языковом, мифологическом и религиозном отношении. К тому же относительно киевского пантеона ставился вопрос (Е. Аничковым) о его окказиональности и о локальности разных собранных князем Владимиром богов. Гипотеза эта до сих пор не получила ни убедительного подтверждения, ни аргументированной критики. Живая народная традиция сохраняет лишь немногие имена языческих божеств (Перун, Велес-Волос, Мокошь). Содержание этих культов во многом выявляется из набора функций, переданных ими

впоследствии христианским святым (Мокошь→Параскева Пятница, Волос-Велес→Никола и т. д.). Но и эти немногие языческие божества в своем распространении локально ограничены. Единственным всеобщим, полно и хорошо представленным, повсеместно довольно четко реконструируемым у славян культом остается культ мертвых, имеющий многообразные персонифицированные воплощения (ипостаси) — от реальных лиц (например, последний утопленник в седе, управляющий тучами) до абстрактных мифологизированных персонажей со своими именами типа Макарка, Купала, Марена и т. п.

14. Вопросы должны быть разными — в зависимости от: 1) территориальных масштабов обследования (узколокальные или ориентированные на крупные этнокультурные образования), 2) от целей исследования (полное описание материала одной локальной традиции, выявление специфических местных особенностей в области ДК, установление ареалов отдельных этнокультурных явлений и форм, выяснение ареального распределения типологически значимых признаков или элементов ДК, сравнительное изучение разных традиций, выявление типов и форм культурных заимствований и интерференции и т. д.), 3) от методов работы и характера источников (непосредственная полевая работа, анкетирование, работа с печатными, архивными источниками и т. д.). Вопросы должны быть различны и по объему (полные, краткие, избирательные), по содержанию (тематические, соответствующие отдельным фрагментам ДК, различным жанрам, содержательным или формальным категориям и т. д.), по структуре (логически систематизирующие материал в иерархически организованном виде или ассоциативные, рассчитанные на собирателя или на информанта, дающие альтернативные или просто стимулирующие вопросы).

Практически вопросы, если они вообще используются, создаются самими собирателями совершенно стихийно и интуитивно. Между тем это важная методическая проблема. Вопросник всегда отражает ту или иную предварительную систематизацию и даже интерпретацию материала. От него зависит не только полнота, но и качество собранных данных. В отечественной и зарубежной славистической литературе (прежде всего — польской) можно найти множество разного типа и разного качества программ-вопросников, которые заслуживают изучения и методического осмысления. Для начала было бы полезно каталогизировать и систематизировать имеющиеся вопросы по народной славянской культуре (как опубликованные, так и рукописные), составить и издать их библиографию и обзор, в котором бы освещались принципы их составления, их структура, объем и характер охватываемого ими материала, географические зоны, на которые они рассчитаны, результаты их практического использования. Кроме того, было бы важно составить карты изученности отдельных славянских территорий по конкретным проблемам (например, карту изученности славянского свадебного обряда), а также собрать сведения об имеющихся этнолингвистических, этнографических, фольклорных и т. п. картах в исследованиях по славянской ДК.

В секторе этнолингвистики и фольклора Института славяноведения и балканистики АН СССР ведется работа по сбору материалов для «Полесского этнолингвистического атласа». Создана серия программ-вопросников разного типа. Сначала были составлены специальные программы по отдельным темам семейной, календарной и окказиональной обрядности, по народному календарю и народным представлениям о природе: 1) Свадебный обряд и его терминология; 2) Родины и крестины; 3) Погребальный обряд и его терминология; 4) Святочная обрядность; 5) Весенние обряды; 6) Купальская обрядность; 7) Жатвенная обрядность; 8) Животноводство; 9) Обряды, связанные с приплодом скота, 10) Обряды, связанные с падежом скота; 11) Домашняя птица; 12) Поверия и обряды, связанные с насекомыми; 13) Народные представления о растениях; 14) Народные представления об астрономии и метеорологии; 15) Вызывание дождя; 16) Народные поверия и обряды, связанные с громом и градом; 17) Обряды и поверия, связанные с тка-

чеством; 18) Строительные обряды; 19) Народное отношение к хлебу; 20) Народная демонология; 21) Народные толкования снов.

Эти вопросники предполагают по возможности полное описание соответствующих разделов полесской народной культуры. На основе этих тематических программ и собранных по ним материалов была составлена сводная программа для «Полесского этнолингвистического атласа», которая включает все тематические разделы, соответствующие частным программам, но не является простой суммой этих программ. Главное отличие состоит в том, что в сводной программе специально отобраны вопросы, имеющие значение для ареальной характеристики Полесья, т. е. вопросы, дающие разные ответы на территории самого Полесья и обнаруживающие, таким образом, членение полесской территории в этнолингвистическом отношении, либо вопросы, которые выявляют внешние ареальные связи Полесья с другими славянскими этноязыковыми зонами. При этом основное внимание уделяется фактам, которые могут быть квалифицированы как славянские «древности», а среди последних прежде всего тем, которые наименее изучены в общеславянском плане.

И наконец, на базе сводной программы создана «Анкета по народной культуре Полесья», насчитывающая 65 вопросов, выявляющих наиболее четкие изоглоссы в пределах Полесья. Предполагается охватить анкетой более широкую территорию, чем территория, обследуемая для составления атласа, чтобы дать более точную характеристику Полесья в рамках восточно-славянского этноязыкового континуума.

От редакции

Вопросник по проблемам комплексного изучения древней славянской культуры, составленный Н. И. и С. М. Толстыми, стимулировал достаточно широкое и вместе с тем обобщенное рассмотрение методических проблем реконструкции древнеславянской культуры, имеющих давнюю, без малого полуторавековую традицию как в русском, так и в зарубежном славяноведении. Следует, однако, подчеркнуть, что большинство авторов «ответов» (С. М. и Н. И. Толстые, В. В. Иванов, В. В. Седов, В. Н. Путилов, А. К. Байбурин и др.), теоретически формулируя ту или иную методическую идею, опирались не на предварительные и отвлеченные логические доводы, а на свой собственный и, как правило, довольно богатый опыт реконструкции тех или иных элементов или комплексов древнеславянской культуры.

Опубликованные ответы показали, что в вопроснике в целом правильно выделен круг наиболее актуальной для современного состояния науки проблематики. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание читателей на общетеоретическое значение вопросника, не ограниченное древнеславянской культурой. Он нацеливает на выработку оптимально надежной методики ретроспективного изучения этнокультурных процессов вообще, продвижения от поздних слоев традиционной культуры к ее максимально раннему состоянию, соответствующему ранним этническим общностям, предшествовавшим целым группам современных народов, сохранившим в поздней традиции «память» о своем родстве.

Опубликованные ответы представляют интерес также и в некоторых других отношениях. Во-первых, они отражают те подходы и позиции, которые сложились в различных дисциплинах по отношению к поставленным проблемам, во-вторых, еще раз свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к изучению и реконструкции древней славянской (и, вероятно, не только славянской) духовной культуры, об интердисциплинарном характере науки о славянских древностях. Как и следовало ожидать, ответы на вопросы анкеты выявили и ряд спорных положений и предпосылок, дискуссионность которых обнаруживается не только при столкновении мнений представителей разных специальностей, но и в высказываниях ученых одного научного профиля.

Естественно, что авторы ответов по-разному оценивают возможности и перспективы реконструкции древней славянской духовной культуры. Одни считают принципиально возможной реконструкцию праславянской

духовной культуры в общих чертах, подобную реконструкциям праславянского языка (Н. И. и С. М. Толстые, В. В. Иванов, В. В. Седов), другие — лишь восстановление отдельных фрагментов или звеньев древнеславянской (праславянской) культуры (О. А. Терновская, А. В. Гура); наконец, третьи разграничивают задачи реконструкции системы древней культуры и культурных (обрядовых, мифологических) текстов (А. К. Байбурин).

По-разному оцениваются также значение и роль лингвистических методов реконструкции, точнее методов реконструкции, выработанных современной лингвистикой, но являющихся не специфически лингвистическими, а скорее, общелогическими или семиотическими. Если одни авторы ответов (Н. И. и С. М. Толстые), опять-таки занимая в каком-то отношении крайние позиции, считают эти методы полностью применимыми к этнокультурному материалу, то другие выступают с большей осторожностью и предостерегают против прямого перенесения методов языковой реконструкции на материал духовной культуры. Тем не менее ценность ретроспективного лингвистического подхода и особенно роль языкового материала при реконструкции славянской духовной культуры не отрицаются никем из фольклористов, этнографов и археологов. А. К. Байбурин с полным основанием еще раз подчеркивает особую роль языка в системе семиотических средств человеческого коллектива.

Целесообразность комплексного подхода к явлениям духовной культуры признается почти всеми авторами ответов. При этом, однако, указывается на важность распределения «обязанностей» и материала между отдельными дисциплинами для более четкой «стыковки» этих дисциплин и выработки принципов соотнесения результатов (В. Е. Гусев, А. К. Байбурин и др.).

Большинство участников дискуссии признают важную роль ареальных исследований и культурно-географического подхода при реконструкции древнего этнокультурного состояния славян (И. А. Дзедзелевский, О. А. Терновская и А. В. Гура, Н. И. и С. М. Толстые). Впрочем, и в отношении ареальных показателей проявляется известный скептицизм (Ю. И. Смирнов), что можно объяснить отсутствием серьезных попыток картографирования элементов славянского фольклора при очень больших достижениях и разнообразных формах картографирования славянских языков и диалектов.

В заключение подчеркнем, что понятие «славянские древности» в филологическом и этнографическом смысле не имеет еще однозначного истолкования в среде ученых разных специальностей. Оно более стабильно в археологии и связано с определением конкретных археологических культур, имеющих по сравнению с фольклором, мифологией и обрядностью довольно точную датировку и географическую привязанность. Это же относится и к истории, где оно связано с конкретными источниками (Э. А. Рикман). Поэтому предстоит нелегкая задача филологического и этнографического уточнения этого понятия, соотнесения его с понятием историко-археологическим и даже поиска путей «интеграции» значения этого понятия» (В. Е. Гусев), что, вероятно, принесет положительные результаты. Очень важно также достигнуть единого представления о хронологии «славянских древностей» (В. Е. Гусев).

Идея использования отдельных зон современной Славии в качестве «модели праславянского существования» встретила весьма критическое отношение со стороны некоторых ответивших на вопросник (А. К. Смольская, Н. И. Зубов, Ю. И. Смирнов), хотя и высказывалось мнение, что «любая географическая зона, в прошлом относительно свободная от влияния городской цивилизации, может служить моделью прасуществования» (О. А. Терновская и А. В. Гура). Очевидно, авторам анкеты следовало разъяснить подробнее, что они понимают под «моделью праславянского существования» и какая степень абстрагирования при этом допускается для современного и древнего периода.

Ю. Д. Анчабадзе

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В ТРУДАХ Ф. И. ЛЕОНТОВИЧА

Федор Иванович Леонтович был одним из виднейших представителей русского обществознания второй половины XIX в. В летопись отечественной науки он вошел прежде всего как историк русского права. Однако широта исследовательских интересов и разносторонность знаний позволили Ф. И. Леонтовичу внести вклад и в ряд смежных областей науки, в частности в этнографию, в тот ее раздел, который в последнее время стали обозначать как юридическая или нормативная этнография¹. Данное обстоятельство делает весьма желательной попытку рассмотреть эту сторону творческого наследия Ф. И. Леонтовича, особенно в связи с исполнившимся недавно 150-летием со дня рождения ученого.

Ф. И. Леонтович родился в 1833 г. в с. Поповке, Конотопского уезда, Черниговской губернии. Отказавшись от духовной карьеры, которую в свое время выбрал его отец, Ф. И. Леонтович поступил на юридический факультет Киевского университета, который окончил в 1860 г. Преподавательская деятельность Ф. И. Леонтовича началась здесь же, в родном университете, где он сначала читал курс лекций по уголовному праву, а затем специализировался по истории русского права. К киевскому периоду относятся и его первые научные опыты. Еще за студенческое сочинение «История постановлений о крепостном состоянии в России во второй четверти XVIII в.» он был награжден золотой медалью, а в 1863 г., уже будучи преподавателем, защитил магистерскую диссертацию «Историко-юридическое исследование о правах литовско-русских евреев»². В 1865 г. Ф. И. Леонтович переходит в Новороссийский (Одесский) университет, в котором проработал более двух десятков лет, исполняя в разные годы обязанности ректора, декана юридического факультета, проректора. По воспоминаниям одного из студентов, его лекции пользовались большой популярностью у учащейся молодежи, как, впрочем, и сам профессор, «к сердцу которого всегда можно было найти дорогу прямым и откровенным к нему обращением»³. В 1892 г. Ф. И. Леонтович занял кафедру истории русского права в Варшавском университете, откуда вышел в отставку в 1902 г. Умер он в 1911 г. в Кисловодске⁴.

Будущее направление научной деятельности Ф. И. Леонтовича определилось еще на университетской скамье. Здесь его учителем был Н. Д. Иванишев — известный русский ученый, который фактически первым заговорил о необходимости для историка русского права сравнительного изучения истории законодательств других славянских народов.

¹ *Перишц А. И.* Проблемы нормативной этнографии. — В кн.: Исследования по общей этнографии. М.: Наука, 1979.

² Диссертация опубликована в «Киевских университетских известиях», 1864, № 3, 4.

³ *Маркевич А. В.* Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета. — Зап. имп. Новороссийского ун-та (далее — ЗНУ). Одесса, 1890, т. 53, с. 487.

⁴ Подробнее о биографии Ф. И. Леонтовича см.: *Иконников В. С.* Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира. Киев, 1884; *Есипов В. В.* Материалы к истории императорского Варшавского университета. Биографические очерки. Варшава, 1913; *Тарановский Ф. В.* Ф. И. Леонтович. Некролог. — Юридические записки. Ярославль, 1911, 1 (7).

Ф. И. Леонтович выступил продолжателем дела Н. Д. Иванишева, причем первый шаг в этом направлении он сделал уже в самом начале своей научной деятельности, когда обратился к сравнительному анализу Русской Правды и Полицкого статута с целью выяснить значение встречающегося в обоих памятниках термина «вервь»⁵. К тому времени вопрос о верви в русской науке не был до конца выяснен. Взгляды исследователей, основанные на комментариях немногочисленных и порой туманных отрывков из Русской Правды, представляли по существу лишь сумму взаимоисключающих догадок и предположений, поэтому новая попытка решить эту проблему была вполне правомерной.

По мнению Ф. И. Леонтовича, в обоих памятниках речь идет об идентичном социальном институте, который при ближайшем рассмотрении обнаруживает полную аналогию с известной по позднейшим этнографическим материалам задругой — большесемейной организацией югославянских народов. Вервно-задружное устройство, по мысли Ф. И. Леонтовича, искони было присуще древнему славянскому быту. Отсюда его критика точки зрения ряда ученых, искавших неславянские, в частности норманские, корни древнерусской верви. В целом точка зрения Ф. И. Леонтовича на природу верви была неверна⁶. Однако, привлекая к исследованию наряду со статьями Русской Правды данные Полицкого статута, он опирался, таким образом на значительно более широкую источниковую базу, чем его предшественники. Уже одно это сделало выступление Ф. И. Леонтовича заметным событием в науке.

В дальнейшем Ф. И. Леонтович продолжил свои изыскания в области сравнительного правоведения. Прежде всего он попытался определить круг источников и исследований по этой проблематике⁷, изучил государственное устройство средневекового Дубровника, в котором, несмотря на значительное влияние венецианского права, нашел немало порядков и учреждений чисто славянского происхождения⁸, провел сравнительное изучение древних законодательных памятников южнославянских народов⁹. В последней работе, защищенной в качестве докторской диссертации, Ф. И. Леонтович пришел к выводу, что многочисленные правовые памятники славянских общин Адриатического побережья в значительной мере основаны на обычно-правовых нормах, которые, таким образом, послужили важнейшим источником для законодателя.

В 1870-х годах Ф. И. Леонтович принял участие в дискуссии об общественном устройстве древнерусских племен в эпоху, непосредственно предшествовавшую образованию государства. В современной ему историографии этот вопрос решался по-разному. И. Ф. Г. Эверс, С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин и др. считали, что в основе общественной организации славян этого периода лежали устои родового быта. К. С. Аксаков, И. Д. Беляев, В. Н. Лешков и другие приверженцы славянофильства утверждали, что для первых веков русской истории было характерно территориально-общинное устройство. Ф. И. Леонтович выдвинул теорию задружно-общинного быта у древнерусских племен¹⁰.

Ф. И. Леонтович считал, что каждый народ в своем развитии проходит три стадии. Первой стадии развития соответствует родовое устройство быта. По мнению Ф. И. Леонтовича, «род — эмбриологическая ступень общежития» — представлял собой замкнутый, недоступный для чужаков

⁵ Леонтович Ф. И. О значении верви по Русской правде и Полицкому статуту сравнительно с задругой юго-западных славян. — Журн. Министерства народного просвещения (далее — ЖМНП), 1867, апрель.

⁶ Наиболее аргументированной представляется точка зрения на вервь как на территориальную общину. См., напр.: Греков Б. Д. Большая семья и вервь Русской Правды и Полицкого статута. — Греков Б. Д. Избранные труды. Т. 2. М., 1959.

⁷ Леонтович Ф. И. Указатель источников и исследований по истории славянских законодательств — ЖМНП, 1867, август.

⁸ Леонтович Ф. И. Государственное устройство старого Дубровника. — ЖМНП, 1867, декабрь.

⁹ Леонтович Ф. И. Древнее хорватско-долматское законодательство. — ЗНУ, Одесса, 1868, т. 1, в. 3, 4.

¹⁰ Леонтович Ф. И. Задружно-общинный характер политического быта древней России. — ЖМНП, 1874, июнь, июль, август.

жаков союз кровных родственников, единство которого основано на общности происхождения всех его членов. Роды находятся в постоянном движении, ведут «бродячий, номадный, стадный» образ жизни. Отличительной чертой родового устройства является его «военно-дружинный» характер. По существу, род — это военная дружина, которая добывает средства существования, совершая хищнические набеги на соседей.

Однако с численным ростом племен начинают обнаруживаться неудобства кочевого образа жизни: становится труднее добывать средства к существованию, учащаются военные столкновения с соседями. Вследствие этих причин на смену родовому быту приходит общинное устройство, что, по схеме Ф. И. Леонтовича, соответствует второй стадии исторического развития. На этой стадии племена переходят от кочевого образа жизни к оседлости, после чего начинается «колонизация», т. е. «территориальное, географическое нарастание и укоренение народа». Однако осев на разных территориях, отдельные части племени теряют сознание единства своего происхождения, и теперь в качестве связующего начала выступает не идея кровно-родственных связей, а территориальная общность, единство хозяйственной жизни и социальных условий.

Основной общественной единицей этого периода является семейная община — задруга. Процесс ее образования Ф. И. Леонтович представлял следующим образом. После перехода к оседлости из родов начали выделяться отдельные семьи, которые и стали зародышами задруг. Последние постепенно разрастались, порой принимая в свой состав даже чужеродцев, но члены их продолжали жить вместе, «как в силу экономических условий — целесообразности и выгоды труда общими силами, так и в силу условий социальных — ради самозащиты». В дальнейшем в соответствии с «общими бытовыми интересами» задруги объединялись в более обширные союзы чисто территориального характера — починок, деревня, село, посад, город. Затем вследствие разрастания этих союзов возникают более высокие формы общинной жизни народа — общины волостные, земельные — жупа, земля, волость. Усложнение внутренней жизни общин сделало необходимым появление особых лиц — «нарядников», которые должны были окончательно завершить дело «колонизации» и упорядочения общинной жизни. Таковыми нарядниками оказались Рюриковичи на Руси, Пясты в Польше, Неманичи у югославянских народов. Деятельность князей-нарядников подготовила почву для перехода народа в третью стадию развития — государственную.

Таким образом, по Ф. И. Леонтовичу, ко времени образования у восточных славян государства родовой быт был давно прошедшим этапом их исторического развития, а общественное устройство основывалось на началах задружно-общинной организации.

При всей спорности теории Ф. И. Леонтовича, уязвимость которой была очевидна уже для современников, она оставила глубокий след в русской историографии. Его точка зрения была поддержана такими видными учеными, как К. Н. Бестужев-Рюмин, А. Я. Ефименко и др. Задружно-общинная теория получила определенное признание и у югославянских историков, пытавшихся применить ее для объяснения некоторых особенностей местного быта.

Большое место в научном наследии Ф. И. Леонтовича занимают исследования обычного права. Обращение к этой проблеме не было для него случайностью. С одной стороны, изучая раннюю историю славянских законодательств было невозможно не обратиться к их важнейшему источнику; с другой — изыскания Ф. И. Леонтовича в этом направлении шли в русле общего академического интереса к проблемам происхождения обычного права, его сущности и роли в современной крестьянской действительности, который был характерен для русской историко-правовой науки во второй половине XIX в.¹¹ Ф. И. Леонтович верно указывал

¹¹ Токарев С. А. История русской этнографии (Доктябрьский период). М.: Наука, 1966, с. 287—292; Александров В. А. Обычное право в отечественной науке XIX — начала XX в. — Вопросы истории, 1981, № 11.

на причины этого интереса. Одна из них заключалась в том, что обычное право принадлежало «к наименее выясненным и разработанным научным дисциплинам»¹². Однако помимо чисто научной значимости, у указанной проблемы было и прикладное значение, так как «правовые обычаи... имеют немаловажное практическое значение и силу в современной правовой жизни народа»¹³.

В ряде своих работ Ф. И. Леонтович обращался к вопросу о генезисе обычного права¹⁴. К тому времени этот вопрос был не нов. Исходя из различных теоретических посылок, его пытались решить многие исследователи, вследствие чего в литературе царил предельный разноречивый. Одно время чрезвычайно популярной была теория происхождения обычного права, основанная на воззрениях исторической школы немецких юристов, особенно на взглядах крупнейшего ее представителя — Пухты. По мнению Пухты, присущие каждому народу обычно-правовые нормы являются производными от некоего «народного духа». Образование и развитие обычного права есть не что иное, как постепенное раскрытие имманентно присущих народному духу принципов, а обычай является лишь формой их выражения. Обычай существует постольку, поскольку в народном духе уже до практики заложена соответствующая норма¹⁵.

Учение Пухты оказало заметное влияние на взгляды многих русских ученых, которые по существу развивали его точку зрения. Так, Н. П. Загоскин считал, что нормы обычного права, «вытекающие непосредственно из склада народного духа, из народного мировоззрения, живут в сознании народа, освященные продолжительным и однообразным применением своим к тем или иным отношениям действительной жизни»¹⁶. По мнению С. Шпилевского, «первичное право есть нечто неотъемлемое от духа народа, нечто данное народу, как язык»¹⁷.

С другой стороны, В. Сергеевич высказывал иную точку зрения. Обычное право он выводил из «индивидуального убеждения, проявляющегося в действиях отдельных лиц». В основе этого индивидуального убеждения — «личный интерес, личное усмотрение о том, что должно быть при данных условиях, а не отвлеченная идея правды или справедливости». Инертная сила обыкновения заставляет остальную массу пассивно подражать действиям «передовых людей». Постепенно слагается убеждение в необходимости всем действовать именно так, а не иначе. С этого времени возникает «повальный обычай»¹⁸.

Другой видный представитель русской науки XIX в. — М. Ф. Владимирский-Буданов имел свою точку зрения на процесс образования обычного права. «Первоисточник права, — считал он, — есть природа человека (физическая и моральная), подчиненная таким же законам, как и природа органическая и неорганическая». Будучи последовательным в своих воззрениях, М. Ф. Владимирский-Буданов выводил первые обычные нормы из инстинктов, оставшихся человеку в наследство от животных предков. Именно под этим углом зрения он рассматривает, например, обычай кровной мести. Однако на дальнейшем этапе развития обычное право «про-

¹² Леонтович Ф. И. Заметки о разработке обычного права. — ЖМНП, 1879, июль, с. 113.

¹³ Там же.

¹⁴ Следует отметить, что Ф. И. Леонтович разделял присущий науке его времени взгляд на обычное право как на существовавшее всегда. Между тем советская наука отрицает существование какой бы то ни было формы права в догосударственном обществе, социальная жизнь которого определялась обычаями, мононормами, и считает, что обычное право возникает лишь тогда, когда формирующееся или сформировавшееся государство санкционирует существующие обычаи, придает им юридическую силу. См. об этом: Першиц А. И. Указ. раб.; Сеницина И. Е. Обычай и обычное право в современной Африке. М.: Наука, 1978.

¹⁵ Новгородцев П. Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба. М., 1896, с. 104, 111.

¹⁶ Загоскин Н. П. История права русского народа. Казань, 1899, с. 185.

¹⁷ Шпилевский С. Об источниках русского права в связи с развитием государства до Петра I. — Уч. зап. Казанского ун-та по отд. историко-филологических и политико-юридических наук. В. II. Казань, 1862, с. 258.

¹⁸ Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1910, с. 9—11.

няется сознанием..., превращаясь из явления природы в действительность»¹⁹.

Ф. И. Леонтович в целом поддерживал теорию М. Ф. Владимирского-Буданова, но в значительной мере конкретизировал его несколько туманную формулировку. Так, Ф. И. Леонтович считал, что социальные нормы зарождаются под влиянием триады независимых от индивидуальной воли условий. Первое из них — внешняя среда обитания человека, т. е. природно-климатические условия, которые несомненно оказывали существенное влияние на все параметры первоначального человеческого общества. Второе условие — природа самого человека (вероятно, Ф. И. Леонтович имел в виду, что возникновение и накопление социальных черт в поведении людей прямо связано с эволюционным развитием анатомо-физиологических возможностей человеческого организма). В качестве третьего детерминанта назывались «условия людского общежития». Это весьма знаменательное утверждение, которое показывает, что Ф. И. Леонтович, несомненно, учитывал качественное различие между человеческим коллективом и стадным сообществом животных. Возводя вслед за М. Ф. Владимирским-Будановым генезис социальных норм к животным инстинктам, Ф. И. Леонтович вместе с тем понимал, что их дальнейшее развитие происходило уже в условиях «людского общежития», т. е. в принципиально новых условиях социальной практики, возникшей вместе с появлением человека²⁰. Поэтому, как бы ни была примитивна социальная организация человеческих коллективов, внутренние отношения его членов уже регулируются известными обычаями. Он писал: «...где только люди ведут совместную жизнь, там непременно есть и обычай, ведется ли эта жизнь в формах примитивной культуры звероловного быта, или в формах более развитого и организованного общежития людей»²¹.

С этой точки зрения, Ф. И. Леонтович критиковал, например, В. И. Сергеевича, утверждавшего, что в «начальной истории права каждого общества надо предполагать великую безурядицу»²². Истоки подобного заблуждения Ф. И. Леонтович видел в том, что на начальных этапах социальной истории человечества исследователи смотрели предвзято, неправомерно сопоставляя их с позднейшими эпохами исторического развития. Вследствие этого любое отклонение от кажущейся нормы представлялось хаосом, «великой безурядицей». Между тем сам Ф. И. Леонтович считал, что складывавшиеся уже в первичных человеческих коллективах формы социальной регуляции полностью отвечали специфике начальных этапов исторического развития. В пылу полемики он даже высказал мысль, что обычное право по своей сути «более правильное, чем все позднейшие законные правила и уставы», и, как он говорил, «никогда не могло стоять в таком противоречии с создавшей его жизнью, какое нередко замечается в истории законодательства». Отсутствие же противоречия между жизнью и обычным правом, органическая их связь и солидарность и составляют... первый и главный признак правильности старых порядков и учреждений, целиком коренившихся в народном обычае»²³. Вследствие этого здесь не могло быть произвола отдельных личностей, частное усмотрение не творило обычай, а слабый не подчинялся сильному — представление, безусловно, несколько идеализированное. Однако нельзя не признать, что исследовательская интуиция не подвела Ф. И. Леонтовича. Сейчас общепризнано, что даже в праобщине гоминид, как бы часто там ни возникали вспышки асоциального поведения, — а многочисленные следы прижизненных травматических повреждений на эндокранах некоторые исследователи объясняют именно этим, — социальное в значительной степени уравнивало биологическое, не

¹⁹ Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. СПб., 1907, с. 88.

²⁰ Леонтович Ф. И. Старый земский обычай. Одесса, 1889, с. 21.

²¹ Там же, с. 23.

²² Сергеевич В. Указ. раб., с. 13.

²³ Леонтович Ф. И. Задружно-общинный характер политического быта древней России. — ЖМНП. 1874, июль, с. 123.

говоря уже о родовом строе с его основанной на коммуналистских началах жесткой нормативной регламентацией.

Ф. И. Леонтович пытался очертить круг источников для изучения генезиса и стадий развития обычного права. Он считал, что прежде всего нужно обращать внимание на его «манипулятивные» формы. При этом он пытался выстроить некую схему стадийного развития обычного права, в которой «манипулятивные» формы относились к низшей, «первичной», по выражению ученого, эпохе развития общества. На этом этапе, считал он, внешнее выражение обычных норм осуществляется не словесно, а при помощи манипуляций — мимикой, движением рук, всем понятными обрядами и ритуалами. Таковы были обряд «покоры», совершавшийся над убийцей в случае его примирения с родичами убитого, обряд «рукобитья» — символ заключения договора, обряд «смещения крови» — символ побратимства и др. Сохранившись в качестве полнокровно функционировавших реалий в позднейшем быту, они, по мысли Ф. И. Леонтовича, являлись важнейшим источником для реконструкции начальных этапов истории общеправовых норм²⁴.

По вышеупомянутой схеме Ф. И. Леонтовича, вторая стадия развития обычного права характеризуется тем, что ранее бессловесные «манипулятивные» символы и действия постепенно приобретают вербальное выражение в виде кратких афористических изречений, пословиц и т. д. Отражая словесно соответствующую манипуляцию, они, в конечном итоге, закреплялись и далее применялись в строго определенных случаях, в частности «особо приурочивались к процессуальным действиям». Ф. И. Леонтович отмечает, что в первых законодательных памятниках, например в Русской Правде, Псковской судной грамоте и др., которые по существу лишь кодифицировали действовавшие обычные нормы, ряд статей выражался в однообразных формулах, восходящих, несомненно, к древним пословицам и поговоркам. По всей вероятности, законодателью не нужно было искать иную терминологию, поскольку указанные фразеологизмы наиболее полно и недвусмысленно отражали сложившуюся юридическую практику. Поэтому в качестве одного из основных источников изучения обычного права Ф. И. Леонтович называл «юридические» пословицы и поговорки, в которых еще сохранились прямые указания на институты глубокой старины²⁵.

В трудах ученого приведены многочисленные примеры этого рода. В частности, в пословице — «Мертвый у ворот не стоит, а свое возьмет» — он видит воспоминание о «дикой вире», которую некогда выплачивал убийца родичам убитого. Практика решения судебных дел при помощи ордалий отразилась в пословицах — «Железа и змея боится», «Правда тяжеле золота, а на воде всплывает». О решении тяжбы посредством судебного поединка гласит пословица — «В поле две воли, кому бог поможет» и т. д. Всего Ф. И. Леонтовичем было собрано около 170 пословиц и поговорок, так или иначе связанных с нормами обычного права.

Немало ценных сведений о функционировании обычного права, считал Ф. И. Леонтович, можно почерпнуть и в других жанрах устного народного творчества. В данном случае он имел в виду былины, вешбы, песни, мифы, которые содержат немало указаний на формы древнейшего быта, и в частности на историю обычного права²⁶. Правда, в своих работах Ф. И. Леонтович в качестве классического примера часто приводил позднее скомпрометировавшую себя Краледворскую рукопись, однако привлечение для поставленной цели цикла древнерусских былин, старинных сербских песен, собранных Вуком Караджичем, и других фольклорных памятников вполне обоснованно.

Большое внимание Ф. И. Леонтович уделял данным языкознания, которые, по его мнению, во многом могут объяснить сущность бытовавших в прошлом институтов. «Историк-юрист, — писал он, — не в праве об-

²⁴ Леонтович Ф. И. Старый земский обычай, с. 28—29.

²⁵ Там же, с. 32—33.

²⁶ Там же, с. 37—39. Об источниках изучения обычного права см. также: Леонтович Ф. И. История русского права. Одесса, 1869, с. 89—100.

ходиться без помощи филологии. Введение в историю права главнейших выводов, добытых историей языка и сравнительным языкознанием, без всякого сомнения, должно привести к плодотворным результатам, особенно в деле разъяснения вопроса об исходных моментах в истории права данного народа»²⁷. Наиболее плодотворным в этой связи ему представлялось изучение терминологии родства — обширного круга, как он называл «родственных и семейных названий». Однако в целом лингвистические источники Ф. И. Леонтович расценивал как вспомогательные, которые обязательно должны подкрепляться данными смежных областей знаний.

Касаясь методов изучения обычного права, Ф. И. Леонтович определенное значение придавал полевым этнографическим исследованиям, наблюдениям над «живой действительностью». Еще один возможный источник получения полноценной информации по этому кругу проблем, отмеченный им, — многочисленные архивные фонды. «Наши этнографы и юристы, — писал он, — ...оказали бы истинную услугу науке..., если бы хоть между прочим заглядывали и в старые архивы и оттуда извлекали данные, прямо относящиеся к народному быту»²⁸. Этот призыв звучит актуально и в наши дни.

Особый интерес представляют изданные и комментированные Ф. И. Леонтовичем записи обычного права народов южных окраин Российской империи. Первым по времени было издание записей обычного права калмыков²⁹. Правда, некоторые записи ранее не раз публиковались, однако научный уровень этих изданий оставлял желать лучшего. Ф. И. Леонтович первым дал строго проверенный критический текст. Анализируя сущность социальных институтов, отраженных в уставе и уложении, он смог представить развернутую картину общественного быта калмыков в весьма знаменательный период их истории³⁰.

Еще более ценным в научном отношении оказалось изучение Ф. И. Леонтовичем обычного права народов Кавказа, результатом чего было появление его известной публикации «Адаты кавказских горцев»³¹. Толчком, побудившим исследователя заняться этим материалом, было чисто случайное обстоятельство. В архиве Новороссийского университета хранились две объемистые рукописные папки с записями обычно-правовых норм ряда кавказских народов. Это был результат предпринятой царской администрацией в 40—60-х годах прошлого века работы по фиксации адатных норм, действовавших в крае. Причина, заставившая местные власти заняться этим делом, была весьма далека от научных интересов и диктовалась чисто практическими соображениями. Водворившись на Кавказе, царские власти столкнулись с известным дуализмом местной жизни, обусловленным параллельным функционированием в среде горского населения двух нормативных комплексов — адата, с одной стороны, и шариата, с другой. Трудности царской администрации усугублялись еще и тем, что она не имела точного представления ни об одном из них, поэтому возникла настоятельная необходимость познакомиться как с адатом, так и с шариатом.

Инициатором в данном случае выступил крупный кавказский чиновник, полковник Биби́ков, в своих рапортах вышестоящему начальству предлагавший «книги шариата перевести с арабского на русский [язык], а правила адата, известные у [горцев] по одним лишь преданиям, собрать для составления сколько возможно более полного из них свода»³². Биби́ков даже разработал программу сбора этих сведений. Предложе-

²⁷ Леонтович Ф. И. Старый земский обычай, с. 30.

²⁸ Леонтович Ф. И. К истории права русских инородцев. Древний монголо-калмыцкий или ойратский устав взысканий (Цааджин-Бичик). Одесса, 1879, с. 37.

²⁹ Леонтович Ф. И. К истории права русских инородцев; его же. К истории права русских инородцев. Калмыцкое право. Ч. I. Уложение 1822 г. Одесса, 1880.

³⁰ Авалиани С. Заслуги Ф. И. Леонтовича в изучении обычного права русских инородцев. — Журн. Министерства юстиции, 1911, № 6.

³¹ Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа. В. I, II, Одесса, 1882—1883.

³² Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев, в. I, с. 88.

Библиография сразу был дан ход, причем перед исполнителями были поставлены довольно сжатые сроки. Следует отметить, что к порученному им делу военные чиновники подошли с пониманием его важности и необходимости. В штаб командующего войсками стали стекаться рукописи, в которых были зафиксированы сведения, добытые при непосредственных расспросах местных жителей³³. Правда, сборники адатов так никогда и не стали практическим руководством для представителей администрации, действовавших на местах, осев мертвым грузом в войсковых архивах. Последующая судьба папок такова. Каким-то образом они попали к секретарю Ставропольского статистического комитета И. В. Бентковскому. Последний, оценив их научное значение, передал рукописи в дар Новороссийскому университету. Здесь на них и обратил внимание Ф. И. Леонтович.

М. О. Косвен, давая общую характеристику этому труду Ф. И. Леонтовича, указал на ряд недочетов, которые в нем содержатся. Тем не менее он считал, что это издание является «ценнейшей публикацией материала» и «важным источником для изучения общественного строя и обычного права народов Кавказа»³⁴. Уже одно это дает издателю «Адатов кавказских горцев» право занять почетное место в истории отечественного кавказоведения.

Прежде всего, своей публикацией Ф. И. Леонтович вводил в научный оборот массу действительно ценнейшего материала, отныне ставшего доступным исследователям, тем более, что до этого горские адаты издавались лишь в минимальной степени. Сам издатель в полной мере понимал всю важность предпринятой им работы. Он указывал, что публикуемые материалы важны для изучения такого малоразработанного вопроса, как обычное право населения многонационального Кавказа. С другой стороны, Ф. И. Леонтович считал, что они представляют существенный интерес и при проведении широких историко-сравнительных исследований. «В обычном праве кавказских горцев,— писал он в предисловии к „Адатам“, ...сохранилось не мало институтов глубокой старины, по своему происхождению и характеру принадлежащих к таким явлениям общественной культуры, которые на первых порах встречались в истории всех народов»³⁵.

Ф. И. Леонтович оказался прав в своих воззрениях на научное значение материалов по обычному праву народов Кавказа. Изучая кавказский историко-этнографический материал, и в частности обычное право, наиболее видные представители русской науки XIX в. сделали замечательные открытия, во многом обогатившие представления о ранних ступенях человеческой истории. Тогда же эти работы были замечены и высоко оценены классиками марксизма. В частности, Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», говоря о роде и его распространенности у разных народов мира, подчеркнул: «Недавно М. Ковалевский обнаружил и описал его у пшавов, хевсуров, сванов и других кавказских племен»³⁶.

Ф. И. Леонтович выступил не просто издателем записей адатов народов Кавказа. В предисловии к книге, обширном предметном указателе с комментариями, он дал первую попытку интерпретации публикуемого материала. Некоторые его наблюдения весьма интересны.

Давая общую оценку уровню социально-экономического развития горских народов Кавказа, Ф. И. Леонтович отмечал, что они находятся

³³ Подробнее о собирании адатов см.: Косвен М. О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке.— Кавказский этнографический сборник (далее — КЭС). I. М.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 340—345.

³⁴ Косвен М. О. Указ. раб.— КЭС, III. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 186.

³⁵ Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев, в. I, с. 2.

³⁶ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 130. Следует, однако, заметить, что на родовую организацию у горских народов Кавказа русская наука обратила внимание еще задолго до М. М. Ковалевского. См. раздел: «Проблема общественного строя народов Кавказа в ранней русской этнографии» в кн.: Косвен М. О. Этнография и история Кавказа. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

«на переходной ступени от кочевого к оседло-общинному быту»³⁷. Несколько расплывчатая на первый взгляд формулировка прояснится, если вспомнить общен исторические взгляды Ф. И. Леонтовича, о которых говорилось выше при изложении его задружно-общинной теории. Кочевой быт Ф. И. Леонтович считал характерной чертой родового устройства, которое на следующем этапе развития сменяется общиной и основанными на ней качественно новыми порядками социальной жизни. И далее Ф. И. Леонтович фиксирует повсеместное распространение на Кавказе сельскообщинной организации («джамаат»), которая, как он замечает, резко отличается от рода («тухум»). Иными словами, указывая на переходный характер социально-экономической структуры кавказских обществ, Ф. И. Леонтович не поддержал распространенный в историко-этнографической литературе того времени взгляд на Горный Кавказ, как на классическую страну родового строя. Вместе с тем Ф. И. Леонтовичу не удалось осознать того, что и эта переходная ступень была уже пройденным этапом социально-экономического развития местных обществ, которые к середине XIX в. находились на более высоком формационном уровне³⁸.

В «Адатах» Ф. И. Леонтович неоднократно указывал, что пережитки родового быта еще чрезвычайно сильны в жизни кавказских народов. Этот факт, естественно, нашел отражение и в нормах обычного права. В них сохранилось немало данных, «относящихся к вопросу об „архаических формах” горского быта кавказцев»³⁹. Акцентирование этого обстоятельства дало возможность Ф. И. Леонтовичу еще раз подчеркнуть важность обращения исследователей к материалам по обычному праву народов Кавказа в «интересах выяснения общих, коренных законов развития правовых идей и институтов»⁴⁰.

Вместе с тем Ф. И. Леонтович указывал, что горские адаты весьма чувствительны к окружающим условиям, чутко реагируют на соответствующие социальные потребности и в целом являются прямым и непосредственным отражением жизни, местных особенностей быта⁴¹. Отсюда поразительное разнообразие вариантов адатов, их «партикуляризм».

Далее Ф. И. Леонтович подробно рассматривает источники и механизм адатоворчества — третейские суды и общинные сходы, на которых принимались решения, закреплявшиеся позднее практикой в качестве обычая⁴². Он обращает внимание на изменение кавказских народных адатов под влиянием шариата и русского законодательства⁴³, указывает на малоэффективность решительного упразднения горских адатных судов и введения норм русского уголовного права⁴⁴.

Соприкоснувшись с кавказским историко-этнографическим материалом, Ф. И. Леонтович, видимо, заинтересовался им и продолжил свои изыскания. Этим мы обязаны появлению его любопытного труда «О кавдасардах и детях боярских»⁴⁵, с которым он выступил на VI Археологическом съезде в Одессе. Ф. И. Леонтович обратил внимание на своеобразное положение одной социальной прослойки в древнерусском обществе, которая известна в летописях под именем «отроков» или «чади», а в московский период русской истории как «дети боярские». Судя по

³⁷ Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев, в. I, с. 3.

³⁸ Анчабадзе З. В., Робакидзе А. И. К вопросу о природе кавказского горского феодализма. — «Иберийско-кавказское языкознание». XVIII. Тбилиси, 1973; Меликишвили Г. А. К вопросу о характере древних закавказских и средневековых горских северокавказских классовых обществ. — История СССР, 1975, № 6; Робакидзе А. И. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе. — Сов. этнография, 1978, № 2; Виноградов В. Б. Генезис феодализма на Центральном Кавказе. — Вопросы истории, 1981, № 1.

³⁹ Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев, в. I, с. 4.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Считать, что нормы обычного права являются зеркальным отражением социального бытия не совсем верно. Они всегда от него немного отстают.

⁴² Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев, в. I, с. 7—13.

⁴³ Там же, с. 27—38.

⁴⁴ Там же, с. 39.

⁴⁵ Леонтович Ф. И. О кавдасардах и детях боярских. — Рефераты заседаний VI Археологического съезда в Одессе. Одесса, 1884, с. 8—9.

источникам, лишь некоторые «дети боярские» приобретали социальный статус, присущий боярству со всеми его привилегиями и правами. Другая часть «детей боярских» оставалась в приниженном положении «отрочества». По мнению Ф. И. Леонтовича, все перечисленные категории были дети от неравных браков бояр с женщинами более «низкого» происхождения, «робьи дети». Для сравнения автор обратился к современной ему кавказской действительности. Он считал, что подтверждение его предположения является наличие в феодально-патриархальном осетинском обществе особой прослойки лиц, так называемых кавдасардо. Это были дети от связей представителей привилегированной осетинской верхушки — «алдаров» и «баделят» с наложницами «номылус». Кавдасарды никогда не достигали социального статуса отцов, оставаясь всю жизнь в приниженном, полурабском состоянии. В данном случае Ф. И. Леонтовичу не откажешь в остроумии и смелости сравнительных ассоциаций, однако — и это отмечали уже современники — обобщения автора не имеют за собой достаточного обоснования в русских источниках⁴⁶.

К кавказскому историко-этнографическому материалу Ф. И. Леонтович обращался и в дальнейшем. В частности, в своей работе «Школьное дело в Древней России»⁴⁷ он высказал мысль, что лица, известные списках Русской Правды как «кормильцы» и встречаемые позже в летописных сводах «дядьки», соответствуют аталыкам у кавказских народов. В XIX в. обычай аталычества имел весьма широкое распространение у горских народов Кавказа. По этому обычаю после рождения в знатной семье ребенка его отдавали на воспитание и полное содержание в другую семью, стоявшую, как правило, ниже по социальной лестнице. В этой семье воспитанник жил вплоть до совершеннолетия, после чего возвращался к родителям, которых зачастую только тогда впервые и видел. Живя уже в родительском доме, воспитанник сохранял самые тесные контакты и эмоциональную связь с воспитателем — аталыком и членами его семьи; как считалось, он был связан с ними узами молочного родства, которое фактически приравнялось к кровному. Вследствие этого аталыки всегда играли важную роль в жизни своих воспитанников, являясь, с одной стороны, их вассалами, а с другой, — названными родственниками, советчиками, верными помощниками в любом задуманном предприятии, наконец, мстителями за нанесенные им обиды.

По Ф. И. Леонтовичу, древнерусский обычай воспитания молодых княжичей и других отпрысков знатных боярских фамилий обязательно под руководством специально приставленных людей — «кормильцы «дядьки» — являлся полной аналогией кавказскому аталычеству. Причину возникновения этого обычая в Древней Руси Ф. И. Леонтович видел в том, что князю, редко бывавшему подолгу у семейного очага, некогда было самому заботиться о детях, поэтому он передавал их на воспитание ближайшим сподвижникам.

Позднейшие исследования выявили сущность аталычества как универсального института, восходящего своими корнями к эпохе родового строя и в значительно трансформированном виде продолжавшего играть важную и весьма своеобразную роль в условиях перехода к феодализму⁴⁸. В остальном догадка Ф. И. Леонтовича об идентичности кавказского аталычества и древнерусского кормильства полностью подтвердилась⁴⁹.

Таковы основные этнографические сюжеты, представленные в научном наследии Ф. И. Леонтовича. Как это ни парадоксально прозвучит

⁴⁶ Тарановский Ф. В. Указ. раб., с. 147.

⁴⁷ Леонтович Ф. И. Школьное дело в Древней России. — Варшавские университетские известия. Кн. V. Варшава, 1894.

⁴⁸ Косвен М. О. Аталычество. — Сов. этнография, 1935, № 2; Гарданов В. К. Аталычество. — IX МКАЭН (Чикаго, сентябрь, 1973). Доклады советской делегации. М.: Наука, 1973.

⁴⁹ Гарданов В. К. «Кормильство» в Древней Руси. — Сов. этнография, 1956, № см. также: Гарданов В. К. «Дядьки» Древней Руси. — Исторические записки. Т. 71. М. 1961.

но Ф. И. Леонтович, занимаясь этими вопросами, не считал, что он имеет дело с этнографической проблематикой. Так, изучение обычного права он целиком и полностью относил к прерогативам юриспруденции, и даже выговаривал другому известному исследователю — В. В. Богищичу за путаницу в этом вопросе⁵⁰. Тем не менее объективно Ф. И. Леонтович внес существенный вклад в этнографическую науку.

Ф. И. Леонтович с самого начала своей научной деятельности был активным приверженцем сравнительно-исторического метода исследования. Обширность и глубина знаний позволили ему свободно и легко оперировать материалом, относящимся к разным эпохам, странам и народам, проводить сравнения и находить аналогии между разделенными во времени и пространстве явлениями и фактами. При этом сравнительно-исторические приемы для Ф. И. Леонтовича никогда не являлись лишь самоцелью. Он прибегал к ним только для подкрепления строгой цепи собственных доказательств, никогда не доходя при этом до наукообразного жонглирования разнопорядковыми, но внешне похожими явлениями. Поэтому каждое его сравнение было оправдано, каждая аналогия логически подтверждала высказанную мысль. Другое дело, что сейчас, спустя почти 100 лет, можно усомниться в правомерности некоторых проводимых им параллелей. Однако это нисколько не умаляет значение тех принципов, которыми руководствовался ученый, никогда не отстаивавший абсолютную продуктивность сравнительно-исторического метода. Это полностью согласуется с современными воззрениями на эвристические возможности этого метода.

Трудно предполагать, что Ф. И. Леонтович был основательно знаком с трудами классиков марксизма. Однако полностью исключить такую возможность нельзя. В этом отношении весьма знаменательна его точка зрения на то, что «народная культура в своем поступательном движении, прежде всего и по преимуществу, подчиняется условиям экономической жизни народа, — условиям, которые... составляют самый ранний и самый могучий двигатель общественной жизни»⁵¹. Подход Ф. И. Леонтовича к рассмотрению историко-этнографического материала с таких позиций делает его взгляды для нас особенно интересными.

Вклад Ф. И. Леонтовича в науку, в частности в этнографию, должен оцениваться с позиций того времени, в которое он творил. Некоторые его положения не выдержали проверки временем или были значительно дополнены и уточнены последующим развитием наших знаний. Однако даже заблуждения крупного ученого достойны внимания, ибо в любом случае это плод масштабного осмысления материала, одна из ступеней в развитии науки. Но главные заслуги ученых измеряются, конечно, не их заблуждениями, а деятельностью, которая разрешив определенный круг вопросов, дает тем самым импульс для последующего развития научной мысли. В этом отношении Ф. И. Леонтович по праву занимает почетное место в истории отечественной науки.

⁵⁰ Леонтович Ф. И. Заметки о разработке обычного права, с. 130.

⁵¹ Леонтович Ф. И. Арийские основы общественного быта славян. Варшава, 1897, с. 4.

Е. А. Окладникова

КАЛИФОРНИЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ И. Г. ВОЗНЕСЕНСКОГО В МАЭ

Этнографические коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого АН СССР (МАЭ) в Ленинграде составляют славу не только музеев нашей страны, но и советской исторической науки в целом. Особой популярностью в МАЭ пользуются материалы его Американского отдела, которые были собраны в результате кропотливого и целеустремленного труда поколений русских исследователей¹.

Настоящая статья посвящена довольно крупной (296 предметов) калифорнийской коллекции № 570, носящей имя И. Г. Вознесенского. В нее входят вещи, привезенные из Калифорнии русскими путешественниками, учеными, моряками. Одни из них посетили Калифорнию в составе экипажей русских кораблей, совершавших кругосветные плавания (В. М. Головин), другие — в качестве служащих Российско-Американской компании (К. Т. Хлебников, Н. П. Резанов, Г. И. Лангсдорф). Первоначально эти вещи хранились в Русском Географическом обществе и Адмиралтейском департаменте, а позднее были переданы в МАЭ. Точная атрибуция предметов калифорнийских коллекций МАЭ, в частности определение их собирателей, пока далеки от завершения. Но уже теперь на основе анализа косвенных источников (рисунки М. Тиханова, записные книжки и дневники Г. И. Лангсдорфа, записки К. Т. Хлебникова) удалось выявить среди старых вещей коллекции № 570 категории предметов, которые гипотетически могут быть связаны с именами Г. И. Лангсдорфа (стрелы с овально подстриженным оперением, полученные у индейцев прибрежных мивок; номера в коллекции: 183, 185, 201 и др.), К. Т. Хлебникова (два плетенных из травы сосуда, принадлежащие индейцам чумаш Южной Калифорнии; № 85 и 113) и В. М. Головнина (боа из утиных перьев; № 10).

Большинство же предметов коллекции № 570 собрано И. Г. Вознесенским. Препаратор Зоологического музея Академии наук, И. Г. Вознесенский (1816—1871) был в 1839 г. командирован для сбора зоологических, ботанических и этнографических материалов в Русскую Америку, где пробыл до 1845 г. Результат его деятельности — великолепные коллекции, вызвавшие восторженные отклики современников, в частности акад. А. А. Штрауха. Он писал: «Богатство коллекций, собранных им во время десятилетнего пребывания в Российско-Американских владениях и на восточном берегу Сибири, превосходит всякое вероятие. Его коллекции принадлежат к разряду лучших вещей, когда-либо поступавших в музей...»².

Вошедшие в коллекцию № 570 этнографические предметы собраны И. Г. Вознесенским в Калифорнии в 1840—1841 гг. у индейцев мивок, прибрежных мивок, помо, костаньо и вину. Эти предметы в настоящее

¹ См. Кинжалов Р. В. К истории американских коллекций МАЭ. — В кн.: Традиционные культуры Северной Сибири и Северной Америки. М.: Наука, 1981, с. 270—280.

² Штраух А. А. Зоологический музей императорской Академии Наук. — Зап. имп. Академии Наук, Спб., 1890, № 3, с. 46.

время составляя основу своего рода «Красную книгу» по этнографии индейцев Калифорнии, ибо они уникальны и отсутствуют, как правило, в других музеях мира.

Коллекция № 570 всесторонне характеризует культуру и быт индейских племен. Это объясняется прежде всего тем, что формировалась она в 1800—1848 гг., когда Калифорния, несмотря на испанское и сменившее его мексиканское влияние, была страной индейцев. А после 1848 года толпы золотоискателей хлынули в горные районы Невады и Калифорнии, опустошая земли индейцев, и тогда под угрозой оказались не только независимость, но и само существование народа.

Значительную роль в сохранении индейской культуры сыграл факт русского влияния. С калифорнийским берегом связаны яркие страницы истории Русской Америки. Именно на землях прибрежных мивок (Центральная Калифорния) был основан южный форпост Русской Америки — селение Росс. Его жители — русские моряки, солдаты, ремесленники — с первых же дней существования селения установили добрососедские отношения с индейцами. Они всячески старались вовлечь индейцев в сферу хозяйственной деятельности, привить им любовь к земледелию, скотоводству, содействовали развитию просвещения и науки, что вообще было свойственно политике русских в Калифорнии³.

Дружеские взаимоотношения русских и индейцев стали основой для развития научно-исследовательской деятельности русских путешественников и ученых, в том числе и И. Г. Вознесенского. Именно они в значительной степени обеспечили успех его этнографической деятельности.

Другой причиной, которая позволила И. Г. Вознесенскому осуществить огромную работу по коллекционированию в области этнографии, были его дар собирателя и исследователя, его необыкновенное трудолюбие. В полевых калифорнийских записях Вознесенского, не предназначенных для публикации, за сухим перечнем фактов и событий улавливалось его отношение к жизни, его удивительная целеустремленность. Тот, кто изведает очарование экспедиционной палаточной жизни с ее лишениями, таежным гнусом, неожиданными снегами в июле, ледяными горными ветрами, новыми открытиями, не может без волнения листать дневники Вознесенского. С юмором он описывал самые критические ситуации своих, часто одиноких, путешествий по лесам и горам Калифорнии, совершавшихся с единственной целью: пополнить коллекции еще одним уникальным экспонатом.

Вознесенский был тонким наблюдателем, способным художником и даже поэтом. Он вошел в историю русской этнографии как прекрасный исследователь-полевик. Работа в Русской Америке подорвала его здоровье и, возвратившись в Петербург, он не смог обработать собранные коллекции. Дело Вознесенского продолжили русские и советские ученые-американисты, историки, этнографы⁴.

Особую трудность в дальнейшей работе с материалами И. Г. Вознесенского, в частности, с этнографическими коллекциями, представляет племенная атрибуция вещей. Основная информация об их происхожде-

³ Липищ Б. А. Этнографические исследования в русских кругосветных экспедициях первой половины XIX века. — Труды Ин-та этнографии АН СССР, т. XXX, М.: Изд-во АН СССР, 1956, с. 301.

⁴ См.: Гильзен К. К. Илья Гаврилович Вознесенский. К столетию со дня рождения. — Сб. МАЭ, т. III, Пг., 1916, с. 1—14; Степанова М. В. И. Г. Вознесенский и этнографическое изучение Северо-Запада Русской Америки. — Изв. ВГО, 1944, т. 76, в. 6, с. 279; Липищ Б. А. Этнографические материалы по Северо-Западной Америке в архиве И. Г. Вознесенского. — Изв. ВГО, 1950, т. 82, в. 4, с. 415—420; Ляпунова Р. Г. Экспедиция И. Г. Вознесенского и ее значение для этнографии Русской Америки. — Сб. МАЭ, т. 24, Л., 1967, с. 5—33; Алексеев А. И. Илья Гаврилович Вознесенский. М., 1977; Бломквист Е. Э. Рисунки И. Г. Вознесенского (экспедиция 1839—1849 гг.). — Сб. МАЭ, т. XIII, Л., 1951, с. 260—303; Кожин П. М. Этнографические наблюдения И. Г. Вознесенского в Калифорнии. — Труды МАЭ, т. 104, в. VII, 1977, с. 66—77; его же. Плетеные сосуды индейцев Калифорнии. — Сб. МАЭ, т. 24, 1967, с. 124—139; Окладникова Е. А. Калифорнийская коллекция И. Г. Вознесенского и проблема древних культурных связей Азии и Америки. — Сб. МАЭ, т. 37, 1981, с. 54—67.

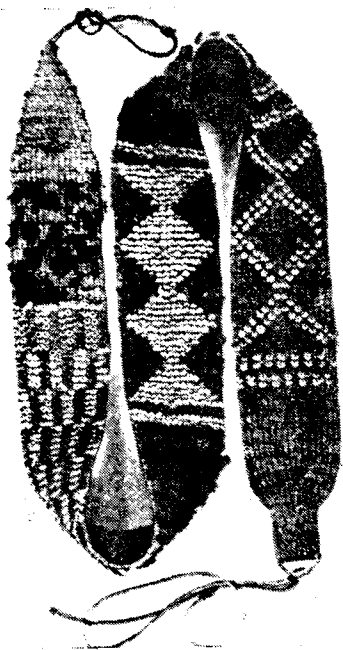


Рис. 1. Пояс, сплетенный из травы (МАЭ, кол. 570, № 11; в последующих рисунках указывается только номер)

цев даже к концу XVIII века оставалась на уровне неолита и что индейцы Центральной Калифорнии и большей части Западного побережья США сохранили архаические формы социальной организации и древних верований. Последние наряду с древними приемами плетения из травы и обработки каменных орудий сближают культуру индейцев с культурой народов тихоокеанского круга, Сибири и северной части Северной Америки.

К архаическим особенностям социальной организации населения Азии и Америки относятся тайные мужские союзы и связанные с ними обряды возрастных инициаций, причем в Новом Свете информация о тайных мужских союзах сохранилась в большем количестве источников, чем в Старом. На территории Центральной Калифорнии обряды инициаций осуществлялись в рамках тайного союза Куксу. Идеология этого союза, как и тайных союзов индейцев Северо-Западного побережья Северной Америки, базировалась на сложной системе анимистических представлений, представлений о духах-предках, о возрождающейся умирающей природе, о духах-помощниках, о личности творца-демиурга — мифического создателя земли и благодетеля человечества⁷. В образе творца и благодетеля человечества у индейцев Центральной и Северной Калифорнии выступал орнитоморфный герой Куксу⁸.

В легендах индейцев мивок Куксу предстал в образе великого воина, который сотворил землю из каучукового мячика, извлеченного якобы из-под собственного крыла. Орнитоморфность образа героя-демиурга старательно подчеркивалась костюмом танцора — исполнителя роли Куксу. Один из таких костюмов есть в коллекции И. Г. Вознесенского. Это накидка, сплетенная из пучков перьев ворона, которая, по

нии содержалась в записных книжках И. Г. Вознесенского. Анализ этой информации посвятил специальное исследование П. М. Кожин⁵. Ему удалось установить, что И. Г. Вознесенский собирал материалы в окрестностях залива Сан-Франциско и Форта Росс, а также в долине р. Сакраменто, т. е. в районах Калифорнии, где жили индейцы мивок, прибрежные мивок, костаньо и майду. Большую помощь в приобретении этнографических предметов И. Г. Вознесенскому оказывали посредники — капитан Суттер, испанский священник Тихос и многие другие. Именно при содействии падре Тихоса Вознесенский приобрел ряд ценных предметов, в том числе сплетенный из травы церемониальный пояс, украшенный раковинными бусинами⁶.

Привезенная из Калифорнии коллекция Вознесенского состояла из пяти категорий предметов: культовые предметы быта, орудия охоты, украшения и игрушки. Анализ коллекции свидетельствует о том, что материальная культура калифорнийских индей-

⁵ Кожин П. М. Этнографические наблюдения И. Г. Вознесенского в Калифорнии. с. 66—77.

⁶ Ляпунова Р. Г. Указ. раб., с. 16.

⁷ Окладникова Е. А. Загадочные личины Азии и Америки. Новосибирск: Наука, 1979, с. 124—132.

⁸ Loeb E. M. Western Kuxsu Cult.— Univ. of California Publications in American Archaeology and Ethnology, 1932, № 1, p. 3.

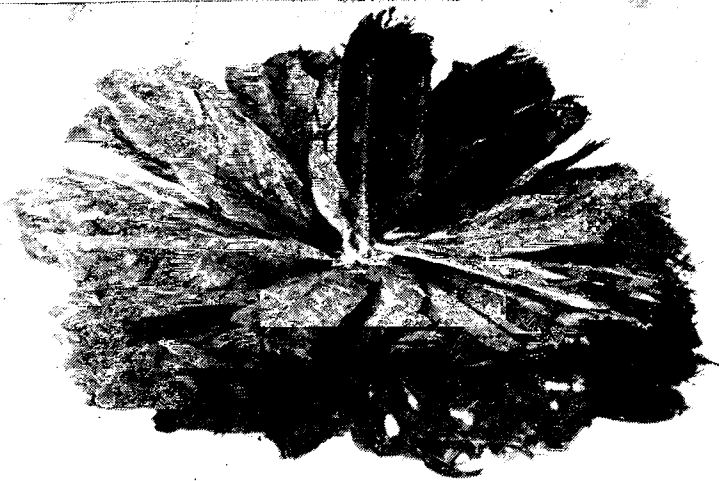


Рис. 2. Церемониальный головной убор из перьев (№ 8)

добно плащу, покрывала все тело танцора, ниспадая с головы до щиколоток. Костюм дополнялся головным убором (из перьев ворона, дикой утки, орла) и длинными лентами из очищенных от опахал (эластичной пластинчатой части пера, лежащей по обе стороны от его стержня) перьев дятлов; стерженьки перьев плотно пригонялись друг к другу, составляя ленту, края которой отделялись заостренными ромбовидными кончиками опахал. Тела танцоров, исполнявших партию Куксу, были расписаны черной, красной и белой красками, а лица скрыты под перьевыми полумасками либо под низко опущенными на глаза налобными лентами из перьев дятлов. Считалось, что смотреть в глаза великим духам непочтительно.

Во время церемоний тайных мужских союзов танцор, исполнитель роли Куксу, должен был появляться с куском перламутра во рту (это, видимо, символизировало каплю пресной воды, принесенную птицей-демиургом на землю, жители которой имели только соленую морскую воду). Иногда вместо куска перламутровой раковины, завернутой в листья, он держал во рту ритуальные свистульки из сдвоенных костей журавля. Свистульки в верхней и нижней частях были туго стянуты бечевками, внизу обмазаны асфальтом; на нижнем же конце при помощи асфальта к свистулкам крепились сверленные раковины, раковинные бусы. Издаваемый такими свистулками свист воспринимался индейцами как голоса духов, в том числе и самого Великого ворона Куксу.

В собрании МАЭ хранятся две уникальные свистульки из трубчатых костей крыльев журавля. Декор из парных бусин раковины оливеллы на нижней части свистулек мог иметь сакральное значение. Так, среди собранных у индейцев чумаш на юге Калифорнии предметов ритуального характера есть костяные свистульки (Музей естественной истории, Санта-Барбара, Калифорния). Они обмазаны асфальтом и обмотаны сухожилиями, к которым прикреплены раковинные бусины из оливеллы. Рисунок из раковин на свистулках чумаш символизировал созвездия Млечного пути: Кассиопею, Орион, Альдебаран, Плеяды. Млечный путь в мифологии чумаш мыслился как дорога мертвых, что также свидетельствует о ритуальной функции свистулек⁹. Раковинный орнамент на костяных свистулках чумаш и индейцев Центральной Калифорнии является, возможно, своеобразной записью астрального мифа.

В астральных мифах калифорнийских индейцев повествуется не только о мироздании в целом, но и о происхождении отдельных созвездий. В одном из таких мифов, распространенном среди индейцев Южной Калифорнии и Западной Аризоны, рассказывается о происхождении созвездия Орион. Охотник, гнавшийся за тремя горными баранами,

⁹ Hudson T., Underhay E. Crystals in the Sky: an Intellectual Odyssey Involving Chumash Astronomy, Cosmology and Rock Art. Santa-Barbara, 1978, fig. 18.

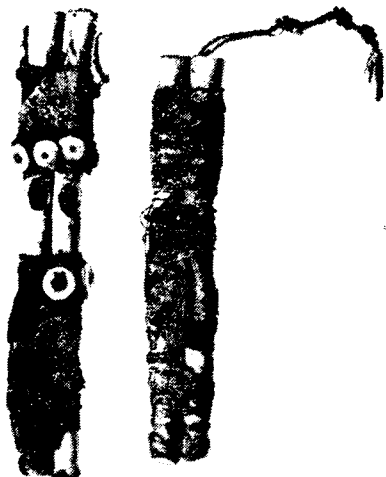


Рис. 3. Ритуальные свистульки из костей журавля (№ 62 и 63)

попадает вместе с ними на небо, и все они превращаются в созвездие Орион¹⁰.

В этой связи стоит отметить совпадение версий мифа калифорнийских индейцев о происхождении созвездия Орион с мифом об Орионе, известном у народов Центральной Азии. Это миф об Эрке, сыне Неба, или великом стрелке алтайского фольклора — Когульде (Когульдее). В мифе об Эрке — Когульде. Великий стрелок вынужден был тогнаться за тремя священными небесными маралухами, которые смертному поймать не дано. Обежав несколько раз землю, священные животные и их преследователь поднялись на небо и застыли там в форме созвездия Орион. В настоящее время старики на Алтае, в Туве и в Монголии три звезды пояса Ориона именуют маралухами, одну — охотником и одну звезду — собакой охотника. Иногда даже указывают пулю или стрелу небесного стрелка, которую «видят» среди небольших звезд рядом с созвездием.

В центральноазиатской версии мифа об Орионе сильно прометеевское начало: небесный стрелок, посягнувший на священных маралух, выразил этим свое презрение воле небес и вступил с ними в противоборство. В ряде версий мифа подчеркивается созидательный аспект образа Эрке — Когульдея, небесного охотника, его фаллическая природа¹¹.

Г. Н. Потанин писал об Эрке, как о культурном герое, стрелке-громовнике, подчеркивая его космическую сущность: «громовник, основатель человечества, знания, искусства был основателем и человеческой религии»¹².

Крупный астральный пласт может быть выделен не только при анализе мифологического наследия народов Сибири и Центральной Азии, но и их наскального искусства. Исследование этого вопроса, разумеется, — тема специальной работы. Укажем только, что среди петроглифов Боярской писаницы Хакасии обнаружено изображение идеального, идеального небесного поселка в момент календарного праздника¹³. Тема астральности подчеркнута здесь обилием точек, которые могли символизировать звезды. Писаницы Забайкалья пестрят солярными и лунными символами¹⁴. Среди наиболее распространенных сюжетов петроглифов Забайкалья выделяются «оградки» — символы микро-Вселенной. Изображения Плеяд, Ориона, Венеры есть в петроглифах Средней Катуни и Алтая¹⁵. Ряд астральных сюжетов обнаружен и в наскальных рисунках Калифорнии¹⁶.

Интерес к мирозданию, к Вселенной, небесным светилам, использование астральных наблюдений в практических целях являются достижением ориентировочно-исследовательской деятельности охотников и со-

¹⁰ Устное сообщение д-ра Хадсона (Ленинград, 1983 г.).

¹¹ Окладников А. П., Запорожская В. Д. Петроглифы Забайкалья, ч. II. Л.: Наука, 1970, с. 139; Окладников А. П. Петроглифы Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1980, с. 84.

¹² Потанин Г. Н. Громовник по поверьям и сказаниям племен Южной Сибири и Северной Монголии. — Журн. Министерства народного просвещения, 1882, февр., с. ССХІХ. с. 325—326.

¹³ Дэвлет М. А. Большая Боярская писаница. М., 1976, с. 11.

¹⁴ Окладников А. П., Запорожская В. Д. Указ. раб., с. 139—143.

¹⁵ Окладникова Е. А. Петроглифы Средней Катуни. Новосибирск: 1984.

¹⁶ Hudson T., Underhay E. Op. cit.

бирателей. Первые попытки таких наблюдений были предприняты, вероятно, еще в каменном веке¹⁷.

Возвращаясь к калифорнийской коллекции Вознесенского, и, в частности, к ритуальным костяным свистулкам, отметим еще правомерность семантической интерпретации их раковинного декора как символов звезд. Известно, что раковинный декор многих сакральных предметов индейцев Калифорнии ассоциировался ими с представлениями о богатстве, достатке (раковинные бусы из двустворчатых моллюсков были денежным эквивалентом), а белый цвет раковин воспринимался как символ чистоты и благородства¹⁸.

Представляет большой интерес и сам материал — трубчатые кости крыльев журавля. Они использовались индейцами для изготовления не только свистулек, но и играль-ных палочек (которые «наговаривали» и делали, в определенном смысле, священными), серег, а также ритуальных, богато декорированных спиралевидным орнаментом, шпилек для волос.

Журавль — почитаемая птица и предмет поклонения индейцев Центральной Калифорнии. Он был представлен в числе орнитоморфных божеств, которые «присутствовали» на церемониях тайных мужских союзов типа Кукусу: высушенные головы журавлей с глазами, инкрустированными перламутром, крепили на бечевках к деревянным оструганным палочкам (длина 60 см). Последние вносили в помещение, где происходила церемония, кукуситы, исполнявшие роль «глотателей огня»¹⁹.

Понять значение образа журавля в идеологии тайных мужских союзов индейцев Калифорнии помогают и данные, полученные при изучении арктических народов Сибири. Почитание журавля известно у некоторых групп предков нганасан²⁰. На севере Сибири (западнее р. Таз) у селькупов, а также у обских угров еще в конце XIX века существовала фратрия журавля. У нганасан был род Кокары (ко — самец, кары — журавль). У них же долгое время сохранялся обычай обрядовой охоты на журавлей с посохом *чере*. Журавлей на охоте полагалось убивать только посохом — длинной деревянной палкой с обугленным концом. По мнению Ю. Б. Симченко, это свидетельствует о сакральном отношении к журавлям, так как в культовой практике северных народов, в частности, нганасан, посохи такого типа употреблялись в магических целях²¹. Особое отношение к журавлям подчеркивалось и тем, что умершим грудным детям клали под лопатки журавлиные перья, чтобы облегчить дорогу в страну мертвых.

Помимо ритуальной накидки из перьев ворона, в коллекции И. Г. Вознесенского имеется другой уникальный экспонат — церемониальный костюм из цельной шкуры кондора. В него облачался танцор, исполняющий роль Молока — божественной птицы-громовника. Костюм

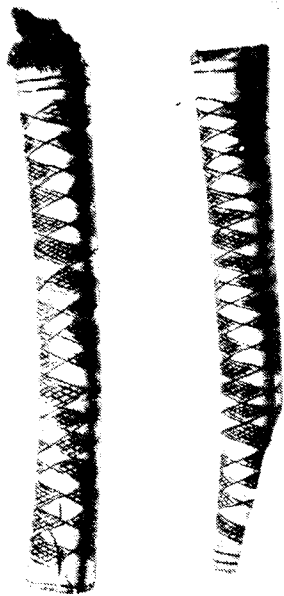


Рис. 4. Костяные серьги (№ 51 и 52)

¹⁷ Фролов Б. А. Числа в графике палеолита. Новосибирск: Наука, 1974.

¹⁸ Кошин П. М. Плетеные сосуды индейцев Калифорнии.

¹⁹ Loeb E. Pomo Folkways.— Univ. of California Publications in American Archaeology and Ethnology, 1926, v. 19, № 2, p. 340.

²⁰ Симченко Ю. Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии (Проблемы генезиса и этногонии. Опыт историко-этнографической реконструкции). Дис. на соискание уч. ст. докт. ист. наук. М.: МГУ, Исторический ф-тет, 1982, с. 93.

²¹ Там же.

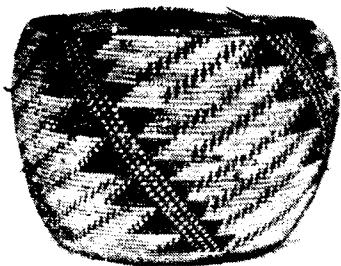


Рис. 5. Плетеный сосуд индейцев помо (№ 82)

онах Восточной Европы. Наиболее четко он прослеживается в Южной и Центральной Калифорнии, где кондор как вид пернатых сохранялся особенно долго. Культ кондора бытовал у индейцев майду, патвин, миwok, вину и др.

Перьевые регалии индейцев Центральной Калифорнии свидетельствуют о существовании такой стадии развития культа хищных птиц, когда орнитоморфные существа в сознании индейцев стали наделяться антропоморфными чертами. У индейцев Центральной Калифорнии сохранились в культовой практике и некоторые более древние обряды. Среди них — церемония поклонения священным птицам, обычно хищным (орлам, ястребам, соколам), которых специально для этого отлавливали. Сложные обрядовые действия предшествовали приготовлениям к ловле хищных птиц: поймав, их заключали в клетки и осыпали жертвенными дарами (перьями, пухом, семенами, желудевой мукой, раковинными будинами), а в конце церемонии убивали и сжигали. Птиц ловили охотники-профессионалы и в специальных У-образных носилках приносили в деревню.

У индейцев патвин в течение церемонии, которая имела, как правило, характер поминок, плененный сокол олицетворял божество Веквек. Э. Гиффорд отмечал, что в мифах калифорнийских индейцев это божество рисовалось как быстрое, стремительное, молчаливое, упрямое и безжалостное²².

Индейцы рассматривали пойманную птицу не только в качестве посредника между людьми и высшими силами, но и как воплощение орнитоморфного духа-предка. Позднее, возможно, божественную птицу — предка и демиурга — сменил человек, член тайного мужского союза, например, в случае с вороном — танзор Куксу.

Аналогичное Веквеку орнитоморфное божество было и у народов центральноазиатского круга. В частности, у монголов небо и солнце ассоциировались с представлениями о птице, поэтому небо для них никогда не было абстрактным, безличным, вероятно, так же как и для индейцев. Причем небо олицетворялось, как правило, хищной птицей, «весь облик которой соответствовал беспокойному духу монгольской аристократии, такой же хищной как степные орлы и соколы»²³.

Основой подобного отношения к хищным птицам в Центральной Азии были, видимо, архаические терротестические представления. Свидетельства их сохранились на скалах Забайкалья: это относящиеся еще к бронзовому веку изображения хищных птиц — орлов, ястребов, соколов.

Таким образом, уникальные образцы ритуальных регалий из перьев хищных птиц — еще один момент, заставляющий вспомнить о проблем

из кожи и перьев кондора, как и костюм из перьев вороны, дополнялся перьевым головным убором и налобной лентой из перьев дятлов. Образ кондора ассоциировался с калифорнийскими индейцами с представлениями о небе и солнце (Молок — птица солнца и грома).

В Калифорнии культ кондора был распространен так же широко, как культ орла на территории Северной Америки, Северной Азии, на юге Сибири, Алтае и в некоторых рай

²² Gifford E. Miwok Cults. — Univ. of California Publications in American Archaeology and Ethnology, 1926, v. 18, № 3, p. 399.

²³ Окладников А. П., Запорожская В. Д. Указ. раб., с. 123.

первых американцев, о древних связях двух континентов: Азии и Америки.

Как уже было отмечено, ритуальные костюмы индейцев Центральной Калифорнии дополнялись рядом священных атрибутов. В их числе были длинные налобные ленты из очищенных хвостовых рулевых перьев красноголовых дятлов с симметрично подстриженными ромбообразными опахалами на концах. Калифорнийские индейцы — единственные в мире, кто изготавливал налобные ленты из перьев дятлов. Обычно эти ленты прикалывались к головному убору и волосам костяными и деревянными шпильками.

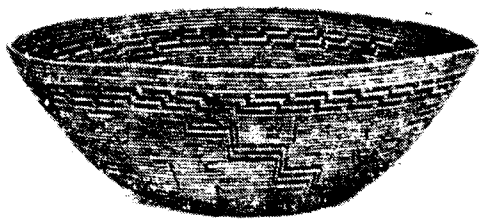


Рис. 6. Плетеный сосуд индейцев чумаш (№ 85)

Кончики опахал обрабатывались по-разному, и по характеру обработки можно было определить происхождение ленты. Налобные повязки калифорнийской коллекции И. Г. Вознесенского, судя по этому признаку, приобретены у индейцев помо и юки²⁴.

Очищенные от опахал оранжевые стерженьки перьев со временем утратили цветовую насыщенность, но их сочетание с бархатисто-черными остроконечными опахалами, оставленными на внешней стороне ленты, в целом весьма эффектно: кончики черных опахал ритмично чередуются с оранжевыми стерженьками основы. Перьевые налобные ленты калифорнийской коллекции существенно отличаются от аналогичных лент (налобных повязок) индейцев майду, мивок, косо или люизьено, хранящихся в американских музеях. У индейцев названных племен они сделаны из перьев, которые в верхней части имеют неочищенные опахала, плотно прилегающие друг к другу. Внешний край повязок либо подстрижен по прямой, либо оставлен необработанным²⁵.

При изготовлении ритуальных предметов индейцы Центральной Калифорнии использовали не только перья дятлов, но и ярко-пурпурные кусочки скальпов с их головы. Этим кусочкам придавали листообразную форму и затем применяли для украшения длинных шпильки для волос, серег из трубчатых костей журавлей, церемониальных свистулек.

Красными перьями с голов дятлов украшали и сплетенные из травы церемониальные сосуды: их покрывали сплошным пурпурным декором; аналогичный декор был и на широких церемониальных поясах, которые обматывали вокруг бедер, а иногда (особенно женщины), перекидывали через плечо. Мягкие пурпурные перышки дятлов собирали в пучки (по 1–4 пера длиной около 1 см) и вплетали в основу волокон утка (особенно). И. Г. Вознесенскому посчастливилось увидеть красноголовых дятлов²⁶, которые уже тогда были на грани исчезновения.

Все перьевые регалии индейцев Калифорнии, в том числе налобные повязки из перьев дятла, несомненно, связаны с культом птиц. Например, в мифах индейцев Центральной Калифорнии образ дятла ассоциируется с представлениями о стихии неба и грома. В одной из версий древнего космогонического мифа рассказывается о том, как в далекие времена на земле жил старик, который не употреблял земной пищи и питался небесной. Двое внуков старика попытались испробовать запретной пищи, и он, разгневавшись, приказал им принести из лесу двух дятлов. Из правого крыла одного дятла старик смастерил налобную повяз-

²⁴ Kroeber A. Handbook of the Indians of California.— Bull. of Bureau of American Ethnology, 1925, № 78, fig. 205, p. 267.

²⁵ Kroeber A. The Valley Nisenan.— Univ. of California Publications in American Archaeology and Ethnology, 1924, v. 24, № 4, p. 276.

²⁶ Архив АН СССР (Ленинград), ф. 53, оп. 1, № 1/1а, кн. 10, л. 18, об., 1840 г.

ку для старшего внука, а из левого крыла второго — для младшего. Они надел эти повязки на головы детям и швырнул обруч, которым они привыкли играть, в небо. Дети с криком ринулись догонять любимую игрушку. В погоне за обручем они не заметили, как попали на небо. Там они и по сей день бегут за обручем, который, катясь по небосклону, производит гром.

Таким образом, дятел ассоциировался у индейцев Центральной Калифорнии с представлениями о небесной стихии и громе, т. е. с комплексом, особенно тесно связанным в мифологии индейцев с образами хищных птиц.

В коллекции И. Г. Вознесенского есть серия уникальных шпилек для волос (№ 25—36), использовавшихся, как уже говорилось, в сакральном костюме кукусутов. Изготавливались они из трубчатых заостренных на концах костей крыльев журавлей и обычно богато декорировались кусочками скальпов с голов дятлов, раковинными бусинами, перламутровыми кулонами и травяными шариками. Имеется в коллекции и несколько длинных заструганных и заостренных на концах 60-ти сантиметровых деревянных палочек (№ 55—59), которые в свое время были определены С. А. Ратнер-Штернберг как шаманские палочки²⁷. Антропологического мнения относительно их функции придерживался и Вилкомб, осматривавший калифорнийские коллекции МАЭ в 1911 г. Однако другой американский ученый, Трэвис Хадсон (Музей естественной истории Санта-Барбара, Калифорния), посетивший Музей в 1983 г., высказал предположение, что это — шпильки для волос. Разнообразие форм шпилек могло служить индикатором их разной племенной принадлежности.

О том, что в калифорнийскую коллекцию И. Г. Вознесенского входят дят вещи, изготовленные индейцами разных племен, уже писали советские исследователи. Так, П. М. Кожин различал в великолепной коллекции плетеных сосудов, украшенных бусинами из раковин, перламутровыми кулонами, изделия индейцев мивок, костаньо и помо. Отметим, что среди предметов калифорнийской коллекции № 4246, поступившей в Музей из военно-морского училища им. Фрунзе в 1930-е гг., есть уникальное сито-веялка (№ 6), которое могло быть изготовлено индейцами костаньо или прибрежными мивок. Форма и конструкция плетения сита-веялки выделяют его из ряда аналогичных вещей индейцев Центральной Калифорнии. У индейцев костаньо и прибрежных мивок преобладали при изготовлении таких предметов округлые формы, у индейцев юкутс, майду, мивок — треугольные.

В коллекции № 570 привлекает внимание и другой уникальный предмет — хорошей сохранности корзина (№ 113), изготовленная на юге Калифорнии индейцами чумаш. Даже в коллекции плетеных изделий индейцев чумаш, хранящейся в Музее естественной истории в Санта-Барбара, всего 25 экземпляров таких корзин! Некоторые из плетеных изделий калифорнийских коллекций МАЭ были в употреблении, судя по степени изношенности, до момента их приобретения собирателем. С использованием такими вещами, как, например, небольшая, украшенная раковинными бусинами корзина № 94, — около 20-ти лет; следовательно, сплетена она в 1820-е гг.

Большую часть предметов коллекции № 570 составляют стрелы. Они собраны у индейцев, по меньшей мере, трех племен: прибрежных мивок, помо, майду. Судя по характеру оформления нижней части древка, стрелы принадлежали минимум 20-ти охотникам. Наконечники стрел изготовлены из кремня, яшмы, обсидиана, а наиболее поздние — из булыжного и оконного стекла (последнее обрабатывалось в основном аналогично каменным остриям). Наконечники из плоского оконного стекла имели ретушь только по краю. Представлены разные типы наконеч-

²⁷ Опись коллекции № 570, составленная С. А. Ратнер-Штернберг в 1911—1912 гг. МАЭ, Ленинград.

²⁸ Кожин П. М. Плетеные сосуды индейцев Калифорнии.

ков стрел: наконечники с плечиками и зазубринками так называемого пустынного типа (№ 140; 200—211; 215—219 и др.), а также лавролист-ной формы (№ 144, 154, 155, 158, 189, 247 и др.). Последние по тради-ции обработки восходят к остриям типа кловис-фолсом (№ 163—165; 169; 170—174 и др.) и являются наиболее древними.

Стрелы с наконечниками из камня и стекла (независимо от разме-ров) применялись для охоты на крупную дичь, например, оленей, а с деревянными заостренными наконечниками (№ 280) — на мелкую дичь. В коллекции есть и стрела с наконечником в виде гарпуна (№ 288).

В качестве оперения стрел использовались пестрые перья соколов прерий и черные — орлов. Характерно, что форма половинок перьев, составляющих оперение, имела овальные очертания, тогда как у боль-шинства стрел, хранящихся в собраниях музеев Америки — прямоуголь-ные. Форма оперения стрел может служить как датирующим призна-ком, так и признаком племенной принадлежности. Вероятно, стрелы с овально подстриженными половинками перьев оперения (№ 159, 183, 185, 201, 206, 210, 212 и др.) были приобретены у индейцев прибрежных мивок.

Древки стрел изготовлены из молодых побегов бузины. Для того чтобы выпрямить побеги, индейцы длительное время держали их над огнем, периодически прибегая к помощи выпрямителей из камня. У раз-личных племен индейцев по-разному оформлялись насадки наконечни-ков древков стрел: есть насадки с прямоугольным сечением, которые практически не притерты к древкам, а есть насадки, плотно притертые к древкам и образующие с ними единое целое. У индейцев Калифорнии лук и стрелы получили распространение 2000 лет назад, а до этого они применяли дротики с каменными наконечниками и копьеметалки.

Для колчанов использовались цельные шкуры лисиц, волков, диких кошек. Колчан из шкуры дикой кошки (о чем свидетельствуют когти на лапках) есть в коллекции Вознесенского (№ 133). Колчаны изготовля-лись стереотипно: содранная и выделанная шкурка животного сшива-лась по длине, оставлялись торчащими только лапы, уши и мордочка. На кончики ушей крепились украшения — перламутровые кулоны, бу-сины, «кулончики» из перьев дятлов.

Для упаковки стрел индейцы часто использовали сплетенные из травы циновки, чтобы избежать деформации древков (в случае, напри-мер, дождя).

Луки, входящие в коллекцию № 570, принадлежали по меньшей ме-ре четырем племенам, о чем красноречиво свидетельствуют способы об-работки концов луков, на которые крепилась тетива. Имеются луки с волнообразными, прямоугольными, загнутыми, выпрямленными и овальными концами. Представлены в основном два типа луков: уси-ленные и простые. Внутренняя часть усиленных луков моделирована сухожилиями, склеенными рыбьим клеем. Сухожилия натягивались на лук в сыром виде и, высыхая, придавали ему полулунную форму.

* * *

Окидывая мысленным взором калифорнийскую коллекцию И. Г. Воз-несенского, поражаешься своеобразию составляющих ее предметов, не-обычайной их яркости и острой характерности. Это своеобразие дости-гается широким использованием перьев и костей птиц, травы, раковин-ных бус, а также строгостью и однотипностью геометрического орна-мента.

Наиболее распространенными мотивами декора геометрического ор-намента индейцев Калифорнии были треугольники; сдвоенные тре-угольники, соединенные вершинами; ромбы; вертикальные параллель-ные прямые и зигзагообразные линии. Возможно, эти геометрические элементы восходят к мотивам апотропейного характера, бытовавшим не только в Новом, но и в Старом Свете. Не исключено, что декор гео-

метрического орнамента плетеных и костяных изделий индейцев Калифорнии включал волшебные знаки системы «ткаческой» магии, которая была известна многим народам мира, в том числе и древним славянам. Мотив треугольника, ассоциируемый с женским плодородным началом, еще в эпоху неолита, связывался в Старом Свете с представлениями об изобилии, плодородии. Этот аспект интерпретации декора плетеных сосудов и корзин индейцев может иметь особое значение, если учесть использование данных предметов как церемониальных, связанных с магией плодородия. Сосуды без декора раковинными бусами предназначались для приготовления пищи из желудевой муки.

Материалы калифорнийских коллекций МАЭ дают богатый материал для историко-культурного сравнительного анализа. В этой связи интересны торжественные обряды культа Куксу, корни которых уходят в древнюю историю Калифорнии. Эти обряды свидетельствуют о наличии в идеологии индейцев Центральной Калифорнии древнего пластического представления различных терротенистических представлений, которые сближают материалы представлений калифорнийских аборигенов, их северных соседей — индейцев Северо-Западного побережья Северной Америки и древнего населения Северной Азии и Дальнего Востока²⁹.

В заключение заметим, что работа с калифорнийской коллекцией Вознесенского, как правило, ставит больше вопросов, чем дает готовые ответы. В частности, при ее изучении возникает важный вопрос о путях и характере древних миграций и контактов населения двух материков: Азии и Америки.

²⁹ Окладникова Е. А. Калифорнийская коллекция И. Г. Вознесенского и проблемы древних культурных связей Азии и Америки, с. 54—67.

Н. Н. Грацианская, С. А. Токарев

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ЕВРОПЫ

[К истории изучения]

Определенная общность народов Европы осознавалась еще в античную эпоху. Геродот (V в. до н. э.) полагал, что вся земная суша, огибаемая Мировым океаном, делится на три части: Европу, Азию и Ливию (т. е. Африку)¹. А уже Страбон (I в. до н. э. — I в. н. э.) в своей географической энциклопедии очень четко различал отдельные части света и, принимая геродотову «трипартицию», все преимущества отдавал Европе, «...потому что она очень разнообразна по форме, наиболее благоприятна для облагораживания человека и гражданина и сообщает большую часть своих благ прочим землям. Вся она удобообитаема, за исключением небольшой части, необитаемой вследствие холода»².

В раннее средневековье географический горизонт крайне сузился, термин «Европа» совершенно выпал из обращения, говорилось только о христианских странах, противопоставляемых «мусульманскому», «языческому» Востоку. В эпоху Великих географических открытий на новые территории иногда переносили «европейскую» номенклатуру: «Новая Испания», «Новая Гренада», «Новая Франция», «Новая Голландия» и пр.

В начале XIX в. европейские ученые (например, школы Якоба Гримма, Макса Мюллера) стали искать общие черты в верованиях и обычаях разных (преимущественно «индоевропейских») народов. Но региональной спецификой они не интересовались. Еще резче обозначилось это направление научных интересов во второй половине XIX в., когда в этнографии господствовала эволюционистская школа (Э. Тайлор, Дж. Леббок, Дж. Мак-Леннан, Г. Спенсер, А. Бастиан и др.), которая искала и находила повсюду лишь общечеловеческие черты культуры и быта.

Попытки выявить специфику европейской региональной общности, осмыслить эту европейскую проблематику в рамках мировой истории культуры начались в первой половине XX в. Одну из попыток такого рода предпринял выдающийся австрийский этнограф А. Хаберландт. В своей фундаментальной работе «Народная культура Европы в ее историческом развитии»³ он впервые охарактеризовал все области материальной и духовной культуры европейских народов, стараясь объединить эволюционистский метод со сравнительно-историческим. Гораздо менее целостное представление о европейской культуре дает книга Ж. Монтандона, в которой причудливым образом сочетаются концепции «ологенетическая» и «культурных кругов». Зато в ней интересна попытка типологической классификации явлений материальной культуры, где

¹ Геродот. I, 2, 16.

² Страбон. II, 5, 26.

³ Haberlandt A. Die volkstümliche Kultur Europas in ihrer geschichtlichen Entwicklung. — In: Illustrierte Völkerkunde. B. 3. Stuttgart, 1923.

европейские формы включены в схемы мировой типологии⁴. Народам Европы отведена также половина второго тома объемистого труда итальянского этнографа и антрополога Р. Биасутти «Расы и народы Земли», в котором изложение ведется по отдельным регионам и группам народов⁵.

Перечисленными здесь общими работами и исчерпываются, видимо, чисто этнографические сочинения, посвященные Европе в целом. Отставание этнографической европеистики от других дисциплин⁶, касающихся этой части света, все более осознается этнографами.

В начале 1950-х годов группа видных европейских этнографов во главе со шведским ученым С. Эриксоном взяла на себя принципиально важный почин — выявить место европейской этнографии среди родственных и смежных наук. В качестве объединяющего Эриксон выдвинул понятие «региональная этнология» как ответвление «общей этнологии», сближающейся с «социологией» в рамках исторических наук. Тем самым был указан путь к преодолению традиционного разрыва между «краеведческой» этнографией (фольклором) и разными отраслями исторической науки. Это нашло отражение и в сборниках «Лаос» (греч. «Народ»), вышедших с 1951 г. под общей редакцией Эриксона и при активном участии таких видных ученых, как М. Гавацци и Бр. Братанич (Югославия), Р. Вейсс (Швейцария), О. Хюльткрантц и А. Стеенсберг (Швеция), А. Вараньяк (Франция), А. Хаберландт (Австрия) и др., опубликовавших в сборниках немало статей программного и методологического характера⁷. Особое значение придавалось картографическому методу изучения народной культуры. Всего вышло три сборника «Лаос» (I—III, 1951—1955).

В 1960-х годах был сделан еще один крупный шаг к расширению и объединению научных исследований по общеевропейским этнографическим проблемам. Группа этнографов — С. Эриксон, Бр. Братанич, Ж. Диаш, Г. Роган-Чермак — выступила инициатором создания международного европейского журнала «Ethnologia Europaea», который издается и поныне⁸. В программной декларации, помещенной в первом номере, говорилось, что журнал «считает своей задачей ликвидировать перегородки, отделяющие европейскую этнологию от общей, а также и те, которые разграничивают различные национальные школы в пределах Европы... Построить теоретическую и методологическую базу для эмпирических исследований европейских этнологов, углублять и координировать их разрозненные труды — таковы основные цели журнала»⁹.

И в самом деле, в «Ethnologia Europaea», начиная с первых же томов, печатаются наряду с узкотематическими и чисто описательными статьями работы программные и методологические. Автором одной из первых работ такого рода — «Понятие европейского этнического комплекса» — был Роган-Чермак. Он обосновывал выделение Европы как целостной области, подлежащей этнографическому изучению. Роган-Чермак писал, что именно в таком качестве «европейская культурная общность не только связана с европейской этнической общностью, но она ее определенно выражает». Рассматривая последовательно черты европейского этнического комплекса — культурные, языковые, расовые, географические, автор подчеркивал «открытость» европейской культуры, проявляющуюся в наличии «мостов», соединяющих Европу с соседними материками — Азией и Африкой; он отмечал также важный факт иерархичности «этнических» связей, насчитывавших до 20 ступеней: индивид, семья, родственный союз, соседство, административная «комму-

⁴ Montandon G. L'ologénèse culturelle. P., 1934.

⁵ Biasutti R. Le razze e i popoli della terra. Torino, 1940, № 2 (3 ed.— 1959).

⁶ См., например: Histoire générale de l'Europe/Dirigée par Livet G. et Mousnier R. V. 1—3. P., 1980.

⁷ Laos. Etudes comparées de folklore ou d'éthnologie régionale/Réd. Erixon S. Stockholm, 1951, t. I; 1952, t. II; 1955, t. III.

⁸ Ethnologia Europaea. Revue Internationale d'Ethnologie Européenne (далее — EE).

⁹ Ibid., 1967, v. I, № 1.

на» и т. п. вплоть до «народа», «французской нации», «государства» и т. д.¹⁰

Успешное начинание с выпуском международного журнала «Ethnologia Europaea» вдохновило и отдельные региональные группы ученых на создание подобного типа изданий. Так появились в 1967 г. «Ethnologia Slavica», в 1971 г. — «Ethnologia Scandinavica»; оба издания оказались жизнеспособными¹¹.

Советские этнографы также внесли свой вклад в общеевропейские исследования. Был составлен перспективный план коллективных работ, предусматривающий этнографическое изучение Европейской части СССР и зарубежных европейских стран. В качестве подготовительного свода фактического материала была создана многотомная серия «Народы мира. Этнографические очерки»; два из ее 18 томов посвящены народам Европейской части СССР и два — народам Зарубежной Европы¹². В подготовке статей по этнографии отдельных народов принимали активное участие исследователи из европейских социалистических стран.

Последние десятилетия ученые стран Европы занимаются сравнительно-типологическими исследованиями отдельных сторон традиционной культуры европейских народов. В 1966 г. была начата подготовка «Этнографического атласа Европы и сопредельных стран»¹³. В большинстве европейских стран работа по составлению национальных и общеевропейских атласов идет параллельно¹⁴. К сожалению, при координации исследований выбор тем для обобщающих карт определяется не столько их важностью, сколько степенью изученности и наличием того или иного материала в разных странах. В 1980 г. был опубликован том о ритуальных огнях¹⁵. Подготавливаются еще два тома: «Виды пахотных орудий» и «Материал и способы возведения стен жилых домов в постоянных поселениях».

О возможностях, открываемых такими исследованиями, свидетельствует интересная попытка сравнительно-типологического изучения европейских архаических форм одежды (особенно женской рубахи), предпринятая словацким этнографом С. Ковачевичевой¹⁶. На материалах «Словацкого этнографического атласа», подготовленного к печати, она убедительно показала, что архаический комплекс женской одежды Европы делится на два основных типа, граница между ареалами которых тянется через Центральную Европу с северо-востока на юго-запад (в дальнейшем она была скрыта более поздними напластованиями). Эти типы представлены длинной рубахой туникообразного покроя (одиншавовой для женщин и мужчин), происшедшей от туники античной и палатинской (cazula), и двухчастным костюмом, состоящим из поясной одежды и короткой рубахи (pendula). Второй тип С. Ковачевичева, основываясь на анализе средневековых иконографических материалов,

¹⁰ Ibidem.

¹¹ См.: *Ethnologia Slavica*. Bratislava, 1967; *Ethnologia Scandinavica*, a Journal for Nordic Ethnology. Stockholm, 1971.

¹² Народы Европейской части СССР. Т. I—II. М.: Наука, 1964; Народы Зарубежной Европы. Т. I—II. М.: Наука, 1964, 1965. См. также: Очерки общей этнографии. Зарубежная Европа. М.: Наука, 1966.

¹³ Брук С. И., Токарев С. А. Проблемы составления Европейского историко-этнографического атласа. — Сов. этнография, 1970, № 4; Брук С. И. Общеевропейский историко-этнографический атлас. — Сов. этнография, 1970, № 6.

¹⁴ Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда (сер. XIX — нач. XX в.). /Ред.: Александров В. А., Козлов В. И., Кушнер П. И., Рабинович М. Г. М.: Наука, 1967; Geiger P., Weis R. Atlas der schweizerischen Volkskunde. Teil 1. Zürich, 1951; Österreichischer Volkskundeatlas (1 Lief., Linz, 1950; 2 Lief., Wien, 1965; 3 Lief., Wien, 1968); Atlas der deutschen Volkskunde/Red. Zender M. Marburg, 1 Lief., 1958; 2 Lief., 1963; 3 Lief., 1964; Erixon S. Atlas over svensk folkskultur. 1 Materiell och social kultur. Uddevalla, 1957; Polski atlas etnograficzny/Red. Sajek Y. Warszawa, z. pr., 1958; z. 1, 1964; z. 3, 1967; z. 4, 1971.

¹⁵ Forschungen zum Ethnologischen Atlas Europas und seiner Nachbarländer. B. 1 — Die Termine der Jahresfeier in Europa/Red. Zender M. Göttingen, 1980.

¹⁶ Kovačevićová S. Hemdformen in der Slowakei und in Europa. — EE, 1976, v. IX.

связывает с одеждой даков, сохранившейся при появлении туники вместе с христианизацией в I тысячелетии.

Важным этапом координации сравнительно-типологических исследований стала деятельность Международной комиссии по изучению народной культуры Карпат и Балкан (МКККБ), в рамках которой в единой согласованной программе (с 1959 г.) ведется изучение отдельных элементов народной культуры Карпато-Балканского региона учеными Болгарии, Венгрии, Польши, СССР, Чехословакии и Югославии¹⁷.

Первым опытом сравнительно-типологического изучения культур народов Зарубежной Европы советскими этнографами было исследование сельского жилища и традиционных обычаев и обрядов. В коллективной монографии, посвященной сельскому жилищу стран Зарубежной Европы¹⁸, была осуществлена попытка его типологизации. За основу систематики приняты горизонтальная планировка (в историческом развитии) и «рост» жилища по вертикали. Было выделено восемь типов, географически размежеванных, но, как правило, не резко разграниченных, а связанных между собой разнообразными смешанными переходными формами. Многообразие форм и типов жилища, сложившихся в ходе длительного исторического процесса, обусловлено природными, социально-экономическими, религиозными и другими факторами. Под влиянием адаптации к одинаковым условиям жизни общая культурная традиция в жилище возникала независимо от этнических границ. Лишь тип жилища, определенный как восточно-среднеевропейский (с холодными сенями), был распространен преимущественно у западных славянских народов, но встречался и у соседствующих с ними венгров, австрийцев, румын. Сельские жилища южных славян по своему типу не выделяются среди жилищ других балканских народов.

В коллективной монографии «Календарные обычаи и обряды народов Зарубежной Европы»¹⁹ календарная обрядность рассматривается с этнографического аспекта в качестве составного элемента культуры. Особное внимание уделяется XIX—началу XX в. Было выделено несколько генетических слоев календарной обрядности, древнейший из которых (хозяйственный календарь с магией плодородия) характерен для всех европейских народов, как и для народов всего мира. Реальные различия в календарной обрядности этого слоя связаны с экологическими зонами Европы и хозяйственными занятиями населения (земледелие, скотоводство, рыболовство, охота). Следующий исторический пласт составляют обряды, отражающие верования, непосредственно предшествовавшие христианству. Эти обряды также обусловлены эколого-географической средой и группируются в пределах Европы в нескольких крупных зонах. Примером такого ареала служат обряды народов Юго-Восточной Европы, сохранившие следы восточных влияний, характерных для античной эпохи греко-римского мира. Для более позднего исторического пласта, сформировавшегося после распространения христианства, характерен религиозно-обрядовый синкретизм.

В новое время широко распространились общеевропейские формы календарной обрядности. Особый пласт культуры представляют включенные в календарную обрядность государственные и традиционные праздники, связанные с современным общественно-культурным движением фольклоризма и возведенные в ранг этнических символов²⁰.

Таким образом, календарные обряды сформировались из разнообразных явлений; отдельные слои обрядов и обычаев сосуществуют взаимно переплетаясь.

¹⁷ Carpatica (Carpatobalcanica). Commission internationale pour les études de la culture populaire carpatique et balcanique. I—XII. Bratislava, 1969—1983.

¹⁸ Типы сельского жилища в странах Зарубежной Европы. М.: Наука, 1968.

¹⁹ Календарные обычаи и обряды народов Зарубежной Европы. Зимние праздники. М.: Наука, 1973; то же. Весенние праздники. М.: Наука, 1977; то же. Летне-осенние праздники. М.: Наука, 1978.

²⁰ Календарные обычаи и обряды народов Зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. М.: Наука, 1983.

Результаты сравнительно-типологических исследований показали, что границы пространственного размещения различных элементов материальной и духовной культуры не коррелируют друг с другом, а также с границами расселения народов. Ареалы их чрезвычайно сложно перекрещиваются и пересекаются. Во всем этом кажущемся беспорядочном многообразии можно, однако, выделить взаимосвязанные комплексы различного типа.

Для теоретического осмысления накопленного наукой большого фактического материала очень важна разработанная советскими учеными типологизация культурных общностей, особенно концепция хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей. Определение хозяйственно-культурного типа и историко-этнографической области было сформулировано М. Г. Левиным и Н. Н. Чебоксаровым: «Под хозяйственно-культурными типами следует понимать исторически сложившиеся комплексы особенностей хозяйства и культуры, характерные для народов, обитающих в определенных естественно-географических условиях, при определенном уровне их социально-экономического развития». А историко-этнографическая область — «территория, на которой в результате длительных связей, взаимного влияния и общности исторических судеб народов, населяющих эту территорию, сложилась определенная культурная общность»²¹. Историко-этнографическая или хозяйственно-культурная общность может быть выделена только в результате специального изучения, принадлежность к ней в отличие от этнической общности населением не осознается. Общностями более высокого таксономического уровня предложено считать историко-этнографические провинции²².

В свете этой концепции Европу в целом можно рассматривать как историко-этнографическую провинцию, сформировавшуюся на основе определенной общности социально-экономического развития населяющих ее народов и их длительных и тесных исторических контактов. На протяжении веков, в ходе разнообразных исторических связей людей, их хозяйственной и культурной деятельности складывалась историко-культурная общность народов Европы. Границы этой большой провинции нечетки, они не вполне совпадают с физико-географическими границами Европы. Так, на юге границей «этнографической Европы» принято считать не Средиземное море, а Сахару, ибо вся Северная Африка к северу от этой пустыни всегда включалась в систему европейских связей. На востоке и юго-востоке вся Малая Азия, Сирия и Палестина представляют зону перехода от культуры Европы к культуре Азии. Далее подобной же переходной зоной являются Кавказ и бассейн Волго-Камья.

Эта крупная провинция делится на отдельные области и подобласти. Выделить критерии для разграничения историко-этнографических (традиционно-культурных) областей — задача очень сложная: границы их неопределенны и подвижны; они, кроме того, пересекаются с ареалами других общностей (лингвистических, конфессиональных, антропологических и др.). При современном состоянии науки можно сделать только самые общие выводы.

Формирование историко-этнографических областей в Европе обуславливалось влиянием целого ряда факторов, главными из которых были природно-географические, экономические и политические. Этот процесс проходил в самых разных хронологических рамках и был связан с конкретной историей европейских народов, с изменением государственных границ, зон влияния, ценностных ориентаций. Основные ареалообразующие факторы здесь следует искать в социальной сфере.

²¹ Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. — Сов. этнография, 1955, № 4, с. 4, 10.

²² См.: Андрианов Б. В., Чебоксаров Н. Н. Историко-этнографические области: проблемы историко-этнографического районирования. — Сов. этнография, 1975, № 3; Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981, с. 50—51.

Хозяйственно-культурные типы определяются направлением хозяйства; они не свидетельствуют в отличие от историко-культурных территорий о контакте между народами; и могут возникнуть конвергентно. Типология форм хозяйства в Европе в конце доиндустриального периода сложна. Здесь преобладал один из исторически наиболее поздних типов хозяйства — плужное земледелие умеренной зоны, животноводство, имеющее подсобное значение, и различные формы сочетания сельского хозяйства с обрабатывающей городской и сельской промышленностью. Но в некоторых районах этот преобладающий традиционный тип варьировал или уступал место другим типам. Так, в высокогорных районах основным типом хозяйства было альпийское (отгонное) скотоводство, в северных областях — стойловое животноводство. На побережье северных и южных морей на первый план выступало рыболовство. Преимущественно в горных областях исторически преобладали сельские и городские промыслы, тесно связанные с рынком. Различия этих хозяйственно-культурных традиционных типов придают еще более пестрый вид этнокультурной карте Европы.

Сравнительная легкость общения между жителями отдельных областей Европы содействовала выравниванию культурного уровня народов и формированию определенного культурного единства всего населения Европы. Но это единство не мешало значительному разнообразию культурных типов.

Конечно, не надо забывать, что названные здесь традиционные типы хозяйства и культуры в ходе длительного процесса индустриализации и урбанизации (правда, неравномерного в странах Европы) сильно изменились как в капиталистическом, так и в социалистическом мире. В частности, теперь почти во всех европейских странах промышленности преобладает над сельским хозяйством.

Культурная общность европейских народов — явление динамическое. Она складывалась и видоизменялась на протяжении многих веков социального развития, общего роста материального производства, взаимодействия языков и культур. Исторически менялись не только границы отдельных этнических общностей, но и внутренняя структура каждой из них. Это дает право рассматривать Европу не только как определенную историко-культурную зону, но и как известного рода систему, состоящую из взаимодействующих частей.

Нерешенным остается пресловутый вопрос о происхождении индоевропейских языков и народов. О его значении свидетельствует уже тот факт, что на индоевропейских языках говорит подавляющая часть населения Европы. Родство языков индоевропейской семьи было открыто еще в начале XIX в. В настоящее время лингвистами исследованы во всех подробностях эти языки, их взаимосвязи. Но до сих пор много спорят о том, когда и где впервые зародились эти языки, как соотносятся они с другими языками (вспомним, например, «ностратическую» теорию В. Иллич-Свитыча)²³.

Помимо политических связей, помимо взаимодействия языков был еще один фактор, в течение столетий влиявший на культурные отношения между европейскими народами, — это церковно-конфессиональные различия. Еще в III—X вв. почти во всех странах Европы распространено было христианское вероучение, пришедшее с Ближнего Востока. Эта новая религия, вытеснившая местные «языческие» культы, послужила мощным фактором культурной интеграции европейских народов. Однако уже в середине XI в. христианская Европа резко раскололась на западную, «католическую», строго централизованную, подчинявшуюся римскому епископу («папе»), и на восточную, «православную» церковь, тяготевшую к византийскому патриарху, но не столь монолитную. Позднее, в XVI в., от католической церкви стали откалываться различные «протестантские» церковные общины и секты. Разница между конфессиями касалась не столько чисто богословских доктрин, сколько отношения к светской и политической жизни: от сурового аскетического

²³ Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Т. 1. М., 1971.

кальвинизма до более толерантного лютеранства и гибкого православия.

Уже на ранних стадиях исторического процесса в Европе складывались историко-культурные общности, о чем свидетельствуют и локальные археологические культуры. Предметом острых дискуссий служит до сих пор проблема этнической интерпретации археологических культур. Одним из первых ученых, связавших выявленные в Европе археологические культуры с конкретными этносами, был испанец П. Бош-Гимпера²⁴. Однако многие археологи в настоящее время поняли бесперспективность прямого сопоставления археологических и этнических культур. Советские археологи и этнографы чаще всего соотносят теперь археологические культуры с хозяйственно-культурными или историко-этнографическими областями²⁵. Тем самым ограничивается возможность использования археологических данных для этногенетических реконструкций. Так, путем ретроспективного метода ученые связывают определенные археологические памятники V—VI вв. в Европе со славянами, о более же раннем периоде славянского этногенеза можно только делать предположения.

Смена археологической культуры далеко не всегда означает и смену этноса. Например, после падения Великоморавского государства и прихода венгров в Подунавье, как показали археологические раскопки последних лет в Словакии, еще в X в. была явная граница между северными районами со славянским населением, сохранившим великоморавскую культурную традицию, и южными, славяно-венгерскими районами (так называемая белобродская культура, отражающая скотоводческий культурно-хозяйственный тип). Однако в XII в. эту границу между северными и южными районами уже невозможно выявить²⁶, так как, по-видимому, за это время произошли существенные перемены в социальной жизни населения: после присоединения северных областей современной Словакии к Венгерскому королевству сформировалась новая историко-этнографическая общность в границах средневековой Венгрии.

Для каждой исторической эпохи характерна своя структура историко-этнографических областей. Проблема этнографического районирования Европы даже на одном историческом этапе очень сложна, работа в этой области еще только начинается. Большим препятствием служит неравномерность изученности традиционно-бытовой культуры в разных странах; выявление историко-культурных комплексов и систем ареалообразующих факторов станет возможным только после создания Этнографического атласа Европы.

Непременная черта всех историко-этнографических общностей — их иерархичность. Исследования последних лет позволяют выделить ряд отдельных, разновременных по происхождению историко-этнографических областей разного уровня в пределах СССР и Зарубежной Европы, обладающих комплексом характеристик, сближающих их между собой. Это, например, Юго-Восточная Европа²⁷, Карпатский регион²⁸, Восточная Прибалтика²⁹, Урало-Поволжский регион³⁰.

²⁴ Bosch-Gimpera P. Les Indo-Européens, problèmes archéologiques. P., 1960.

²⁵ См.: Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Т. I—II. М., 1973, 1974; его же. Задачи и возможности археологической картографии. — Сов. археология, 1962, № 1, . 18; Проблемы типологии в этнографии. М.: Наука, 1979, с. 146.

²⁶ Hadovštiak A. Stredoveké zaniknuté sídliska ako predmet historicko-archeologického výskumu. — Archeologica Historica, 1973, № 1, s. 221—228; Lidová kultura a souvislost, sv. V — Lidová stavební kultura. Brno, 1981, s. 20.

²⁷ Иванова Ю. В. Формирование культурной общности народов Юго-Восточной Европы. — Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. М., 1982, с. 164—173.

²⁸ Бромлей Ю. В., Грацианская Н. Н. Проблемы этнографического изучения культурной общности населения Карпат. — Карпатский сборник (Ethnographia Carpatica). 1976, с. 7—15.

²⁹ Терентьева Л. Н., Шлыгина Н. В. К вопросу о формировании этнографических единиц Прибалтийского региона. — В кн.: Проблемы типологии в этнографии. М., 1979, с. 28—38.

³⁰ Пименов В. В. Урало-Поволжская историко-этнографическая область. — В кн.: Проблемы типологии в этнографии, с. 39—47.

Большую историко-этнографическую область представляла собой прежняя Австрия (Австро-Венгрия), объединявшая в своих границах много народов. «Пока разные нации живут в одном государстве,— писал В. И. Ленин,— их связывают миллионы и миллиарды нитей экономического, правового и бытового характера»³¹. На развитие традиционной бытовой культуры в Габсбургской империи, несомненно, повлияли многочисленные регламентации австрийского правительства, касающиеся системы землевладения (это отразилось на формах поселений и усадеб) и характера строительного материала, что повлекло за собой изменения в жилище и системе отопления; регламентации в одежде для разных слоев населения сказались на развитии народного костюма и т. д. Серьезные изменения в бытовой культуре сельского населения произошли вследствие урбанизации, темпы которой усилились во второй половине XIX в. (яркий пример того — контаминация элементов народного костюма и городской одежды).

В свете этнографических исследований последних лет славянская культурная общность, единство которой по традиции считалось особенно тесным, представляется рассеченной на ряд историко-этнографических областей, объединяющих разные группы славян с другими, соседними народами. Культурная дифференциация славянства стала ощутимой уже в средневековье, когда зона влияния католической церкви начала для западных славян отказ от славянской литургии и древнеславянского литературного языка. В процессе дальнейшего развития различия усугублялись государственными границами.

Балканские славяне, входившие в состав Османской империи, вследствие обособленности и замедленного социально-экономического развития приобрели многие черты, отличающие их в культурном отношении от родственных им южных славян империи Габсбургов, но в то же время объединяющие с другими (неславянскими) народами, оказавшимися под властью Османского государства.

Разновременные по происхождению и различные по своим культурно-бытовым особенностям историко-этнографические области в пределах Европы при разной степени сохранности существуют и в наши дни. Складывание новых историко-этнографических областей продолжается. Тенденция к формированию такого нового ареала заметна у европейских стран социалистического содружества — как следствие тесных межгосударственных связей, экономической и культурной интеграции. Социалистический образ жизни, связанный с социалистическим общественным строем, утверждался в этих странах вместе с коренными социально-экономическими преобразованиями. В каждой из них социалистический образ жизни имеет свои особенности, однако общие черты его определяются самим характером социального строя. Стирание социальных различий, социальная однородность приводят к выравниванию условий жизни всех слоев населения. Это сказывается не только в материальной, но и в духовной культуре. Создается новая система ценностей качественно отличная от ценностных ориентаций, поведенческой культуры классовых буржуазных обществ. Большую роль в процессе совершенствования социалистического образа жизни играет целенаправленное управление культурными традициями, осуществляемое государством³².

Вместе с тем процесс сглаживания культурно-бытовых различий идет и в пределах всей Европы под влиянием индустриально-городской культуры, но он неодинаков в разных сферах социальной жизни.

³¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24, с. 175.

³² Развитой социализм: общее и специфическое в его строительстве. М., 1980. Белова Л. В. Социалистический образ жизни. Л., 1980; Проблемы социалистического образа жизни. М.: Наука, 1982; *Hadžinikolov V. Die sozialistische Lebensweise. — Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte. B. 7, 1979, S. 27—48; Hulaková M. Životní způsob a problem hodnot. Pr., 1980; Linhart Y. Dynamika sociálně třídni struktury a změny způsobu života v Československu. — Sociologický časopis, Pr., 16, 1980, № 13.*

ТИПЫ СКОТОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА У КИРГИЗОВ ПАМИРО-АЛАЯ И КАРАТЕГИНА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

Киргизы, проживавшие в начале XX в. на Памиро-Алае и в Каратегине, составляли особую группу племен под общим названием «ичкилик». По мнению ряда исследователей, в конце XVII в. калмыки успевшие Джунгарского государства вытеснили их из Восточного Туркестана в труднодоступные районы Восточного Памира, Алайской долины и Каратегина, где они и расселились тремя большими компактными группами, в составе которых были племена тейит, гыдырша (кесек), кыпчак, займан, джоо кесек, канды, бостон, нойгут, тёлёс и аватат (ават¹). Кроме того, часть киргизов-ичкиликов поселилась в юго-восточных районах Ферганской долины.

В течение почти трех веков со времени расселения киргизов-ичкиликов в районах Памиро-Алая и Каратегина вся их этническая история была тесно связана не столько с северными и даже южными киргизами Ферганы и Восточного Туркестана, сколько с их ближайшими соседями — таджиками и узбеками. Особенно это относится к киргизам Каратегина, часть которых давно перешла к земледелию и оседлости и уже длительное время живет в одних кишлаках с таджиками. Последнее обстоятельство способствовало сближению навыков хозяйственной деятельности и образа жизни представителей обоих этих народов, живущих бок о бок.

Настоящая статья посвящена прежде всего анализу специфики традиционного скотоводческого хозяйства киргизов-ичкиликов, расселившихся в экологически различных районах Памиро-Алая и Каратегина. Предпринятое исследование позволяет выделить типы скотоводческого хозяйства и хозяйственно-культурные типы², которые исторически сложились в каждой из трех групп киргизов-ичкиликов.

Изучение поставленных вопросов представлялось автору важным прежде всего с точки зрения научной-практической — как подготовка типологической сводки конкретного материала для карт Историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана по традиционному скотоводству, с охватом довольно обширной и географически своеобразной территории горной части Среднеазиатского региона. С другой стороны, наши материалы могут в какой-то степени быть использованы и для более широких задач — дальнейшей разработки пока еще спорных построений этнографической классификации типов скотоводческого хозяйства. Прослеживается также влияние экологической среды, природно-географических условий и зонально-ландшафтных различий на типы скотоводческого хозяйства.

Статья основана преимущественно на полевых материалах, собиравшихся автором во время неоднократных поездок в Мургабский и Джиргатайский районы Таджикской ССР, Алайский район Киргизской ССР, а также на Алтай и в Туру в 1965, 1966, 1970—1973, 1975, 1979 и в 1983 гг. (в том числе в составе Предгорного и других отрядов Среднеазиатской экспедиции Института этнографии АН СССР).

¹ Исторические сведения о передвижениях киргизов и о племенах ичкиликов см.: Аристов Н. А. Киргизы во время Кадмышского владычества. 1894 — Рук. фонды отд. общественных наук АН Киргизской ССР, инв. 4019, с. 3; его же. Этнические отношения на Памире и в прилегающих странах. — Русский антропологический журнал, 1900, № 3, с. 64; Абрамзон С. М. Киргизы. — Народы Средней Азии и Казахстана. Т. II. — Тр. Ин-та этнографии АН СССР (ТИЭ), М., 1963, с. 163, с. 165—166; Бартольд В. В. Киргизы. Исторический очерк. Соч., т. II, ч. I. М., 1963, с. 517—519; Винников Я. Р. Родо-племенной состав и расселение киргизов на территории Южной Киргизии. — Тр. Киргизской археолого-этнографической экспедиции. М., 1956, т. 1, с. 157—169; Кисляков Н. А. Очерки по истории Каратегина. Душанбе, 1954, с. 32—39; Ситняковский Н. Ф. Таблица киргизских родов Ошского уезда. — Изв. Туркестанского отдела РГО. Ташкент, 1900, в. 2; Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. — Сов. этнография, 1955, № 4.

Различия в хозяйстве киргизов-ичкиликов Памиро-Алая и Каратегина в значительной мере объясняются отличиями местной экологической среды, в которой условно можно выделить три экологически «этажа». Верхний — Восточный Памир на высоте от 4000 до 3600 м над уровнем моря; средний — западная часть Алайской долины, на высоте 2600—2200 м над уровнем моря; и нижний, Каратегин, на высоте 1800—1400 м над уровнем моря.

Для верхнего «этажа» — Восточного Памира — характерен крайне суровый климат, местами полное отсутствие растительности и каменисто-песчаная поверхность рельефа. В соответствии с местными условиями на Восточном Памире разводились в прошлом и разводят ныне только те виды скота, которые наиболее приспособлены к постоянным передвижениям и поиску подножного корма во все сезоны года, в крайне суровых условиях. Это яки, овцы курдючной породы и козы. И даже они нередко гибли из-за отсутствия подножного корма, который обычно в марте-апреле, особенно если зима была многоснежной, оказывался под толстым слоем оледеневшего снега (наста), и тогда, при отсутствии запасов корма, начинался массовый падеж скота — *джут*³.

Чтобы сохранить поголовье скота в зимнее и весеннее время, обогатив его кормом, киргизы здесь использовали целую систему традиционных хозяйственных приемов, в значительной мере основанных на метеорологических наблюдениях. Летом киргизы поднимались вверх по ущельям на высоту до 5 тыс. м, т. е. на 500—1000 м выше, чем зимой. Перегоняя скот с места на место, они, таким образом, кочевали как по горизонтальным, так и по вертикальным маршрутам, заранее предвидя в зависимости от сезона и погодных условий, где и когда зарождался снегом перевалы, заботясь об избавлении себя и скота от опасности⁴. П. К. Козлов в таком кочевании киргизов Восточного Памира находил много общего с кочеванием обитателей Тибета⁵.

Все пастбища Восточного Памира подразделялись на зимние (*кыштоо*), весенние (*боксоо*), летние (*джайлоо*) и осенние (*кузоо* или *куздоо*). При смене сезонных пастбищ скотоводы учитывали наличие и состояние трав и водоемов в том или ином урочище. Амплитуда кочевания по одним сезонным пастбищам на другие зависела от физико-географических условий тех или иных частей Восточного Памира. Она колебалась в среднем от 5—10 до 40—50 км и в основном соответствовала одному точному переходу без ночлега. В отдельных случаях длина пути достигала 80—135 км, например при перекочевке с весенних пастбищ в долине р. Мургаб на летние пастбища в Чештюбе в урочища Текели-Чон и Чон-Сары-Горум, расположенные на самом юге Восточного Памира. В этом случае перекочевка происходила с одной ночевкой в пути. В засушливые годы амплитуда кочевания еще более расширялась за счет пастбищ Алайской долины, Тагармы и Тагдумбаша (до начала XIX в.).

Восточнопамирские просторы в сочетании с крайне суровым климатом высокогорья, сделавшим здесь занятие земледелием невозможным, способствовали возникновению и развитию типа «чисто» кочевого скотоводческого хозяйства (с циклическим кочеванием) киргизов. Именно экологическая среда Восточного Памира сделала киргиза «чистым» кочевником. Суровые, длительные, но малоснежные зимы с постоянными ветрами, которые большей частью держали открытым подножный корм для скота, невозможность заниматься земледелием и полное отсутствие древесной растительности — все это создавало условия, заставлявшие киргиза Восточного Памира постоянно

³ Полевые материалы автора. — Сообщение информаторов Тилляева Нурмат — 81 год (пос. Тахтамыш Мургабского р-на ГБАО); Тогузакова Шакира — 63 года (пос. Сентова Ысла — 57 лет (пос. Мургаб).

⁴ *Снесарев А. Е.* Северо-Индийский театр. Военно-географическое описание. Ташкент, 1903, с. 110—111.

⁵ *Козлов П. К.* Тибет и далай-лама. Пг., 1920, с. 28.

⁶ Полевые материалы автора. — Сообщение информаторов Набиева Ченеба — 83 года и Парманкулова Мати — 89 лет (пос. Тохтамыш Мургабского р-на ГБАО).

перемещаться со скотом с одного пастбища на другое в поисках подножного корма, т. е. кочевать с места на место со всей семьей круглый год и жить в приспособленной для такой подвижной жизни разборной орте.

На основе анализа кочевого скотоводства в степях Казахстана и Зап.-Алтая Л. П. Потапов⁷ сделал, на наш взгляд, совершенно правильный вывод, что вся система кочевого скотоводства с пастбищным выпасом скота и постоянным кочеванием всего населения могла возникнуть и развиваться лишь при наличии огромных пространств, занятых пастбищами. Именно такими угодьями как раз и располагали киргизы Восточного Памира и Алайской долины.

Анализ полевых материалов, выводов исследователей прошлого, а также специфики экологической среды приводит к заключению, что киргизов Восточного Памира на рубеже XIX—XX вв. существовал хозяйственно-культурный тип № 26-в (по классификации Б. В. Андрианова)⁸ — тип «скотоводов-кочевников аридной зоны», «высокогорный» подтип, и один тип хозяйства — «чисто кочевое экстенсивное скотоводческое хозяйство», в котором применялся один тип кочевания — «горизонтально-вертикальный».

Средний экологический этаж (2600—2200 м над уровнем моря) — это западная часть Алайской долины, обладающая уже другими природно-климатическими условиями. Алайская долина расположена на 1400 м ниже Восточного Памира. Зимы в Западном Алае менее продолжительны и морозны, чем на Восточном Памире, но, как правило, очень снежные (высота снежного покрова достигает более чем 2 м). Поэтому скотоводы ввиду недоступности подножного корма в многоснежные зимы вынуждены были заготавливать необходимые запасы кормов на зиму, так как скот мог погибнуть от бескормицы. В то же время в Западном Алае существовали и существуют ныне весьма благоприятные условия для заготовки кормов — сенокосением богатых естественных трав и посевами клевера, люцерны, эспарцета и зерновых (ячменя и пшеницы). Местное население этого региона вело не чисто кочевой, как на Восточном Памире, а полукочевой образ жизни. Наряду со скотоводством местные жители занимались земледелием и проживали в зимнее время не в юртах, а в постоянных глинобитных домах (*тамах*). Здесь разводили в прошлом и разводят сейчас главным образом овец, также яков, крупный рогатый скот и лошадей⁹. Земледелие на Алае служило лишь средством для обеспечения скота кормами и не имело еще в конце XIX в. самостоятельного значения. Эту особенность хозяйства алайских киргизов-ичкиликов отметил, в частности, А. П. Федченко¹⁰. Тип кочевания алайских киргизов был в основном таким же, как и на Восточном Памире, — «горизонтально-вертикальным», но порядок кочевания и стравливания пастбищ здесь несколько отличался. На Алае кочевание начинали ранней весной с южных склонов Алайского хребта, затем в начале июня семьями перекочевывали через Алайскую долину на северные склоны Заалайского хребта и в конце августа — начале сентября опять перегоняли скот на южные склоны Алайского хребта, где к этому времени снова вырастали травы. Кочевники как бы «гонялись за вечной весной», на что в свое время обратил внимание К. К. Казанский¹¹. В начале декабря они возвращались на зимники в долины рек Кызылсу и Коксу, где были расположены постоянные глинобитные жилища и посевы. По классификации В. Андрианова, у киргизов западной части Алайской долины существовал хозяйственно-культурный тип № 27-б — «полукочевых скотово-

⁷ Потапов Л. П. Особенности материальной культуры казахов, обусловленные кочевым образом жизни. — Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР, 1949, т. XII, 44.

⁸ Андрианов Б. В., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и проблемы картографирования. — Сов. этнография, 1972, № 2, с. 15—16, карта.

⁹ Сообщения многочисленных информаторов и личные наблюдения автора.

¹⁰ Федченко А. П. Путешествие в Туркестан. Т. I, ч. II. СПб. — М., 1875.

¹¹ Казанский К. К. Вблизи Памиров. Ташкент, 1895, с. 102—104.

дов-земледельцев аридной зоны теплого и умеренного поясов с горной подтином»¹² и один тип хозяйства — «полукочевое скотоводческое земледельческое хозяйство».

Нижним из трех экологических «этажей» является Восточный Каратегин (высота его долин над уровнем моря — 1400—1800 м), ныне Джиргатальский район Таджикской ССР. Его границами были на востоке невысокие горы Унджю с перевалом Тура-Тал, отделяющие Каратегин от Алайской долины, на севере — Алайский хребет, на юге — хребет Петра I и на западе — устье р. Оби-Кабуд. В этих границах, в основном в долине р. Кызылсу-Сурхоба и в долинах ее главных притоков (Муксу и Оби-Занку), в непосредственном соприкосновении с оседлыми таджиками расселилась одна из трех групп киргизов-ичкиликов (теиты, гыдырша, кыпчаки и найманы). В некоторых кишлаках часть киргизов жила вместе с таджиками. Особенно много ныне таких кишлаков со смешанным киргизско-таджикским населением в долине р. Оби-Занку, а также на Ляхше (всхолмленная долина между реками Кызылсу и Муксу), где расположено более десятка кишлаков¹³. Западнее Джиргаталья в долине р. Сурхоба вплоть до самого западного киргизского кишлака Сайрон проживает теперь преимущественно таджикское население. В середине XIX в. здесь было много киргизов, которые постепенно вытеснялись таджиками — переселенцами из других районов¹⁴. «Территория, занятая таджиками, медленно расширяется, оттесняя на восток киргизские поселения, — писал В. Н. Ошанин, — мы говорили, что лет 40 тому назад вся долина Сурхоба, выше устья Оби-Кабуда, принадлежала киргизам»¹⁵.

В Восточном Каратегине в конце XIX — начале XX в. жило как илуоседлое, так и оседлое население. Это подтверждают наши информаторы¹⁶ и исследователи того времени: «Таджики здесь ведут, как и всюду в Средней Азии, оседлый образ жизни, — писал В. Н. Ошанин, — главное их занятие земледелие, скотоводство играет второстепенную роль; в летнее время некоторые из них (включая и киргизов) заняты и отходничеством, уходя на заработки в Ферганскую долину». Природная среда Каратегина (мягкий климат, плодородные почвы, неограниченные запасы воды для орошения) способствовала развитию именно земледелия, а вместе с ним и оседлого образа жизни. Кочевое же скотоводство и кочевничество здесь не могли развиваться ввиду незначительных размеров пастбищ и, следовательно, ограниченных возможностей для кочевания. Только родственники алайских киргизов перекочевывали из верхних кишлаков Каратегина на Алай. Расстояние от кишлаков до ближайших яйл на склонах ущелий и гор и до зеленых узких долин небольших речек, где выпасали скот летом, составляло не более 5—10 км¹⁷. «Крупных скотоводов здесь нет и быть не может», — отмечал Г. А. Арендаренко, — так как суровые и многоснежные зимы (снег выпадает глубиной до 2-х сажен) не позволяют держать скот на выгонах, на подножном корму, а запастись сеном на 5 месяцев довольно трудно»¹⁸.

Киргизы Каратегина разводили главным образом овец и крупнорогатый скот, реже лошадей и верблюдов. Но в целом местное скотоводство едва удовлетворяло внутренние потребности местного населения²⁰. Основными земледельческими культурами были пшеница и

¹² Андрианов Б. В., Чебоксаров Н. Н. Указ. раб., карта.

¹³ Полевые материалы автора.

¹⁴ Кысляков Н. А. Очерки истории Каратегина. Душанбе, 1954, с. 39; Кармыев Б. Х. Поездка к киргизам Джиргаталья в 1954 г. — Изв. Отд. общественных наук ТаджССР, 1956, № 10—11, с. 25—26.

¹⁵ Ошанин В. Н. Каратегин и Дарваз. — Изв. РГО, 1881, в. 1, т. XVII, с. 45.

¹⁶ Полевые материалы автора. — Сообщения информаторов Шакирова Шарифа 79 лет, Шарыпова Якуба — 62 года (пос. Джиргаталь).

¹⁷ Ошанин В. Н. Указ. раб., с. 45—47.

¹⁸ Полевые материалы автора.

¹⁹ Арендаренко Г. А. Каратегин. — Воен. сб. за 1878 г., № 5, с. 118, 124.

²⁰ Снесарев А. Е. Восточная Бухара. — Сб. географических, топографических и статистических материалов по Азии. В. 79. Спб., 1906, с. 59.

мень, которыми засеивали большие участки поливных и богарных земель по склонам гор. Пахали и сеяли только весной, обычно в конце апреля — начале мая; озимых посевов не было. Уборка хлебов производилась в августе-сентябре. Выращивали также просо, лен, бобы; развивались огородничество (лук, морковь и капуста), садоводство (яблоки, груши, абрикосы, вишни, черешни и шелковица).

А. А. Семенов, описывая хозяйство горных таджиков и киргизов, отмечал, что «горцы Каратегина, чья и возделывая землю, вместе с тем охотно занимались и пастушеским промыслом и непрочь на некоторое время обратиться в номадов. С наступлением теплых весенних дней они покидали свои кишлаки и отгоняли скот на ближайшие пастбища, расположенные на склонах гор (яйлах). Ставили там кибитки (юрты.— В. С.) или строили из камней убогие хижины, где и пасли скот до наступления холодов. Женщины на полях не работали и вместе с детьми были на летовках, где занимались заготовкой молочных продуктов *впрок*»²¹. Мужчины, оставаясь на зимниках, ухаживали за посевами, заготавливали корм на зиму; в этой работе иногда принимали участие и женщины. Некоторые мужчины становились отходниками в города Ферганской долины. Таким образом, у основной части киргизов Каратегина под влиянием таджиков и благоприятных для земледелия природных условий к началу XX в. сложился полуседлый, а местами и оседлый образ жизни, с развитым земледелием и «стойло-выгонно-яйлажным» выпасом и содержанием скота. Такой тип хозяйства был особенно характерен для горных таджиков и выделен Б. Х. Кармышевой как особый тип традиционного скотоводства в южных районах Узбекистана и Таджикистана²². По мнению этого же автора, некоторые формы материальной культуры (жилище со стенами из пахсы и камня, утварь и др.) у киргизов и таджиков Джиргаталы имели очень мало различий.

В Каратегине, как показывает исследование, большое значение для изменения типа хозяйства от полукочевого к полуседлому, а затем и оседлому имела не только местная экологическая, но и окружающая этническая среда. И благодаря этим двум факторам, у киргизов, как и у таджиков, сложился хозяйственно-культурный тип «оседлых пашенных земледельцев и скотоводов», по классификации Б. В. Андрианова — ХКТ № 23 б и в.

На конкретном этнографическом материале мы смогли убедиться, что даже в одной группировке племен киргизов-ичкиликов, расселившихся на трех различных экологических «этажах», ввиду существенных различий экономической и частично этнической среды в один и тот же период сложились и три различных типа скотоводческого хозяйства: «чисто кочевое экстенсивное скотоводческое хозяйство» у киргизов Восточного Памира, полукочевое скотоводческо-земледельческое хозяйство у киргизов западной части Алайской долины и полуседло-оседлое земледельческо-скотоводческое хозяйство у киргизов Восточного Каратегина. Соответственно трем типам скотоводческого хозяйства сформировались три различных хозяйственно-культурных типа.

²¹ Семенов А. А. Указ. раб., с. 49—53. Подобный образ жизни был и у каракалпак-кунгратов центральной дельты Амударьи и Сырдарьи, у которых выявлен особый ХКТ полуседлых земледельцев-скотоводов и рыболовов (см. Жданко Т. А. К вопросу о хозяйственно-культурном типе полуседлых скотоводов-земледельцев-рыболовов дельтовых областей Средней Азии.— В кн.: Этнография и археология Средней Азии. М.: Наука, 1979, с. 151—153).

²² Кармышева Б. Х. Поездка к киргизам Джиргаталы в 1954 г.; *ее же*. Типы скотоводства в южных районах Узбекистана и Таджикистана (конец XIX — начало XX в.).— *там же*. этнография, 1969, № 3, с. 49.

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ АНГОЛА

В истории Анголы особой вехой стал 1975 год. Ангольский народ 400 лет находившийся под гнетом португальских колонизаторов, провозгласил под руководством революционного авангарда — МПЛА (с 1976 г. МПЛА — Партия Труда) свою независимость. Перед молодой республикой встали в качестве первоочередных задачи языкового строительства применительно к конкретным условиям Анголы.

На обширной территории страны проживает большое количество этнических групп, относящихся в основном к языковой семье банту: овимбунду, мбунду, конго, лунда, чокве, нгангела, ньянека-хумбе, амбегереро, ндонга. Ангольский этнограф Ж. Рединья выделяет в Анголе 12 групп и 122 подгруппы африканских языков¹: наиболее распространенными из них (охватывающими до 70% населения Анголы) являются языки умбунду (2100 тыс. чел.), кимбунду (1600 тыс. чел.) и киконго (800 тыс. чел.), на которых говорят жители прибрежной и центральных частей страны от Кабинды до Бенгелы. Среди небантуязычных следует отметить немногочисленные группы ватуа и бушменов, обитающих в пустынных районах юга страны.

Численность европейского (в основном португальского) населения постоянно менялась. До 1900 г. оно почти исключительно состояло из представителей португальской военной и гражданской администрации и миссионеров. О сколько-нибудь значительном количестве белых колонистов можно говорить лишь начиная с XX в., причем первоначально большинство из них отправлялось за океан на заработки без семей, обосновывалось в городах и административных центрах Анголы, а затем возвращалось на родину. Однако рост мировых цен на кофе в 40–50-е годы нашего столетия вызвал значительный приток в Анголу: закрепление на местах португальских переселенцев, которые получали за бесценок лучшие земли и создавали на них сельскохозяйственные плантации, где использовался подневольный труд африканцев. В 60-е годы фашистское правительство Португалии провело различного рода пропагандистские кампании для укрепления своего пошатнувшегося колониального господства в Анголе и стимулировало миграцию португальцев в «заморские провинции», где они начали обосновываться семьями. К началу 70-х годов численность белого населения в Анголе выросла в 3,5–4 раза по сравнению с первой половиной века и достигла 400 тыс. человек². Кроме того, с началом вооруженной борьбы африканских патриотов против португальских колонизаторов в 1961 г. в Анголе находился 80-тысячный экспедиционный корпус португальской армии.

Из 150 тыс. лиц смешанного происхождения³ большинство составляли «ассимилированные» ангольцы, проживавшие в городах, получившие образование в Анголе или Португалии и, как правило, представлявшие привилегированную прослойку среди африканцев.

Ряд причин, в основном политического и расового характера, вызвал массовый отъезд лиц европейского происхождения в Португалию ЮАР в период деколонизации 1974–1975 гг. (это количество колеблется от 250 до 450 тыс. чел.), а также отъезд части африканского населения, находившейся в непосредственном контакте с колониальной администрацией.

В 1978 г. общая численность населения НРА была 6,7 млн. человек, из них ангольцы португальского происхождения составляли ме-

¹ Redinha J. Etnias e Culturas de Angola. Luanda, 1975, p. 23.

² Chapman M. Angola on the Road to Progress. Luanda, 1971, p. 3.

³ В колониальной Анголе существовало четко осознаваемое социальное разделение на три основные подгруппы в зависимости от оттенка кожи: cabritos (наиболее светлые), mulatos (средние) и safulos (самые темные).

№ 4. Население Анголы продолжает расти и в настоящее время приближается к 8 млн. жителей⁵.

Сразу после завоевания Анголой независимости важное место в деятельности государства занял вопрос определения языковой политики. В условиях недостаточной развитости африканских языков Анголы и отсутствия среди них единого, понятного большинству населения страны языка⁶ официальным языком НРА был объявлен португальский. Вся партийная, государственная документация, оформление бумаг и корреспонденции на любом уровне ведутся исключительно на португальском языке, согласно нормативным правилам португальской орфографии, грамматики и стилистики. Все официальные выступления партийных и государственных деятелей на городских митингах, демонстрациях, собраниях делаются на португальском языке (в сельских районах выступающие в целях лучшего их понимания аудиторией обычно ориентируются на местные языки). Португальский язык используется в армии и народной полиции, суде и делопроизводстве; на португальском языке обращаются в любое официальное учреждение. Он является также языком ангольской прессы, телевидения и кино. Государственная программа центрального радиовещания выходит в эфир на португальском языке, хотя одновременно Национальное радио Анголы ведет передачи в других диапазонах, попеременно на нескольких африканских языках. Периферийные радиостанции также уделяют вещанию на африканских языках определенное время, не превышающее, однако, в общей сложности двух-трех часов в день. Католическая и протестантская церковь, отделенные от государства и школы, в своей деятельности используют португальский язык; в то же время отдельные церковные акты могут отправляться и на местных языках.

Помимо статуса официального языка как внутри страны, так и за ее пределами при международных контактах и языка средств массовой информации португальскому отводится роль языка межэтнического общения — в форме разговорного койнэ, — который значительно отличается от современного литературного португальского языка. Однако он ни в коей мере не является креольским языком, наподобие тех, которые существуют на Островах Зеленого Мыса, Сан-Томе, Принсипи или в Гвинее-Бисау. Национальный совет по культуре НРА определил его как «*língua veicular*», т. е. функциональный язык, «служащий средством общения носителей других различных языков... с ограниченным словарным составом и упрощенными морфологическими и синтаксическими структурами»⁷.

Важным фактором сохранения португальским языком своих позиций является то, что «он перестал быть средством, от которого по возможности следовало отказываться из-за того, что он был оружием в руках колонизатора»⁸. Более того, португальский язык стал революционным средством в деле освобождения страны от пут колониализма и неоколониализма, в строительстве нового государства социалистической ориентации, в развитии и становлении национальной культуры.

В сфере образования молодой республике досталось тяжелое колониальное наследство. По официальным данным 1973 г., 85% населения были неграмотны. Подавляющее большинство тех немногих африканцев, которым удалось получить образование, посещало миссионерские

⁵ Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М.: Наука, 1981, с. 561.

⁶ Jornal de Angola, 1983, 30 de Julho.

⁷ Интересно следующее замечание ангольского филолога и историка М. де Андра-де-Алентуша: «В Анголе существуют разные, хотя и родственные, языки. Человек, говорящий на киконго, не понимает другого, который говорит на чокве. Ему придется учить этот язык, хотя это и не будет для него слишком сложным делом» (Diário de Lisboa, 1977, 30 de Junho).

⁸ Reflexões sobre o Estudo das Línguas Nacionais. — Cadernos da Frente Cultural, 4.ª Sér., № 1/Ed. do Concelho Nacional de Cultura. Luanda, 1977, p. 11—12.

⁹ Sylvan F. A Língua Portuguesa e o Seu Ponto de Angústia, Hoje. — Língua Portuguesa, 1977, № 1, p. 12.

школы с определенной идейной направленностью. В сельских районах практически отсутствовали даже начальные государственные школы. В городах и поселках их не хватало. Лишь в начале 70-х годов нашего века число их резко возросло, превысив 5 тыс.⁹ При этом в сельской местности были открыты школы с трехлетним циклом обучения, которые не давали права продолжать обучение в средней школе. Несмотря на то что в стране стало функционировать 17 государственных технических, коммерческих и сельскохозяйственных училищ, 12 лицеев и университет, доступ туда представителей африканского населения был строго ограничен. В соответствии с колониальной политикой «культурной ассимиляции» местного африканского населения обучение на всех уровнях велось исключительно на португальском языке, использование и изучение местных языков категорически запрещалось.

В настоящее время по всей стране развернулась кампания по ликвидации неграмотности (первоначально на португальском языке), направляемая Национальной комиссией по борьбе с неграмотностью. За восьмилетний период после провозглашения независимости НРА около 0,8 млн. человек научились читать и писать по-португальски, около миллиона человек продолжают обучение на различных курсах ликвидации неграмотности, организованных в армии, на промышленных предприятиях, в кооперативах. В 1981 г. успехи страны в борьбе с неграмотностью были особо отмечены ЮНЕСКО присуждением НРА медалью им. Н. К. Крупской.

Идет также перестройка всей системы государственного образования, на нужды которого первоначально было выделено около 30% национального бюджета. Бесплатное обучение детей в школе подразделяется на три уровня по годам (4+2+2) и должно со временем стать обязательным по всей стране. Как отмечалось в выступлении председателя МПЛА — Партии Труда и президента НРА Эдуардо душ Сантуша, в начальных классах приступили к занятиям в 1983 г. 2 млн. учащихся, что в 4 раза превышает число обучавшихся в школе в колониальный период¹⁰. Созданы также новые структуры среднего специального и высшего образования. В средних школах и профессионально-технических училищах сейчас занимаются десятки тысяч учащихся. В столице страны функционирует университет, имеющий филиалы в городах Уамбо и Лубанго.

Преподавание всех дисциплин в учебных заведениях ведется на португальском языке, однако на практике в сельских начальных школах используются для объяснения и африканские языки. Выступая на I съезде МПЛА, первый президент независимой Анголы А. Нето говорил о настоятельной необходимости введения обучения в школе не только на португальском, но и на местных языках¹¹. Пока в программах начальной школы по возможности вводится обучение одному-двум африканским языкам в качестве особой учебной дисциплины.

Ускоренное изучение африканских языков может послужить мощным средством в борьбе с неграмотностью в сельских районах, способствовать повышению культурного уровня сельского населения, так как, согласно утверждению Национального совета по культуре НРА, большинство ангольского народа не говорит и не понимает по-португальски¹². Это подтверждают и данные опроса, проведенного в 1972 г. Ф.-В. Хаммером в сельской местности¹³.

Говорят по-португальски (от общего числа опрошенных): бегло — 1%; сравнительно бегло — 4%; удовлетворительно — 16%; на самом элементарном уровне — около 24%. Не знают языка — примерно 53%.
Используют португальский язык (от общего числа опрошенных): пер-

⁹ Portugal. Anuário Estatístico, 1973, v. 2: Territórios Ultramarinos. Lisboa, 1974, p. 51.

¹⁰ Jornal de Angola, 1983, 19 de Novembro.

¹¹ I съезд Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА), М., 1975, с. 80.

¹² Reflexões sobre o Estudo das Línguas Nacionais, p. 13.

¹³ Bender G. J. Angola under the Portuguese. L., 1978, p. 211.

чно — 1%; достаточно часто — 8%; очень редко — 31%; никогда — выше 59%.

Проблема использования португальского в качестве языка обучения в школе осложняется и складывающейся демографической ситуацией в стране. Резкое увеличение рождаемости в последнее десятилетие в глубинных районах Анголы повлекло за собой, естественно, появление большого количества детей школьного и дошкольного возраста, обучение которых на неродном языке представляется весьма затруднительной задачей, хотя определенный опыт в этой области был накоплен за время партизанской борьбы в «лесных школах», где бойцы МПЛА обучали детей грамоте на португальском языке.

Страна сталкивается с острой нехваткой учителей средней и особенно начальной школы, отсутствием новых учебников, слабостью полиграфической базы, трудностями материального обеспечения учебного процесса. В самой Анголе и за рубежом идет ускоренная подготовка учителей, однако для страны серьезной остается проблема качества обучения. Так, к 1978 г. только 7% от общего числа учителей начальных школ прошли надлежащую профессиональную подготовку, а 52% имели сами лишь начальное образование.

Сегодня в рамках межправительственных соглашений с Португалией и Республикой Острова Зеленого Мыса в школах НРА работают иностранные учителя. Из Республики Куба для оказания безвозмездной помощи ангольскому народу в области образования в 1981 г. прибыл уже третий многочисленный отряд молодых учителей и студентов педагогических вузов — «Бригада Че Гевара»¹⁴. В связи с этим у части португальской и ангольской интеллигенции появились некоторые опасения за чистоту португальского языка в Анголе¹⁵, который во многих сферах жизни страны находится в непосредственном контакте с испанским языком вследствие большой интернационалистской помощи, оказываемой НРА кубинскими специалистами¹⁶. Правительство НРА пригласило также ряд иностранных преподавателей, в том числе кубинских и советских, оказать содействие в подготовке кадров высшей школы. Учитывая эти факторы, а также ряд обстоятельств чисто лингвистического порядка (например, неустойчивость терминологической системы португальского языка и ее неразработанность в африканских языках Анголы), можно предполагать появление в скором будущем определенных иноязычных (особенно испанских) заимствований в португальском и африканских языках НРА.

Руководствуясь ленинским положением о необходимости развития всех национальных языков и введения на них (по желанию) обучения в школах, используя богатый практический опыт СССР в решении этих вопросов¹⁷, партийные и государственные органы НРА проводят последовательную языковую политику, направленную на изучение и развитие местных африканских языков. Большую научно-исследовательскую работу в этом отношении осуществляет Национальный институт языков в Луанде, где работала группа югославских лингвистов из Института фонетики (г. Загреб).

Первыми шагами Национального института языков были официальное утверждение алфавитов языков кимбунду, умбунду, чокве и определение орфоэпической нормы этих языков. Были выделены семь наиболее распространенных языков Анголы (умбунду, кимбунду, чокве, фиоте, очикуньяма, чингангела и киконго), которые на первом этапе стали объектом тщательного лингвистического изучения¹⁸. Позднее их число было сокращено до шести: киконго (северные провинции Кабинда, Зай-

¹⁴ Cuba Internacional, 1981, № 4, p. 3.

¹⁵ Língua Portuguesa, 1978, № 1, p. 16.

¹⁶ В беседе с автором этой статьи работники Министерства образования НРА полупути-полусерьезно обсуждали даже вопрос о возможности возникновения нового языка — «portanhol» (português + espanhol).

¹⁷ Reflexões sobre o Estudo das Línguas Nacionais, p. 18.

¹⁸ Jornal de Angola, 1979, 2 de Maio.

ре и Уижи), кимбунду (Луанда, частично Сев. Кванза и Маланжи), чомбе (северо-восточные провинции Сев. Лунда, Юж. Лунда и частично Мошико), умбунду (центральные провинции Бенгела, Уамбо и Биэ), кимбунду (восточная провинция Мошико) и очикуньяма (южная провинция Кунене)¹⁹. Предполагается, что преимущественное развитие этих языков будет способствовать процессам очаговой этнической консолидации.

Планируется также осуществление программы, включающей следующие виды работ: создание исчерпывающего перечня языков устного общения и диалектов, определение числа носителей каждого из них; изучение степени билингвизма носителей языка; разработка современного лингвистического атласа и грамматик африканских языков; создание систем письма и букварей на шести местных африканских языках и другие. Одной из важнейших задач является также участие в проведении всеобщей переписи населения НРА, начавшейся в октябре 1983 г. в Луанде.

В планировании языковой политики Государственный секретариат по культуре НРА (ранее Национальный совет по культуре) исходит из ленинского положения о недопустимости насильственного насаждения какого-либо языка или же создания ему привилегированного статуса. Языковая политика должна способствовать укреплению дружественных отношений между различными этническими группами, прежде всего между мбунду, овимбунду и конго, так как ангольские раскольнические группировки УНИТА и Фронт национального освобождения Анголы (ФНЛА), являющиеся в своей основе узкоэтническими организациями (овимбунду и конго), уже пытались использовать языковой, этнический и расовые вопросы в борьбе против МПЛА.

В противоположность им МПЛА с момента образования объединяет в своих рядах представителей различных этнических и расовых групп Анголы. В настоящее время МПЛА — Партия Труда и правительство НРА провозгласили в Конституции и повседневно обеспечивают равные права всем ангольским гражданам, вне зависимости от их расовой и этнической принадлежности. Социалистическая ориентация НРА и целенаправленная политика в языковом вопросе создают хорошие условия для планомерного языкового строительства с опорой на португальский язык при одновременном и равноправном развитии местных африканских языков.

Специфика языковой ситуации в НРА состоит в том, что помимо языка межэтнического общения португальский является также родным языком ангольцев (около 50 тыс.) португальского происхождения, принявших ангольское гражданство и полностью идентифицирующих себя с ангольским народом. Значительная их часть родилась и выросла в Анголе и по праву считает ее своей родиной. Кроме того, португальский является единственным языком части собственно африканского населения Анголы (не говоря уже о лицах смешанного происхождения), представляющей зачатки возможной в будущем межэтнической общности.

Португальский язык широко распространился как второй, дополнительный к родному язык среди городских африканских жителей, составляющих четвертую часть всего населения НРА. Так, например, согласно данным Р. Л. Монтейро за 1973 г., все мужчины и 85% женщин из мусульманских (африканские бедные кварталы) Луанды могли изъясняться на португальском языке²¹. В городах португальский служит языком коммуникации (наряду с африканскими) на улице, в транспорте, в магазине, на рынке и т. д. Он постепенно становится языком общения внутри африканской семьи, а для большей части африканских детей, выросших в городе, он уже стал основным языком. В сельской местности подобное двуязычие выражено в гораздо меньшей степени, чем в городе. Тем не менее около половины всего населения НРА можно отнести к категории би-

¹⁹ Legère K. Rec. ad op.: Histórico sobre a criação dos alfabetos em línguas nacionais. Luanda, 1980, 178 p. — Asien, Afrika, Lateinamerika. Berlin, 1981, B. 9, № 6, p. 1147.

²⁰ Reflexões sobre o Estudo das Línguas Nacionais, p. 17—18.

²¹ Bender G. J. Op. cit., p. 222.

Лингвов, в разной мере владеющих и пользующихся португальским и одним или несколькими африканскими языками. Таким образом, в условиях экономической, политической и культурной интеграции, характерной для современной Анголы, португальский язык играет особо важную роль.

Большое значение для выработки единого национального языка государства имеет соединение разговорного языка с литературой, т. е. развитие литературы на народно-разговорной основе. Письменная ангольская литература на португальском языке появилась еще в XIX в. Уже тогда отдельные авторы пытались передать в своих произведениях характерный «народно-ангольский вариант» португальского языка, присутствия речи негров и мулатов. Эта традиция продолжается в произведениях современных писателей НРА, в частности Луандино Виейры, Жофре Роши, Боавентура Кардозо и др., которые, используя несобственно прямую речь, создают произведения, целиком написанные на основе ангольского городского просторечия²².

По мнению Е. А. Рязовой, в литературе Анголы «начинает все отчетливее вырисовываться любопытная тенденция — малозаметная на первых порах, ненавязчивая языковая дифференциация, предпосылки для возникновения особого, местного, можно сказать, национального языка в начальной стадии формирования»²³.

Со стороны государственных учреждений и общественных организаций НРА предпринимаются усилия для развития литературы на африканских языках²⁴. В 1977 г. в речи на церемонии избрания руководящих органов Союза ангольских писателей (САП) А. Нето, говоря о задачах национальной культуры вообще и ангольской литературы в частности, отметил, что их невозможно решать только на основе португальского языка, и призвал САП оказывать особую поддержку тем писателям, которые в своем творчестве используют один из африканских языков Анголы²⁵.

Таким образом, как показывает анализ языковой ситуации в НРА, африканские языки будут, по-видимому, играть в ближайшие годы все возрастающую роль во всех областях жизни ангольского общества, несколько потеснив позиции португальского языка. Однако, как показывает опыт других развивающихся стран Африки, долгое время находившихся под колониальным владычеством, полный отказ от использования европейского языка на раннем этапе самостоятельного развития не только невыгоден, но и невозможен. А в конкретных условиях НРА португальский язык и впредь будет выполнять свои функции в обществе, развиваясь в направлении формирования особого ангольского варианта португальского языка.

²² М. де Андраде высказывает следующее мнение: «Язык, на котором говорит житель Луанды и который Луандино Виейра передает в своих рассказах, — это португальский язык, видоизменившийся под влиянием структуры кимбунду» (Diário de Lisboa, 1977, 30 de Junho).

²³ Рязова Е. А. Португалоязычные литературы Африки. М., 1972, с. 167.

²⁴ До завоевания Анголой независимости письменные формы литературного выражения на африканских языках не получили широкого распространения. Лишь в конце XIX в. в Анголе появился ряд произведений на кимбунду, однако колониальная администрация вскоре пресекла дальнейшие попытки каких бы то ни было публикаций на местных языках.

²⁵ Africa. Lisboa, 1978, № 1, p. 36.



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

М. Ф. Альбедиль

ПРОТОИНДИЙСКОЕ ПИСЬМО: ИТОГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протоиндийские тексты являли собой пример неизвестного письма, которым записаны тексты на неизвестном языке, т. е. самый сложный для дешифровки, но и самый привлекательный вариант, вызывающий чувство то ли безнадежной горечи, то ли упрямой надежды. Это чувство усугублялось полным отсутствием каких бы то ни было сведений о языке, письменности текстов и об их творцах. Нельзя было рассчитывать на обычную в подобных изысканиях помощь билингв, трилингв и т. д. Ничего подобного до сих пор не обнаружено, и остается лишь решительно уповать на счастливый случай или удачливую лопату археолога. Среди протоиндийские надписи, скудные по количеству, лапидарные и разнообразные по содержанию, ставили под сомнение принципиальную возможность дешифровки, т. е. установления чтения знаков забытой системы письма. «Проблема, всплывшая со дна Инда, с одной стороны, чрезвычайно важна, с другой же — почти полностью бесперспективна», — писал итальянский ученый П. Мериджи, в числе многих прочих исследователей предпринявший попытку взять эту неприступную крепость. Продолжая это тривиальное, потускневшее от частого употребления, тем не менее заново переживаемое каждым исследователем сравнение, можно сказать, что немало смельчаков разделило участь П. Мериджи, безуспешно штурмывая, атакуя и осаждая этот великолепно укрепленный форт, манящий своей недоступностью и сулящий победителям немалое богатство. Среди «нападавших» были и талантливые ученые с блестящей эрудицией и тонкой интуицией, и безвестные дилетанты-энтузиасты, которые имели шанс повторить научный подвиг Г. Гротефенда, скромного гимназического учителя из Геттингена, положившего начало дешифровке персидской клинописи. Некоторые из них смогли отыскать рациональные зерна (главным образом при толковании отдельных знаков), другие преуспели в начальном этапе формального анализа текстов (например, Дж. Хантер)². Но были и такие дешифровки, которые можно квалифицировать как плод вдохновенной мечты их создателей, и как не соприкасающейся с реальными данными, где «правильность» ошеломляющих выводов, подкрепленных безудержным полетом фантазии, была очевидна лишь самим дешифровщикам.

Отражая все атаки, отдав лишь некоторые слабо защищенные позиции, твердящая оставалась несокрушимой, продолжая неодолимо привлекать своими неразгаданными тайнами.

Наконец, группа советских ученых под руководством Ю. В. Кнорозова после многолетней осады вторглась в эту неприступную крепость.

¹ Тайны древних письмен. Проблема дешифровки. М.: Прогресс, 1976, с. 488.

² Hunter G. R. The Script of Mohenjo-Daro and Harappa and its Connection with Other Scripts. L., 1934.

³ Результаты дешифровки см.: Кнорозов Ю. В., Albedil M. F., Volchok B. Y. Pr. Indica: 1979. Moscow: Nauka, 1981.

Отсюда отнюдь не следует, что последняя гостеприимно раскрыла «заюевателям» все свои тайны и устроила им триумфальный въезд. По субъективному ощущению, передвижениям внутри крепости ничуть не легче и не менее рискованно, чем снаружи. Битва за овладение тайнами протоиндийских текстов продолжается и ведется в не менее ожесточенной манере, чем прежде, а утомительные поиски правильных решений столь же чреваты ловушками.

Кроме новых «наступательных» задач, осталось много работы, которая велась в ходе дешифровки и продолжается после нее. Имеется в виду — в числе прочего — изучение протоиндийской системы письма или, более конкретно, ее внешней, графической формы.

Прежде чем показывать, в каком направлении планируется разворачивать эту работу, стоит кратко охарактеризовать тип письма — великолепного достижения протоиндийской цивилизации.

Протоиндийские тексты демонстрируют весьма развитую систему письма, определенную как классическая иероглифика, т. е. морфемно-силлабическое письмо⁴. Той же точки зрения придерживалось подавляющее большинство ученых. Тип письма определялся по нескольким параметрам. Во-первых, по общему числу знаков в алфавите (применительно к протоиндийской системе письма слово «алфавит» здесь и далее употребляется в семиотическом значении слова). Число знаков в иероглифических системах письма исчисляется обычно 300—400 синхронно употребляемых графем. С этим показателем неразрывно связан второй: длина блока, т. е. сегмента текста, соответствующего слову или устойчивому словосочетанию. В морфемно-силлабических письменностях знаменательные и служебные морфемы языка передаются в большинстве случаев 1—2 знаками, поэтому при указанном числе знаков в алфавите длина блока сокращается по сравнению с инфрафонемной (знак передает сочетание двух или нескольких фонем), фонемной (знак передает фонему) и силлабической (знак передает слог) системами письма. Наконец, третий признак для определения системы письма — кривая появления новых знаков в текстах, которая на материале протоиндийского письма показывает картину, характерную для иероглифического письма, совпадая с кривой появления новых знаков в древнеегипетском⁵.

Для читателя, не знакомого с иероглифическими системами письма, трудно сделать пояснение, касающееся их внутренней сущности. Здесь стоит подчеркнуть, что понимание этого требует отхода от привычных стереотипов языкового мышления и восприятия, заданных буквенным алфавитом. В самом деле, при алфавитной письменности мы постигаем смысл слова-знака, когда «пробегаем» глазами определенную линейную последовательность букв (зрительный образ) или слышим определенное, текущее временную длительность сочетание звуков (звуковой образ). Звуковой или зрительный образ вызывает у нас соответствующее представление о референте данного знака в реальной (или идеально-преломленной) действительности. Таким образом, алфавитное письмо сопряжено с линейным видением, с восприятием цепочки букв, развернутой в пространстве (при написании) или звуковой последовательности во времени (при произнесении). Вопроса о контекстуальной обусловленности слова-знака здесь гораздо разумнее не касаться, чтобы не отвлекаться от основной линии рассуждений.

Совсем иначе обстоит дело в иероглифике, ибо «иероглифика — это картина, картина же усваивается иначе, чем разговор о ней», — писал известный китаист В. М. Алексеев, введший в научный обиход понятие «мыслить иероглифически»⁶.

Импрессионистский, динамичный характер иероглифики и сложность, граничащую с невозможностью адекватной передачи ее средствами ал-

⁴ Предварительное сообщение об исследовании протоиндийских текстов. М.: Наука, 1965, с. 31—32.

⁵ Там же, с. 32.

⁶ Алексеев В. М. В старом Китае. М., 1958, с. 301.

фавитного письма, можно выразительно проиллюстрировать примерами китайских идеограмм. Так, идеограмма, передающая понятие «серый, древний», являет нам картину ломтей мяса, высушенных на солнце; идеограмма «бессмертный» — человека, живущего уединенно в пещерах; идеограмма «яркий» — луну и солнце; идеограмма «бояться» — глаза птицы и т. д.⁷ Как можно передать в алфавитном письме запечатленные в иероглифах конкретные экспрессивные образы и их богатые ассоциативные связи, не нарушая целостности восприятия? Вероятно, процесс чтения осмыслялся в цивилизациях с иероглифическим письмом иначе, чем в цивилизациях с алфавитным. Иероглиф нужно было видеть, созерцать, чтобы постигнуть отображенный в нем образ со всеми сопряженными с ним ассоциациями, отношениями, связями, во всем его единичном единстве и равновесии (речь идет, разумеется, о ранней с

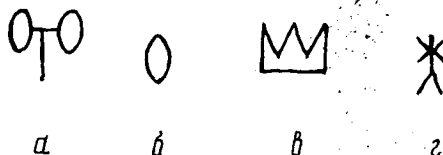


Рис. 1. Протониндийские знаки; значение: а — колесница, б — стрела, в — гора, з — женщина с поднятыми руками

пени иероглифики, где очевиден рисуночный характер знаков)⁸. В восприятии этой разницы человеком Запада выражено в высказывании американского поэта Эзры Паунда, занявшегося китайской поэзией не из профессиональной необходимости, а в поисках поэтических средств, выражающих слитно мысль и ощущение. «Внимая Востоку даже с моим скудным знанием идеограммы, я понял, что несколько часов работы над ней оживляют больше, делают больше для того, чтобы вырвать человека из оков окостенения, чем месяц работы с великим греческим автором», — писал он⁹. Оставляя на совести поэта категоричность суждения и оценку, надо все же признать, что различие средств и принципов выражения в иероглифическом и алфавитном письме он ощутил весьма остро.

Ярко выраженная конкретная образность иероглифической системы письма отнюдь не сокращает ее возможностей служить прекрасным средством графического кодирования единиц языка, т. е. звуковой речи. Вопрос о соотношении языка и письменности сейчас здесь не затрагивается, он слишком сложен и объемен, чтобы о нем можно было говорить мимоходом. Однако заметим, что в наиболее архаичных языках обнаруживаются слова, отражающие нерасчлененные комплексы представлений и демонстрирующие упомянутую конкретную образность восприятия не менее выразительно, чем иероглифические знаки. Так, Ф. Боас приводит из эскимосского языка примеры различных названий снега:

⁷ Karlgren B. Sound and Symbol in Chinese. L., 1929, p. 50—53. С. Е. Яхонтов называет иероглиф, а не речь, главным объектом изучения в традиционном китайском языкознании. Иероглиф имеет написание, чтение и значение, и эти три аспекта изучаются разными науками: 1) схоластика, 2) изучение письменности, 3) фонология, т. е.: 1) подбор слов, 2) выяснение структуры и этимологии иероглифов, 3) отыскание фонетических различий, см.; Яхонтов С. Е. История языкознания в Китае (I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.). — В кн.: История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1978, с. 93.

⁸ Здесь имеется в виду лишь наглядная, образная сторона иероглифики и не рассматривается вопрос о преднамеренном уснащении знаков различными декоративными украшениями, избыточными с точки зрения передачи смысла и преследующими чисто производное впечатление на читающих и даже на неграмотных. О роли фасцинации см.: Кнорозов Ю. В. К вопросу о классификации сигнализации. В кн.: Основные проблемы африканистики. М.: Наука, 1973, с. 331—334.

⁹ Цит. по: Малявин В. В. Китайские импровизации Паунда. — Восток—Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, 1982, с. 251.

«падающий снег», *aput* — «снег на земле», *piqsirpoq* — «уносимый ветром снег», *qimiqsuq* — «снежные сугробы»¹⁰.

Для передачи языковых единиц в иероглифических системах письма, в том числе протоиндийской, использовались знаки, заимствованные преимущественно из пиктографии или изобретенные по ее образцам, за которыми закреплялись определенные смысл и чтение. Часть знаков передавала то, что они изображали, например знак, передающий изображение колесницы, ее же и обозначал (ср. рис. 1, а и рис. 2); изображение наконечника стрелы обозначало стрелу и передавало ее название (обозначение целого по его части; см. рис. 1, б и рис. 3) и т. д. Другая часть знаков протоиндийского письма передавала понятия, изобразить которые трудно или невозможно. Здесь использовался принцип омонимии или, точнее, омофонии: вместо такого понятия изображается сходный по звучанию предмет, т. е. знаки употребляются по фонетическому тождеству или созвучию. Этим достигалось и сокращение общего количества знаков. На примере с русским языком принцип омонимии можно пояснить следующим образом. Желая передать понятие «стопа» (ритмическая единица в стихе), мы можем нарисовать ступню, название которой передается той же фонетической последовательностью «стопа». По тождеству звучаний этот знак передает, кроме названных двух, другие значения: 1) стопа (stopка) газет, блинов и др., 2) стопа в значении посуд для вина, например «заславная стопа». Подобным образом в протоиндийском письме знак горы, имеющий фонетическое значение «гора», передает омонимичную морфему со значением «царь» (см. рис. 1, в). Выбор возможного варианта для различения омографов производился с помощью ключевых слов (детерминативов), которые указывали смысл, но не имели чтения, т. е. были немymi. Кроме того, были знаки, уточняющие чтение других знаков (звуковые подтверждения или фонетические комплементы).

Таким образом, кодирование единиц языка в протоиндийской системе письма производилось посредством трех видов знаков, имеющих: 1) чтение и смысл (в грамматологии такие знаки принято называть идеограммами), 2) только чтение (называемые обычно фонетическими знаками или фонограммами) и 3) только смысл (детерминативы).

Такова в общих чертах содержательная сторона внутренней формы протоиндийского письма, без уяснения которой немислимо разворачивать работу по исследованию ее внешней, чисто графической формы, о чем и пойдет речь дальше.

Задавшись целью проанализировать протоиндийскую систему письма, нужно отдавать себе отчет в том, что предстоит решить совокупность взаимосвязанных задач (составление унифицированной транскрипции, аталого графем, выявление аллографов и т. д.). При этом вероятность положительного решения отдельных задач определяется объемом и спецификой исследуемого текста. Изучение протоиндийской системы письма на основе самих текстов существенно ограничено, и не только тем, что объектом исследования являются тексты на печатях, содержащие преимущественно 5—6 знаков. Это обстоятельство снижает возможности «уровень надежности» составления формальной грамматики текстов, их смысловой интерпретации и чтения, но не имеет решающего значения при изучении графической стороны письма. При подобных изысканиях более существенную роль играет следующий факт.

Протоиндийская система письма отличается от синхронных ей египетской иероглифики и месопотамской клинописи по крайней мере одной особенностью. Непроницаемая тайна скрывает от исследователей не только ее происхождение, но и последующую, «послехарлаппскую» жизнь. Подобно рыбе, выпрыгнувшей на поверхность, чтобы, блеснув, снова уйти на дно, протоиндийская система письма, явившись глубины веков, демонстрирует свои весьма совершенные формы и ювь исчезает, по крайней мере из поля нашего наблюдения.

¹⁰ Boas F. Handbook of American Indian Languages. Washington, 1911.

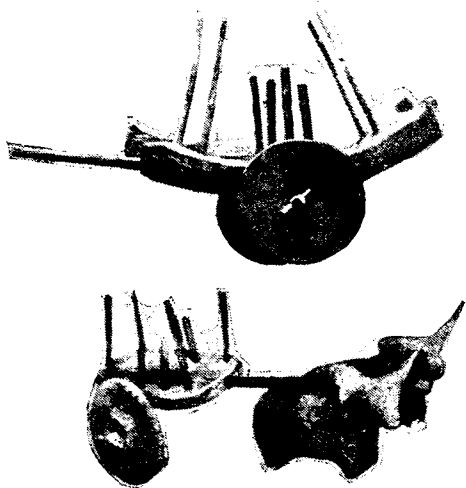


Рис. 2. Модели протоиндийских повозок

ляемыми современными иероглифами, открывало пути для отождествления знаков и их интерпретации.

Таким образом, оказываются равным образом закрытыми пути изучению графем протоиндийской письменности и последовательно входящие от ее начальных форм (т.е. от пиктографии) и последовательно нисходящие от ее конечных форм к предыдущим (ретроспективный анализ).

При таких условиях особенно строгим и скрупулезным должно быть всестороннее изучение протоиндийской палеографии, не пренебрегающее никакими, пусть даже малозначащими свидетельствами. К каким выводам приводит формальное изучение графического облика протоиндийских знаков? В большинстве случаев знаки начертаны прямыми и несколько изогнутыми линиями, ориентированными вертикально, в простом и предельно экономном. Рисуночный характер знаков сомнителен, как несомненна и тенденция к их стилизации, упрощению, стандартизации (см. рис. 4). Внешний облик знаков зависит прежде всего от «писчего материала». Важно учитывать и другие детерминирующие факторы, например назначение текстов, но по этому поводу среди исследователей нет и, видимо, не может быть однозначного мнения. Большинство ученых отмечают сакральный характер текстов, имевших целью обслуживать преимущественно религиозно-мифологическую сферу. Ранние протоиндийские тексты процарапаны на каменных (стеатитовых) пластинках, позже появляются каменные (реже металлические) печатные штампы и их оттиски на глиняных пластинках. В ту пору, когда «писали» мало, не по каждому поводу и далеко не все, когда одним из основных материалов был камень, а орудием — резец, естественно ожидать прямолинейности и скупости жеста в «манере» письма. Вполне вероятно, что письмо протоиндийских текстов с его контурной схематизацией знаков и тенденцией к упрощению находилось на грани перехода от контурного иероглифа к ранним формам скорописи. Естественно предположить и то, что такие курсивные формы письма, необходимость в которых диктовалась хозяйственными или близкими к ним нуждами, существовали параллельно с дошедшими до нас текстами, подобно египетской иератике и демотике — курсивным разновидностям иероглифической системы письма. Читателю, не сталкивавшемуся с подобным явлением, можно пояснить, что соотношение между иероглифической системой письма и ее курсивными вариантами подобно соотношению между печатным шрифтом и рукописным¹¹. Сохранившиеся письменные при-

Итак, оказывается нереальным проследить все стадии предшествовавшей эволюции, как, например, в случае с месопотамской клинописью, где все они, кроме первоначальных, известны. С другой стороны, отсутствие (или невыявленность) каких-либо последующих форм развития письма, бесследно канувших в небытие, лишает исследователей благодатной возможности, которую дают, например, древнейшие китайские тексты — иньские надписи, вписавшиеся в непрерывную линию развития китайской иероглифической системы, сохранявшей свои структурные принципы в течение тысячелетий. Тем самым наличие промежуточных форм, соединявших древнейшие знаки иньского письма с сопоста-

¹¹ Пример заимствован из книги И. Фридриха «История письма» (М.: Наука, 1978, с. 50).

дежности (если они правильно идентифицированы) позволяют допустить, что формы скорописи существовали. Для нее использовались, вероятно, краска (тушь, чернила) и кисть (мягкая или жесткая). Судя по одному из знаков письма, употреблялись также и дощечки для письма (см. рис. 5). Такой писчий материал заставляет предположить в несакральной скорописи преобладание плавно искривленных, одножестовых штрихов или обилие замкнутых и замкнуто-переплетенных линий. Однако для протоиндийской системы письма таких параллельных видов пока не обнаружено, поэтому дальше предположений в подобных рассуждениях пойти невозможно. Скорее всего образцы несакральной скорописи не сохранились вследствие непрочности материала, из-за климатических условий, вмешательства людей или по иным причинам.

Наше рассуждение приводит к выводу, что для решения большинства задач, поставленных перед исследователями протоиндийской системы письма, оказывается недостаточно данных, полученных при формальном анализе письменности, хотя эти данные совершенно необходимы. Работа по формальному изучению письма велась с самого начала исследования текстов и продолжается сейчас: тексты были транскрибированы стандартными знаками, опознавались и учитывались все варианты написаний, восстанавливались утраченные места, уточнялись искаженные и полустертые графемы, составлялся каталог графем и т. д. Для удобства публикаций мы пользуемся каталогом графем, изданным индийским ученым И. Махадеваном¹², хотя он значительно уточнен и исправлен Ю. В. Кнорозовым. Таким образом, сейчас мы располагаем достоверной информацией о структуре и некоторых особенностях протоиндийской системы письма, предоставляемой формальным анализом.



Рис. 3. Наконечник протоиндийской стрелы

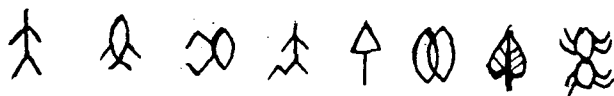


Рис. 4. Образцы протоиндийских знаков

Для повышения уровня надежности этой информации и для уточнения сведений предыдущих этапов теперь целесообразно активнее привлекать дополнительный материал, имея в виду конкретную задачу: поиски графических аналогий знакам протоиндийского алфавита. Для ее решения или для определения мест, где стоит «раскинуть сети», имеет смысл гипотетически восстановить всю линию развития протоиндийского письма, не пугаясь ужасающей фрагментарности и «оборванности» этой линии во времени. Надежным ориентиром при этом могут служить общие тенденции и закономерности развития древнейших форм письма, которые современным уровнем грамматики выявлены довольно четко. Такой подход освобождает от досконального учета целого ряда фактов, касающихся специфических особенностей письма, которые сейчас учесть по разным причинам невозможно, ибо главные этапы развития письма отличаются по своей сути известным сходством во всех иероглифических системах.

Эвристические возможности такого подхода очевидны. В случае выявления искоемых графических соответствий объявленная дешифровка

¹² Mahadevan I. The Indus Script.— In: Memoirs of the Archaeological Survey of India. New Delhi, 1977.

протоиндийского письма получит проверку и подтверждение в отношении интерпретации графической семантики знаков. Кроме того, появляются основания для приближения к решению еще одной задачи, а именно выяснения аксиом или, точнее, моделей порождения знаков письма.

Происхождение древних систем письма обычно связывают с пиктографией, т. е. с существованием сюжетных рисунков, кодирующих сообщение посредством изображений сцен и условных знаков, смысл которых можно передавать различным количеством фраз¹³. Это положение бесспорно и не опровергается ни одним теоретиком письма. Едва ли нуждается в доказательствах и то, что наличия одной лишь пиктографии отнюдь недостаточно для появления письменности, которая возникает и развивается как способ фиксирования и хранения информации.



Рис. 5. Знак, изображающий дощечку для письма (варианты)

лишь в условиях цивилизации (при классовом делении общества). Со временем такие заимствованные из арсенала пиктографии (или создающие ее модели) знаки-рисунки, осознанно изображаемые и озвученные, могли стать рисуночными знаками-иероглифами, заложившими основу для иероглифической системы письма. Так завершился сложный диалектический скачок от изображения отдельных сцен и предметов, передающих определенные сообщения, к кодированию звуковой речи, т. е. определенных единиц языка.

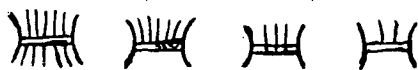


Рис. 6. Знак, изображающий гребень (варианты)

Начиная с этого этапа, внешняя форма всякой ранней иероглифической системы письма проходила определенные фазы развития: от нестандартности знаков к их стандартизации, а затем к их стилизации и к турной схематизации.

Как было указано выше, вся линия развития протоиндийской системы письма до этого этапа скрыта от нас плотной завесой времени. Это означает, что исключена возможность проанализировать историю письменности, динамику ее развития, тенденции к разнообразию и другим аналогичные аспекты проблемы. Особую важность представляет вопрос о том, была ли протоиндийская письменность первичной, т. е. сложилась на основе (или по образцам) местной пиктографии, или же она была производной, вторичной, т. е. следовала уже готовым образцам, выработанным иной древней системой, приспособляя их к нуждам своего языка (языков). Постановка этого вопроса вызвана постулируемой некоторыми исследователями связью между протоиндийским и протошумерским письмом. Некоторое количество совпадающих протоиндийских шумерских знаков является слишком зыбкой и уязвимой опорой, что делать на ее основании далеко идущие выводы. Во всяком случае, существование графических знаков одной системой письма у другой вследствие вероятного контакта дравидов и шумеров — не единственное и самое убедительное объяснение таких совпадений. Неполнота суще-

¹³ Пиктография как особый код для передачи сообщений прошла несколько фаз своего развития. Этот вопрос специально рассматривается в монографии Ю. В. Кнорозова «Письменность индейцев майя» (М.—Л.: Наука, 1963, с. 239—240).

вующего материала оставляет ответ на этот вопрос за пределами наших возможностей. Отметим все же, что и точка зрения о происхождении протоиндийской письменности из местного, самобытного пиктографического источника имеет право если не на признание (пока она не доказана), то хотя бы на благосклонное внимание исследователей. Учитывая, что протоиндийская письменность относится к числу ранних, хотя и весьма развитых иероглифических систем письма, т. е. таких, которые обнаруживают близость к своим пиктографическим истокам, имеет смысл направить поиск в русло изучения туземной пиктографии. Если этот поиск будет плодотворным, то в нашем распоряжении окажутся, во-первых, аргументы в пользу (или в опровержение) автохтонного происхождения протоиндийской письменности и, во-вторых, свидетельства, выясняющие или уточняющие пиктографическое значение и семантику отдельных знаков. Последнее возможно потому, что пиктография у племен и народностей Индии обслуживает преимущественно сферу магии, где каждый знак «прикован» ассоциативными цепями к определенному кругу онтологических или иных представлений, жизненно важных для коллектива и выявляющих его семантическую мотивировку. Кроме того, как бы условен, символичен и схематичен ни был тот или иной знак в магической пиктографии, его связи с живым прообразом, т. е. со стоящей за ним культурно-исторической реальией либо не утрачены, либо поддаются восстановлению. А это в свою очередь приобретает дополнительную ценность для изучения внешней формы письма, ибо уточняет опознание знаков. Очевидно, для выявления таких соответствий можно воспользоваться и данными живой этнографической традиции, причем не обязательно замкнутой границами дравидоязычного ареала.

Читатель, внимательно следящий за ходом рассуждений, может усомниться в том, что поиск соответствий знакам протоиндийского письма в туземной пиктографии, особенно современной, мягко говоря, правомерен. Ведь они разделены пятидесятилетним временным интервалом. На это можно возразить, что народная память, как показал Б. А. Рыбаков на материале славянского язычества, обладает чрезвычайно глубокими юрнями, пронизывающими толщу веков по меньшей мере на пять тысячелетий и «достигает того важного периода в истории человечества, когда были освоены формы производящего хозяйства, и в первую очередь земледелия»¹⁴. В некоторых случаях «хронологический зондаж» казался возможным на еще большую глубину. Например, ромбический орнамент, встречающийся сейчас у всех народов мира, известен с палеолитической древности, т. е. более двух десятков тысячелетий¹⁵. Радуется, таким живучим в народной памяти оказывалось лишь то, что обладало наибольшей ценностью (аксиологической) значимостью.

Столь мощная глубина памяти, отличающая не только славян, но и индийцев, нашла свое воплощение в стойкости традиции. Традиционализм, обращенность в прошлое, верность высоким древним образцам и стремление их воспроизводить, а не низвергать, сохранение духа старого в новом — все это обусловило некоторые особенности целого ряда историко-культурных явлений в Индии, в первую очередь их жизнестойкость и сохранение преемственной связи с глубокой архаикой. Относительно спокойный и равномерный ритм развития индийской культуры, обусловленнейшей социальной структуры индийского общества (прежде всего кастовая система), религиозные филиации немало способствовали тому, что некоторые элементы архаической материальной и духовной культуры (последние в трансформированном виде) дожили до настоящего времени, чему имеются не единичные подтверждения. Это позволяет предположить, что возможность вести поиски соответствий протоиндийским знакам в пиктографии вполне обоснована всем характером стилем развития традиций индийской культуры.

¹⁴ Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981, с. 50.

¹⁵ Там же, с. 86—87.

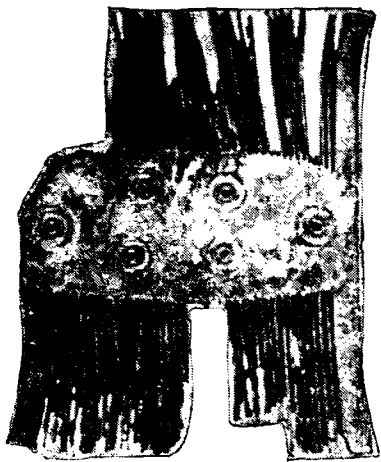


Рис. 7. Гребень из Хараппы

Однако такой путь исследования чреват и серьезными опасностями. Прежде всего имеется риск модернизировать пиктографическое значение протоиндийских знаков, механически экстраполируя на них рисуночное содержание знаков современной пиктографии (т. е. привести в синхроническое описание диахронические импликации). Во избежание этого следует учитывать временные и региональные различия в трансформациях знаков и связанных с ними представлениях, снискав ретроспективным анализом позднейшие наслоения, подобно тому как реставратор древних икон снимает с за слоем новые подмалевки, пока не обнаружит творение старого мастера.

Один из самых сложных вопросов здесь, который остается в большинстве случаев без ответа (вследствие отсутствия письменных источников, археологических свидетельств и иных достоверных указаний), заключается в том, что невозможно проследить время, когда тот или иной знак, графический символ утрачивает свое первоначальное содержание в сознании носителей традиции и воспроизводится бессознательно, сохраняя лишь внешнюю форму без знания исходного смысла или с его заменой, как некий магический символ или элемент орнамента. Такой знак воспроизводится в определенной конкретной ситуации потому, что «так надо», а так надо потому, «что так делали наши предки». В объяснение последнего «потому» в лучшем случае приводится легенда, которая по сути дела ничего не объясняет, а лишь удостоверяет и сакрально санкционирует факт воспроизведения и употребления знака в определенных условиях.

Другая, не менее коварная опасность относится к области онтологического схематизма, когда та или иная система представлений мыслится и описывается в терминах и понятиях иной, чуждой для системы, которой исследователь придерживается бессознательно, явно или сознательно, исходя из сложившейся суммы представлений.

Преодолеть эти методические тернии сложно, но заманчиво, ибо немалый результат, если он будет достигнут, послужит достаточным возмещением и компенсацией за все потери.

Сказанное можно проиллюстрировать минимальным количеством примеров. В протоиндийском алфавите имеется знак, опознанный как изображение гребня (рис. 6; ср. рис. 7). Его фонетическое значение омонимично дравидскому корню со значением «разлив, разливать». Найти описание и изображение гребня в современных этнографических констатациях — задача не из сложных, ибо этот важный предмет быта всегда нужен (за редким исключением) каждому человеку. Но вот в книге В. Элвина «Племенное искусство Средней Индии» имеются свидетельства об употреблении гребня, своим внешним обликом поразительно напоминающего протоиндийский, не только в обыденной, профанической сфере, но и в ритуально-магической¹⁶.

Стоит ли обращать внимание на незначительные, хотя и весьма интересные и привлекательные своим сходством с протоиндийским материалом свидетельства племенной пиктографии Средней Индии? Отводя в сторону сложные дискуссионные вопросы о местном субстрате протоиндийской цивилизации и о путях расселения носителей этой цивилизации после ее гибели или упадка, ограничимся лишь констатацией

¹⁶ Elwin V. The Tribal Art of Middle India. Oxford, 1951, p. 46—49.

ного для наших изысканий факта: племена Средней Индии могли контактировать с носителями харапской культуры, о чем свидетельствуют археологические данные. Следовательно, какими бы ни были причины, характер и продолжительность контакта, магическая племенная пиктография могла донести до наших дней следы этого контакта. Пусть в тертом и неявном виде, но эти следы стоит попытаться рассмотреть сквозь позднейшие наслоения.

В магической пиктографии, обращенной к духам и сверхъестественным существам, в честь которых она и создается, изображение гребня — один из важнейших мотивов. С ним связываются представления о любви и дружбе. Жених должен принести в дар невесте гребень — это важная часть обряда бракосочетания у многих племен. Иногда гребень специально изготавливается и подносится жене в ритуальной церемонии. Изображение гребня в татуировке символизирует счастливую семейную

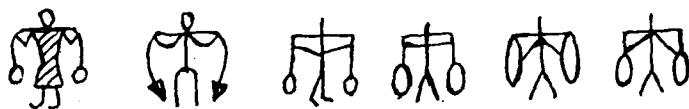


Рис. 8. Знак «носильщик» (варианты)

жизнь. В качестве декоративного мотива оно часто употребляется на дверях и столбах. Этот краткий и торопливый перечень случаев нетривиального употребления гребня легко может быть увеличен. «Гребень играет столь важную роль в социальной жизни аборигенов и столь интимные связанные с ним ассоциации, что кажется удивительным, почему ему не уделяется больше внимания», — восклицает Элвин¹⁷. Таким образом, сам гребень и его изображения с бытом молодых замужних женщин и свадебной обрядностью заставляет обратить на него особое внимание, тем более что некоторые отголоски этой связи нашли воплощение и в высоких образцах поэтической классики (например, гребень, не касающийся волос красавицы, пребывающей в разлуке с возлюбленным, — распространенный поэтический образ). Общеизвестно, что свадебный ритуал проникнут магическим содержанием, прежде всего магией плодородия. Общеизвестен также параллелизм женской плодовитости и урожайности земли, рождения ребенка и рождения зерна, который является стержневым во многих магических ритуалах земледельцев. В архаических земледельческих цивилизациях аграрное и женское начало, уподобленные друг другу по магическому принципу сходства жизненных явлений, были слиты в едином нерасчлененном комплексе магико-онтологических представлений, что находило свое воплощение в соответствующих культурах.

Данные местной пиктографии, как выяснилось при атомарном сопоставлении, не противоречат выводам дешифровки. И знак, изображающий гребень в протоиндийских текстах и передающий значение «разлив» (своевременный разлив Инда — залог хорошего урожая, а значит, и благоденствия коллектива), и аналогичный знак в современной пиктографии относятся к одному кругу магических представлений, связанных с земледельческим хозяйством.

Другой пример касается знака, изображающего человека с коромыслом на плечах («носильщик», см. рис. 8). Графическая аналогия этому знаку выразительно представлена в племенной пиктографии, где фигура носильщика с горшками на коромысле встречается в сюжетах, магический смысл которых состоит в обращении к божеству, подателю дождя и урожая¹⁸. В современной культовой практике дравидов коромысло с горшками, в которых находится жертвоприношение, употребляется и как символ божества, и как инструмент ритуала преимущественно в

¹⁷ Там же, с. 49.

¹⁸ Там же, с. 190—192, 203, 205, 210.



тех случаях, когда апеллируют к «юному богу» Муруге, олицетворяющему производительную мощь природы¹⁹.

Эти примеры, число которых легко может быть увеличено, не только проясняют графическую семантику отдельных знаков, но и ставят очередные вопросы, существенно важные для подобных разысканий. Была ли случайной связь между звучанием знака и его семантикой, между семантикой и графическим обликом? Воздерживаясь пока от ответов на эти вопросы, можно заметить, что звучание слов первоначально

Рис. 9. Образец протоиндийской печати

вероятно, не имело отношения к изображаемому предметам, но в период существования и действенного функционирования письменности соотношение звука и значения могло быть осмысленным. В этом отношении стоит обратить внимание на древнеиндийские поэтические и лингвистические трактаты, где проблема соотношений звука и значения не только выдвинута на первый план, но и осмыслена вполне «семиотическим духом теории двусторонней структуры знака и текста.

Что касается второго вопроса — о связи значения и графического облика знака, то имеющиеся аргументы склоняют к положительному решению вопроса (во всяком случае, для большинства знаков). Свидетельством достаточно изобразительный характер большинства знаков как бы свечиваются стоящие за ними культурно-исторические реалии, хотя такая связь современному исследователю может быть не всегда очевидна и поддается выявлению только при знании историко-культурного контекста. Например, в хеттской иероглифике использовался знак дерева в качестве идеограммы бога Телепинуса по той причине, что культ этого бога плодородия был связан с вечнозеленым деревом еи²⁰.

Разумеется, приведенные выше единичные графические сопоставления, сами по себе выразительные и вдохновляющие на продолжение поисков в этом направлении, не являются достаточным основанием для жестких и однозначных выводов ни о происхождении протоиндийского письма, ни об эволюции и семантике отдельных знаков. Подтверждая правильность выводов, полученных в ходе дешифровки, они также служат целям эмпирического накопления материала, который впоследствии можно будет теоретически осмысливать.

Такая проиллюстрированная малым количеством примеров метод исследования применима не ко всем знакам протоиндийской системы письма, да и в этом и нет необходимости. Есть целая группа знаков, сравнительно мало стилизованных и отчетливо выявляющих обозначаемые ими объекты действительности (референты или денотаты). Некоторые знаки опознаны по синхронным изображениям на протоиндийских печатях, оттисках, микроскульптуре, керамике. В этих случаях знак передает, как правило, то, что обозначает. Например, знак, изображающий женскую фигуру с поднятыми руками, используется в качестве значения богини-матери — повсеместно распространенного высшего божества (рис. 9; ср. рис. 1, г). Опираясь на аналогии, предлагаемые другими, сравнительно хорошо изученными древними цивилизациями, можно предположить, что знак, обозначающий мифический персонаж, относился в одних случаях к земледельческим богиням-покровительницам отдельных участков земли, в других — к великой Матери, покровительнице земледелия и плодородия, в образ которой как бы втягивались локальные женские божества. Достаточно вспомнить малоазийскую Кибелу, египетскую Изиду, месопотамского Иштар (Астарту), крито-микенскую Ма, чтобы понять, сущность представлений, запечатленных в рассматриваемом знаке, связываемых с этим женским персонажем (или группой таковых) в протоиндийской цивилизации. Культ богини-матери прослеживается на всем протяжении

¹⁹ Подробнее см.: Альбедиль М. Ф. О южноиндийских ритуальных коромах. Материальная культура и мифология (Сб. МАЭ, т. XXXVII). М., 1981, с. 93—106.

²⁰ Иванов В. В. Хеттский язык. М.: Наука, 1963, с. 41.

развития индийской культуры исторического периода, демонстрируя обширный (во времени и пространстве) диапазон разных форм конкретизаций. На крайних полюсах его находится индуистская Шакти — абстрактное универсальное женское начало, пребывающее за плотной непроницаемой стеной метафизических рассуждений, и многочисленные местные мундские и дравидские богини, которые алчно требуют кровавых жертвоприношений, святой воде предпочитают пальмовое вино и почитать которых надлежит непристойными (с точки зрения европейских миссионеров и вслед за ними некоторых ученых) песнями и плясками. Как явствует из сказанного, в случае со знаком богини-матери более чем достаточно материала для синхронных и диахронных сопоставлений. Четкий графический символ письма в данном случае вполне прозрачен, его рисуночное значение и семантика могут быть достоверно выявлены на собственно протоиндийском материале и подкреплены аналогичными сопоставлениями.

Все сказанное выше относилось к выяснению возможностей пролить слабый свет на предысторию протоиндийской системы письма, найти графические аналогии протоиндийским знакам и повысить уровень надежности их интерпретации.

Есть ли какая-нибудь возможность получить сведения о послехалаппской жизни письменности? Мнение о ее полном исчезновении, изглаживании из памяти последующих поколений, подкрепленное теорией так называемого «арийского погрома», стало почти аксиоматичным. Но позволим себе усомниться в аксиоме — в отношении системы письма.

Дошедшие до нас древнеиндийские тексты исторического периода написаны письмом деванагари и выступают на историческую сцену довольно поздно. Это письмо вплоть до наших дней является самым распространенным в Индии. Особую группу занимают несколько южноиндийских письменностей, обслуживающих дравидские языки. Считается, что северный и южный типы письма произошли от письма брахми, древнейшие образцы которого относятся к IV в. до н. э. Происхождение этой письменности — вопрос спорный и остро diskutированный. По мнению большинства ученых, это письмо развилось на основе финикийского алфавита, равно как и другой вид древнеиндийского письма — кхарошти, известный по монетам индо-греческих и индо-скифских царей (III в. до н. э. — I в. н. э.)²¹.

В свое время один из исследователей протоиндийской цивилизации, Лэнгдон, обратил внимание на соответствие некоторых знаков в брахми и в протоиндийском алфавитах²². Однако его попытка установить преемственность между протоиндийским и древнейшим индийским письмом была признана высокими учеными авторитетами несостоятельной. С тех пор это направление исследования считается традиционно табуированным.

Однако иногда бывает полезным пересмотреть исходные посылки теории и либо убедиться в ее правильности, либо ее откорректировать.

Типы древнеиндийского письма относятся к вторичным письменностям, т. е. к сложившимся на основе системы графических знаков, заимствованных в готовом виде из более древней системы письма. Вместо того чтобы обращаться к финикийскому алфавиту, восходящему, как известно, к египетской иероглифике, целесообразно сначала проверить возможности, предоставляемые собственно индийскими культурным и лингвистическим комплексами. Вероятно, стоит развернуть поиск среди индийских (или даже шире, учитывая ареал распространения протоиндийской цивилизации и ее периферию) письменностей следов использования протоиндийской иероглифики в процессе их формирования. Эти поиски, при которых необходимо учитывать специфику письменных материалов, инструментов, приемов письма, модификацию форм знаков и т. д., будут представлять собой, с одной стороны, нечто близкое к условной реконструкции существовавшей протоиндийской несакральной ско-

²¹ Фридрих И. Указ. раб., с. 152—155.

²² Marshall J. Mohenjo-Daro and the Indus Civilisation. L., 1931.

рописи, с другой стороны, явятся материальным критерием для уверенного заключения о происхождении вторичных древнеиндийских письменностей.

Таким образом, не стремясь охватить всю необъятность явлений, связанных с возникновением, становлением, развитием и изменением письменности, целесообразно сейчас ограничить свою задачу и попытаться отыскать, насколько это позволяют имеющиеся данные, общие закономерности переходов от пиктографии к иероглифической системе письма, затем — от иероглифических приемов письма к приемам скорописи, а от них — к формам знаков вторичных, производных систем письма. Если эту задачу удастся решить, то тем самым будет доказана вероятность связей древнего протоиндийского письма с индийскими письменностями исторического периода в пределах относительно общей теории.

Все изложенное в данной работе имеет целью скорее поставить вопросы и поискать пути для их правильного и надежного решения, чем давать однозначные и окончательные ответы. Здесь уместно вспомнить известный гегелевский афоризм: «Сова Минервы вылетает в сумерки». Лишь тогда, когда будет собран весь доступный материал, или хотя бы его большая часть, можно будет перейти к его теоретическому осмыслению.

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ доктора исторических наук ГАЛИ СЕМЕНОВНЫ МАСЛОВОЙ (К 60-летию научной деятельности)

- Материальный быт населения Мещерской низменности. — В кн.: Культура и быт населения ЦПО. М., 1929, с. 61—63.
- Выставка «Социалистическое строительство и история национальных меньшинств Московской области». — Советский музей, 1932, № 5, с. 95—101.
- Материалы по этнографии карел Калининской области. — Сов. этнография (далее — СЭ), 1936, № 2, с. 89—100.
- «Kegrip räiva» у карел Калининской области. — СЭ, 1937, № 4, с. 150—152.
- Медянские «карелы». — Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР (далее — КСИЭ), 1947, в. 2, с. 53—58.
- Старинная одежда и гончарное производство Каргопольщины. — Там же, 1949, в. 6, с. 3—8.
- Белорусы — БСЭ, М., 1950, т. 4, с. 532—534.
- Узорное тканье на Русском Севере. По материалам Северновеликорусской экспедиции. — КСИЭ, 1950, в. XI, с. 10—18.
- Культура и быт одного колхоза Подмоскovie. — СЭ, 1951, № 1, с. 39—62.
- Народный орнамент верхневолжских карел. — Тр. Ин-та этнографии АН СССР (далее ТИЭ), М.: Изд-во АН СССР, 1951, т. XI, 137 с.
- Селения и постройки колхозов Московской области. — СЭ, 1951, № 2, с. 42—72. Перепечатано: Szovjet néprájtudomány. Budapest, 1951, III, s. 204—233.
- Выставка произведений народного прикладного искусства и художественной промышленности РСФСР. — СЭ, 1952, № 2, с. 186—193 (в соавторстве с В. А. Фалеевой). Перепечатано: Etnographia, Budapest, 1952, № 3—4, s. 470—476.
- Архитектурные украшения жилища Владимирской и Горьковской областей. — КСИЭ, 1953, в. XVIII, с. 3—14 (в соавторстве с Л. Н. Чижиковой).
- Русские народные постройки Среднего Поволжья. — СЭ, 1953, № 1, с. 88—112.
- Историко-культурные связи русских и украинцев по данным одежды. — СЭ, 1954, № 2, с. 42—59.
- Опыт составления карт распространения русской народной одежды. — КСИЭ, 1955, в. XXII, с. 12—20.
- Деревня. — БСЭ, 1955, т. 14, с. 57—67.
- Одежда. — БСЭ, 1955, т. 30, с. 516—519.
- Русские. — БСЭ, 1955, т. 37, с. 411—414 (в соавторстве с Н. Н. Чебоксаровым).
- Быт русских крестьян в Сибири (раздел в главе «Историко-этнографический очерк русского населения Сибири»). — В кн.: Народы Сибири (серия «Народы мира. Этнографические очерки»). М.: Изд-во АН СССР, 1956, с. 145—182.
- Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. — ТИЭ, М., 1956, т. XXXI, с. 543—757.
- Русская крестьянская одежда XIX — начала XX века как материал к этнической истории народа. — СЭ, 1956, № 4, с. 18—31 (в соавторстве с Н. И. Лебедевой).
- Русская крестьянская одежда как источник этнической истории (по материалам русского историко-этнографического атласа). — В кн.: Этнографическое совещание 1956 г. М.—Л., 1956, с. 11—15 (в соавторстве с Н. И. Лебедевой).
- Рец.: Новые издания по русскому прикладному искусству. — СЭ, 1956, № 3, с. 161—164.

Выставка прикладного и декоративного искусства РСФСР. — СЭ, 1957, № 3, с. 176—183.

Этнографическое изучение русского населения Восточной Сибири. — СЭ, 1958, № 3, с. 154—167 (в соавторстве с Л. М. Сабуровой).

В кн.: Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР (ТИЭ, т. LVII), М., 1960, разделы: «Введение» (с. 72—77); «Одежда» (с. 103—143); «Пища и хозяйственная утварь» (с. 143—171).

L'atlas d'ethnographie historique de la Russie [Доклад на VI Международном конгрессе антропологических и этнографических наук, Париж, 1960], М., 1960 (в соавторстве с О. А. Ганцкой и Д. В. Найдич), 16 с.

Этнографическое изучение русского колхозного крестьянства Восточной Сибири в 1957—1969 гг. — СЭ, 1960, № 5, с. 118—128 (в соавторстве с Л. М. Сабуровой).

Отв. ред. кн.: Бусыгин Е. П. Русское сельское население Среднего Поволжья (Историко-этнографическое исследование материальной культуры середины XIX — начала XX в.). Казань, 1960, 401 с.

Гончарство русского населения Сибири. — КСИЭ, в. XXXVII, с. 12—25.

Русский народный костюм Восточной Сибири. — В кн.: Этнографический сборник Бурятского комплексного НИИ СО АН СССР. Улан-Удэ, 1962, в. 3, с. 17—26.

Російський народний одяг як джерело вивчення етнічної історії. — Народна творчість та етнографія, 1962, № 1, с. 66—70.

Сессия, посвященная современным задачам этнографии и этнографических музеев. — СЭ, 1962, № 5, с. 139—143 (в соавторстве с Т. В. Станюкович).

В кн.: Народы Европейской части СССР. I (Серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1964, разделы: «Историко-культурные группы русского народа» (с. 143—147) и «Одежда» (с. 371—392).

Изменение традиционного рязанского костюма за годы Советской власти. — СЭ, 1966, № 5, с. 102—117.

Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. — В кн.: Русские. Историко-этнографический атлас. М.: Наука, 1967, с. 193—340 (в соавторстве с Н. И. Лебедевой); там же: карты 38, 39, 48—53, 55—62, 70 (в соавторстве с Н. И. Лебедевой) и карты 40—47, 54, 63—69, 71.

Русские. — В кн.: Очерки общей этнографии. Европейская часть СССР. М.: Наука, 1968, с. 76—162.

Проблемы историко-этнографического картографирования в Болгарии. — СЭ, 1969, № 4, с. 152—155 (в соавторстве с С. И. Бруком).

Русские. — Советская историческая энциклопедия. М., 1969, с. 333—335 (в соавторстве с М. Г. Рабиновичем).

Отв. ред. кн.: Этнография русского населения Сибири и Средней Азии. М., 1969, 283 с. (совместно с Л. М. Сабуровой).

Проблемы и методы изучения материальной культуры (Опыт работы советских ученых). — В кн.: Тр. VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук. М., 1970, т. 5, с. 7—13.

Бытовые сюжеты в русской народной вышивке. — СЭ, 1970, № 6, с. 119—127.

Отв. ред. (совместно с И. В. Маковецким) кн.: Быт и искусство русского населения Восточной Сибири, ч. I — Приангарье, Новосибирск, 1971, 198 с.; статья — «Русский народный костюм Приангарья», с. 144—190.

Орнитоморфные мотивы в орнаменте ярославско-костромских головных уборов. — В кн.: Итоги полевых работ Института этнографии в 1970 г. М., 1971, с. 23—32.

Северодвинская золотошвейная вышивка. — В кн.: Сборник музея антропологии и этнографии, т. XXVIII. Л.: Наука, 1972, с. 32—61.

Отв. ред. кн.: Рождественская С. Б. Жилище рабочих Горьковской области XIX—XX вв. Этнографический очерк. М.: Наука, 1972, 155 с.

Об особенностях народного костюма населения Верхнедвинского бассейна в XIX — начале XX в. — В кн.: Фольклор и этнография Русского Севера. Л.: Наука, 1973, с. 66—86.

Отв. ред. кн.: Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. — ТИЭ. М., 1973, т. 101, 215 с.

Значение картографирования русского традиционного костюма для этногенетических исследований. — В кн.: Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, 1974, с. 253—258.

Отв. ред. (совместно с И. В. Маковецким) кн.: Быт и искусство русского населения

- Восточной Сибири, ч. II — Забайкалье, Новосибирск, 1975, 183 с.; статья — «Русская народная одежда Забайкалья», с. 48—70.
- Отражение этнических процессов в материальной культуре народов СССР. — В кн.: Современные этнические процессы в СССР. М.: Наука, 1975, с. 156—258 (в соавторстве с Т. В. Станюкович). 2-е изд. — 1978.
- Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. — СЭ, 1975, № 3, с. 34—45.
- Кн.: Venäläinen perinnekulttuuri. Neuvostoliiton Pohjois-Euroopan venäläisväe stön etnologiaa 1800-luvulta 1900-luvun alkuun. Helsinki, 1976, разделы о материальной культуре и народном искусстве русского населения Севера (с. 114—161 и 229—245).
- Основные черты орнамента ярославской и костромской вышивки. — В кн.: Сообщения Государственного Русского музея. М.: Искусство, 1976, в. XI, с. 153—159.
- Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.: Наука, 1978. 207 с.
- Реально-типологические особенности орнамента населения Северо-Запада РСФСР. — В кн.: Проблемы типологии в этнографии. М.: Наука, 1979, с. 244—251.
- Методике полевого изучения орнамента. — В кн.: Полевые исследования Института этнографии. 1977 г. М., 1979, с. 235—243.
- Материалы по аграрному календарю карел юго-западной Карелии. — В кн.: Полевые исследования Института этнографии. 1978 г. М., 1980, с. 220—226.
- Изв. ред. кн.: Рождественская С. Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе: архитектурный декор и художественные промыслы. М.: Наука, 1981. 207 с.
- Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах (XIX — начало XX в.). М.: Наука, 1984, 156 с.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Проблемы этнографии, этносоциологии, фольклористики привлекают внимание многих молодых исследователей, в том числе студентов-историков, филологов, культурологов нашей страны. Убедительным подтверждением этого явилась состоявшаяся 1—3 декабря 1983 г в Омске Всероссийская студенческая научная этнографическая конференция, посвященная 65-летию ВЛКСМ.

В работе конференции принимало участие 105 человек, в том числе студенты 12 университетов — Барнаула, Волгограда, Грозного, Ижевска, Кемерово, Ленинграда, Москвы, Омска, Саранска, Сыктывкара, Томска и Якутска, 9 педагогических институтов — Архангельска, Астрахани, Барнаула, Горно-Алтайска, Казани, Коломны, Ставрополя, Тобольска и Чебоксар, и 3 института культуры — Куйбышева, Ленинграда и Улан-Удэ. На конференции выступали также сотрудники Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР, Кемеровского, Московского и Омского университетов Омского пед. ин-та, Восточно-Сибирского ин-та культуры.

Открыл конференцию декан Исторического факультета Омского гос. ун-та В. И. Матющенко. С приветственными речами выступили зав. кафедрой этнографии МГУ им. М. В. Ломоносова Г. Е. Марков и научный сотрудник Ин-та этнографии АН СССР К. П. Калиновская (Москва). Все заседания проходили как пленарные; на них было зачитано 75 докладов молодых исследователей. Следует отметить высокий научный уровень докладов, содержащих интересный теоретический и фактический материал и нередко отмеченных новаторским подходом к решению отдельных вопросов этнографии. Около третьей части докладов сопровождалось демонстрацией наглядных материалов, а некоторые — исполнением фольклорных произведений.

Докладчикам было задано более 40 вопросов; в прениях выступило около 20 студентов и преподавателей.

Проблема изучения и анализа этнографических источников была освещена в докладах О. В. Аleshinой (Архангельск) «Севернорусская икона как этнографический источник», Л. Ш. Сафиулиной (Томск) «Этикетные табу как источник этнографического исследования», И. В. Денисовой (Омск) «Системный подход в изучении орнамента как историко-этнографического источника», С. Н. Томиловой (Омск) «Источники изучения современных этнических процессов», Е. Олифиренко (Барнаул) «Особенности сбора материалов о социалистическом быте деревни» и др. Проблемы использования этнографической литературы в качестве источника для лексикографии рассматривались в докладе О. Н. Владимирова (Томск) «Историко-этнографические проблемы этнографической науки затрагивались в докладах Л. В. Бабич (Томск) «Начальные этапы становления этнографии (1917—1934 гг.)», И. М. Киселевой (Саранск) «Деятельность П. И. Мельникова-Илчурского по этнографическому изучению мордвы», Н. А. Минеевой (Саранск) «Этнография творческого наследия Н. П. Огарева», К. Ф. Турбина (Саранск) «М. Е. Евсеев и этнограф», А. Г. Селезнева (Омск) «Проблема этногенеза барабинских татар дореволюционной и советской литературы» и др.

Вопросам музееведения и этнографической работе в музеях были посвящены доклады Т. А. Горяиновой (Омск) «Новосибирский областной краеведческий музей в довоенный период», С. М. Нагаева (Омск) «Омский государственный историко-литературный музей и его этнографическая работа в советский период», Е. Ю. Смирновой (Омск) о казахских коллекциях Омского музея.

Высокую оценку участникам конференции получили связанные с теорией этнографии доклады О. Д. Фанис (Москва) «Историко-этнографические проблемы „Население Сардинии в субэтнос“» и И. И. Николаева (Якутск) «Проякутский этнос как объект этнографических исследований».

Особая группа докладов была связана с проблемами этнической истории народов РСФСР, их историко-культурными и этногенетическими связями: С. А. Котенько (Астрахань) «Печенеги Нижнего Поволжья», И. В. Кудинов (Коломна) «О культурно-исторических связях Пскова и Новгорода с южнославянскими землями в середине XVI в.», М. И. Цой (Куйбышев) «Хозяйственно-культурные заимствования русского населения у народов Среднего Поволжья в XVII—XIX вв.», Н. Н. Панфилов (Архангельск) «Историко-культурные связи Каргополя и Кенозерья», Н. М. Сыслова (Ленинград) «К истории изучения камасинцев», С. В. Притворова (Кемерово) «К вопросу о межэтнических связях хакасов-сагайцев» и др.

Этнографы — студенты Омского ун-та выступили с серией докладов о современном этническом развитии народов Сибири и по проблемам этносоциологии. Среди особенно следует отметить доклады Ш. А. Ахметовой об этноязыковых процессах в Западной Сибири и Хакасии, В. В. Дрягина об этнических процессах у та

Омского Прииртышья, И. А. Харитонов об этнических процессах среди чувашей Западной Сибири, Т. В. Щербаковой о расселении и численности народов Омского Прииртышья в советский период, Т. Ю. Макаровой о социально-профессиональной структуре народов юга Сибири, Н. И. Лапузиной об этническом самосознании казахов и татар Западной Сибири.

Разработке и внедрению в быт социалистической обрядности, традициям и новациям в обрядах населения Чечено-Ингушетии были посвящены доклады С. - М. Даутерзаева (Грозный) и Л. Шадиевой (Грозный).

О роли этнографической науки и распространения этнографических знаний в коммунистическом и эстетическом воспитании трудящихся говорилось в докладах А. Ивановой (Чебоксары) и Ф. П. Столяровой (Чебоксары), а использованию этнографических материалов в обучении студентов педагогических институтов и школьников были посвящены доклады Г. В. Гуднева (Барнаул) и Т. Н. Онучиной (Барнаул).

Наибольшую группу составили доклады, основанные на результатах конкретных исследований по истории хозяйства, материальной и духовной культуре, семейной и общественной обрядности разных народов СССР. Эти темы прозвучали в докладах Е. В. Переваловой (Тобольск) о традиционном хозяйстве манси, В. Н. Карелина (Омск) о хозяйственно-культурных типах барабинских татар в XVII — начале XX вв., С. А. Герасимовой (Омск) о прядении и ткачестве сибирских татар, С. Г. Горбуновой (Кемерово) о материальной культуре шорцев, Т. Г. Богомазовой (Ленинград) об этнических аспектах изучения молочной пищи бурят, З. В. Доде (Ставрополь) об украшениях народов Ставрополя в XVIII — начале XX в.

Большой интерес вызвали доклады С. Э. Рашкован (Ленинград) «Анализ структуры купальского обряда», И. А. Бобрицкой (Волгоград) «Обряд „ритуальных похорон“ русского и украинского населения Нижнего Поволжья», А. Л. Цитриновой (Сыктывкар) «Пространственно-временная организация русских обрядов гадания», Г. И. Успеньева (Омск) «Обряды казаков Сибирского казачьего войска, связанные с рождением ребенка», С. В. Прокопенко (Волгоград) «Об обычаях размыивания рук у русских Нижнего Поволжья», И. М. Карелиной (Омск) «Свадебный обряд сибирских и поволжских татар», Л. Т. Шаргородского (Омск) «Погребальный обряд барабинских татар конца XIX—XX в.», А. М. Карпова (Ижевск) «Удмуртский народный музыкальный инструментарий», Г. И. Корепанова (Ижевск) «Категория времени у удмуртов», И. В. Тарнавской (Улан-Удэ) «Орнамент вышивки русских Забайкалья» и др.

Жанры и сюжеты русских фольклорных произведений рассматривались в докладах Е. Исаковой (Барнаул), Л. А. Поповой (Барнаул), Ю. И. Морозова (Омск), М. Н. Зеваковой и М. К. Хазовой (Ленинград); шорский героический эпос — в докладе Д. А. Функа (Кемерово), фольклор сибирских татар — в докладе Ю. В. Шершова (Омск).

Религиозные представления и обрядовые комплексы анализировались в докладах Ю. А. Ямпольской (Ленинград) «Развитие культа коня у финно-угорских народов Поволжья», А. П. Бандуры (Горно-Алтайск) «Культе коня у тюрков Алтая», В. Б. Яшина (Омск) «О месте иранизмов в мансийской мифологии», О. П. Денисовой (Ленинград) «Религиозные верования чувашского крестьянства XVIII в.», З. А. Башировой (Омск) «Природа в религиозных верованиях татар Среднего Прииртышья», А. Н. Рябцева (Сыктывкар) «Об одном ритуальном символе погребального обряда Перми Вычегодской», С. Козлова и В. Глонина (Грозный) «К вопросу о религиозных верованиях терских казаков».

В решении, принятом участниками конференции, отмечалось широкое развитие этнографических исследований студентов не только в университетах, но и в педагогических институтах и в институтах культуры Российской Федерации. В связи с этим, и учитывая большую роль этнографических знаний в подготовке высококвалифицированных историков, преподавателей истории, а также в политическом и эстетическом воспитании советских людей, на конференции был поставлен вопрос о необходимости введения курса этнографии на исторических факультетах и отделениях педагогических вузов РСФСР. Были также высказаны пожелания о расширении специализации в области этнографии.

Было рекомендовано продолжить практику организации всероссийских научных студенческих этнографических конференций на Историческом факультете Омского ун-та, где уже накоплен положительный опыт их проведения.

Участники конференции осмотрели выставку собранных студентами этнографических коллекций по культуре народов Западной Сибири и Северного Казахстана и выставку студенческих научных работ членов этнографического кружка Омского ун-та.

Н. А. Томилов

ВЫСТАВКА «ИСКУССТВО КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

С 7 по 25 сентября 1983 г. в Москве, в Государственном музее искусства народов Востока, экспонировалась выставка «Искусство Корейской Народно-Демократической Республики», приуроченная к 35-й годовщине образования КНДР, торжественно отмечавшейся 9 сентября.



Рис. 1. Ким Сонмин. Танец с барабаном (эта и остальные фотографии выполнены А. И. Стояновым)

«Сцена охоты» (гробница Муёнчхон), «Небесная фея» (гробница Анак № 2), «Портрет госпожи» и «Шествие» (гробница Анак № 3 — Мичхон-ван мудом), «Красная птица», «Черепаша, обитая змеей» (гробница из уезда Кансо), «Празднество» (гробница Сусанли). Все эти картины — яркое свидетельство высокого мастерства художников Когурё и ценный источник для исторической этнографии корейцев⁵.

Традиции, заложенные художниками древности, продолжали жить в искусстве корейского народа.

Наши корейские друзья привезли на выставку в Москву картины, отражающие основные этапы развития корейской живописи XVI—XIX вв.

Огромное впечатление производит портрет Ли Ханбока (1556—1618), созданный Ли Синхымом (1570—1631) и дошедший до наших дней в копии художника Чин Джэ (1691—1769). Этот портрет знаменует собой утверждение в корейской классической живописи жанра психологического портрета. Картина сильно пострадала от времени. Однако прекрасно сохранилось живое, выразительное лицо пожилого мужчины. Поражающие глаза Ли Ханбока, его пронизательный, мудрый взгляд. Несмотря на оттенок печали, выражение усталости, весь его облик исполнен одухотворенности.

¹ Хён Чхун Гук. Сохранить культуру для потомков. — Сов. культура, 8 сентября 1983, с. 7.

² Корейские предания и легенды. Из средневековых книг/Пер. с ханмуна. М.: Худлит., 1980, с. 200.

³ Изобразительное искусство Кореи. Из экспонатов корейской художественной галереи (альбом). Пхеньян, 1978; Корея. — В кн.: *Виноградова Н. А., Николаева Н. С.* Искусство стран Дальнего Востока (серия «Малая история искусства»). М.: Искусство, 1979, с. 153—203; *Глухарева О. Н.* Искусство Кореи. С древнейших времен до конца XIX века. М.: Искусство, 1982.

⁴ Фрески периода Когурё (альбом). Пхеньян, 1979 (альбом был опубликован на русском, корейском, китайском и японском языках).

⁵ *Джарылгасинова Р. Ш.* Древние когурёсцы (к этнической истории корейцев). М.: Наука, 1972; *её же.* Когурёские гробницы и их настенная живопись. — В кн.: *Корейское классическое искусство.* М.: Наука, 1972, с. 15—29.



Рис. 2. Ли Джессу. Улица, на которой мы живем

Тема утверждения духовной значимости человека, его огромных внутренних способностей, его умения противостоять не только невзгодам жизни, но и грозной природной стихии продолжена, но уже в аллегорической форме в картине неизвестного художника XVII в. «Ужение дракона». Человек на равных вступает в единоборство с морским чудовищем.

Запоминается небольшая жанровая картина Ким Дуряна (псевдоним Намни, 1696—1763) «Пастух и бык». Художник прекрасно передал тишину и покой жаркого летнего дня. Юноша-пастух заснул на склоне зеленого холма. На переднем плане с большой симпатией написана могучая фигура быка — выносливого, трудолюбивого и верного помощника корейского крестьянина. Интерес к крестьянскому быту, к социальному жанру характерен и для произведения Ким Дыксина (псевдоним Кындже, 1754—1822) «Янбан и крестьяне».

В истории корейской живописи особое место принадлежит Чон Сону (псевдоним Кёнджэ, 1676—1759) — великому пейзажисту, впервые воспевшему в своих картинах красоту природы Страны Утренней Свежести⁶. На выставку был привезен один из лучших пейзажей Чон Сона «Возвращение в дождь» («Путешествие под весенним дождем»). Эта небольшая картина (31,8×42,3 см) написана художником в последние годы его жизни, когда его кисть достигла особого мастерства. Туманным, дождливым утром по узкой дороге вдоль реки на маленьком ослике едет старый ученый, на нем белый халат, на голове маленькая черная шапочка, в руках свиток. Сзади бредет мальчишка. Вдали за рекой сквозь облака проступают контуры крыш крестьянских домов. Мягкие размытые туши, передающие насыщенный влагой воздух, сочетаются с выразительными линиями отдельных деталей. Лирическое настроение картины подчеркивается каллиграфической надписью.

Пейзажная живопись Ли Инмуна (псевдоним Чховон, 1758—1824) представлена небольшой картиной «Лодочник».

На выставке демонстрировался известный рисунок «Старый лев» прославленного художника Ким Хондо (1760—?). В традиционной культуре лев — защитник от злых духов, образ его, отчасти мифический, популярен в народе. Тонкими линиями туши Ким Хондо изобразил старого льва. С мягкой иронией и лиричностью написана морда старого животного, внимательно смотрящего на зрителей.

Огромный интерес вызвали вертикальные свитки из серии «Картины крестьянского быта» («Кёнджикдо»), датируемой XVIII в.⁷ На выставке в Москве были показаны три свитка: «Охота весной», «Рыбная ловля», «Базарный день». Картины написаны на шелке минеральными красками. Автор неизвестен. Каждый свиток — это яркое, многоцветное панно из жизни корейского общества XVIII в. На фоне величественных гор, покрытых цветущими деревьями, разворачиваются различные события. Вот у реки раскинулся шумный базар. Чего здесь только нет: в торговых рядах продают ткани, циновки, керамические сосуды разных размеров, кули с рисом. Неподалеку продают и покупают маленьких лошадок. Жаждающие отдохнуть собираются около столиков с угощениями. Здесь же разделяют рыбу. Кисэн (гейши) с высокими прическами подносят янбаням (дворянам) рюмочки с вином. Совершившие покупки садятся в большие лодки. В многолюдной толпе чинно прохаживаются янбани в черных шляпах с высокими тульями, в голубых или сиреневых шелковых халатах; торопливо снуют носильщики в белых одеждах, лодочники подгоняют к берегу лодки, бегают мальчишки. Кажется, над

⁶ Киреева Л. И. Пейзажная живопись Чон Сона (Кёнджэ). — В кн.: Корейское классическое искусство, с. 65—79.

⁷ Изобразительное искусство Корен. Пхеньян, 1978, с. 32—33 (на русск. яз.).



Рис. 3. Ким Сонджон. Лаковая ваза

площадью и рекой летя веселый, неумный, разноголосый шум праздничного базарного дня. Многообразие деталей и, более того, по любви к этим деталям, по стремлению рассказать многом и запечатлеть весь этот великолепный мир свитки сродни корейским средневековым повестям XVIII—XIX вв.

В жанре новогодних картинок (*сэхва*), которыми корейцы в праздник украшали свои жилища, выполнены два вертикальных полихромных свитка (XVIII—XIX вв.). На одном из них изображены петух, курица и цыплята, на другом цветы пиона. Эти сюжеты связаны с благоприветливой символикой — пожеланием благополучия и богатства. В первый день Нового года такие картины вывешивались в парадных комнатах.

Московская выставка убедительно показала, что лучшее из традиционного корейского искусства продолжает жить в творчестве современных художников КНДР, работающих в жанре *чосонх* (корейская живопись). Одно из ведущих направлений этого жанра в наши дни — полихромная живопись⁸. Многоцветием красок корейской живописи запоминается картина заслуженного художника КНДР Ким Ина «Горы Мёхянсан осенью». В картинах заслуженного художника КНДР Ким Сонмина «Танец с барабаном» (рис. 1), заслуженного художника КНДР Ким Чхунджона «Приветствие», Син Чоя «Качели» передано настроение праздничности, для них характерен интерес к национальному костюму, народным музыкальным инструментам, народным развлечениям.

Художники, работающие в жанре *чосонх*, горячо откликаются на животрепещущие темы современности. В центре их внимания трудовая деятельность народа (как, например, в картине Пак Тэ

«Победители стодневного боя»), строительство Пхеньяна (например, в картине Джесу «Улица, на которой мы живем» — рис. 2), героическая борьба народа Южной Кореи (например, картина народного художника Кореи Чхве Хатхэка «Воюющая Кванджу»).

В КНДР продолжают развиваться традиционные виды декоративно-прикладного искусства: художественная вышивка, резьба из полудрагоценных камней, керамика, изделия из фарфора, лаки, плетение из бамбука. Творчество мастеров, работающих в этих жанрах, было широко представлено на выставке. Великолепна черная лаковая ваза Ким Сонджона, инкрустированная узором из перламутра — танцующие журавли на фоне восходящего солнца (рис. 3). Запоминается также работа Чон Сонджо — лаковая ваза, инкрустированная перламутром. Тема узора — сбор богатого урожая. В горловине вазы художник расположил орнамент из колосьев риса, на тулове — сцену народного праздника: по случаю сбора урожая крестьяне исполняют веселый танец.

Многие мастера-керамисты возрождают и продолжают славу корейского селадона. Так, например, ваза Ли Инсика выполнена в стиле *сангам*. Узор фарфоровой вазы мастера Ли Тхэджон — «Белый тигр», один из четырех священных мифических животных (*сасин*), которых так часто изображали художники Когурё.

В декоре современных керамических и фарфоровых изделий, в узорах изделий из лака, а также в вышитых панно сохраняются традиционные, любимые народом символы: цветы пиона, магнолии, плоды каштана, изображения анисов и карпов.

Эмблемой выставки стала картина художника XIX в. Ким Джинина «Бамбук». Бамбук и сосна — древнейшие образы-символы корейского искусства, что символы долголетия, стойкости, твердости характера.

Образ бамбука прекрасно выражает основную идею выставки — преемственность поколений, а сама выставка убедительно свидетельствует о том, что мастера Корейской Народно-Демократической Республики творчески развивают и продолжают лучшие традиции своего классического искусства. Несомненно, в этом залог их новых блестящих свершений.

⁸ См., например, альбом «Корейские изобразительные искусства». Из произведений представленных на всереспубликанской выставке изобразительных искусств, посвященной 30-летию образования КНДР. Пхеньян, 1979 (на русск. яз.).

Фольклорные экспедиции кафедры русской литературы
Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского

Фольклорные экспедиции кафедры русской литературы Горьковского государственного университета летом 1982 года продолжили полевую работу на юге Горьковской области¹. С 7 по 20 июля отряд в составе 25 студентов под руководством Е. Кореповой и Т. И. Белоус работал в Первомайском и Лукояновском районах, имеющих смешанное русско-мордовское население. В Первомайском р-не записи велись в 20 населенных пунктах Николаевского, Шутиловского и Маломакателевского сельсоветов, в Лукояновском р-не — в 3 населенных пунктах Новомихайловского сельсовета (д. Новомихайловка, с. Печенки, д. Орловка). Кроме того, выясняя ареал бытования некоторых обрядов, фольклористы выходили на территорию Починковского р-на (сс. Мадаево, Ризоватово, Мисилев Майдан, Арзинка) и предприняли этногносцировочные выезды в с. Красный Юр Шатковского р-на.

Цель экспедиции — сбор материала по издальной обрядности для дальнейшего картографирования, изучение календарной обрядности, а в Первомайском р-не, где фольклористы работали впервые, — изучение общего состояния местной фольклорной традиции.

Всего было записано 1828 текстов. В материалах экспедиции представлены 25 описаний традиционной и I описание современной свадьбы, сохраняющей некоторые элементы традиционного обряда. Фольклористы присутствовали на ней), 6 свадебных лирических и величальных песен, 67 причитаний и 48 приговоров. Традиционный свадебный обряд на всей обследованной территории однороден по своей структуре и поэтическому репертуару, хотя и имеет некоторые отличия в каждом населенном пункте. По программе-вопроснику Института славяноведения и балканистики АН СССР фольклористы сделали 2 подробных описания похоронного обряда и записали 7 похоронных причитаний.

Первомайский и Лукояновский, р-ны, как и весь юг Горьковской области, отличаются развитой аграрной обрядностью. Участники экспедиции зафиксировали 276 описаний календарных обрядов, 160 — га-

даний (святочных, средокрестных, троичных), записали 56 песен и 56 приговоров. Святочные обряды представлены здесь обходом дворов с поздравительными песнями, имеющими припевы «таусень», «каляга» и «винограде»; кострами под Новый год («старый год жгли»), гаданиями, а в среде будаков, переселенцев из западных губерний, было распространено приглашение Мороза на кутью. Аграрный характер имел здесь обычай печь кресты в середину великого поста: кресты клали в семенное зерно; тот, кому доставался особо отмеченный крест, начинал сев первым. Развиты были обряды, совершавшиеся в петровское заговенье и осмысливавшиеся как «проводы весны». Они имели три разновидности: похороны Костромы, проводы в ржаное поле или потопление соловушки, вождение кобылы. Повсеместно отмечено бытование в прошлом девичьих осенних праздников — *кузьминок* (*кузьмушек*), включавших обходы дворов и сборы подаяния на *кузьмушки*, девичьи беседки с угощением — *девичники* (*кузьмушки*), ряжение свадебного деревца (репья или елки), в ряде мест изготовление чучела Кузмы-Демьяна и похороны его.

Участники экспедиции сделали описания масленичных, троичных, жатвенных обрядов, записали поверья, связанные с Егорьевым и Ивановым днями. Некоторые обряды, приняв игровой характер, сохраняются до сих пор (похороны Костромы в с. Шутилово, проводы соловушки в с. Мадаево).

Эпическая традиция в обследованных районах развита слабее, чем обрядовая. Фольклористы не встретили хороших сказочников. Из несказочной прозы в среде пожилых людей бытуют еще былички (записано 108 номеров), рассказывающиеся исторические и топонимические предания, предания-былички о кладах, в Лукояновском р-не связываемые с именем Разина (всего о Разине записано 16 текстов).

Программированный поиск песенных эпических сюжетов не дал больших результатов: зафиксирован только один сюжет исторической песни «Соловей кукушку уговаривал», 6 балладных сюжетов «Муж губит жену», «Оклеветанная жена», «Дочка-пташка», «Мать губит незаконнорожденное дитя», «Казачи манят с собой девушку и затем убивают ее»,

¹ См. Сов. этнография, 1982, № 2, с. 132.

«Ванька-ключник». Некоторые сюжеты представлены несколькими версиями, иногда не только русскими, но и украинскими. Записано 17 текстов солдатских песен, в том числе в нескольких версиях сюжет об умирающем воине и его наказаниях коню или ворону.

В материалах экспедиции 40 текстов лирических протяжных песен, 21 текст хороводно-игровых, 31 — плясовых и шуточных, 18 — песен литературного происхож-

дения, 588 частушек, 41 произведение детского фольклора, 11 заговоров и т. п.

Сделано около 180 магнитофонных писей, которые переданы в фонограмму Областного научно-методического центра народного творчества и культпросветработы (ОНМЦ), рукописный материал хранится в фольклорном архиве кафедры русской литературы ГГУ.

К. Е. Корепова, Т. И. Бел

Летом 1983 г. совместно с ОНМЦ была продолжена полевая работа по изучению фольклорной традиции и ее современного состояния в правобережной части области. С 29 июня по 12 июля 20 студентов под руководством К. Е. Кореповой обследовали 17 населенных пунктов Шатковского р-на: села Корино, Крутец, Ключищи, Паново, Смирново, Хирино, Костянка, Архангельское, Выползово, Шарапово, Красный Бор, Кардавилль, Понетаевка, деревни Покровка, Ратманово, Луканово и пос. совхоза «Власть Советов». Это села преимущественно с русским населением или обрусевшей мордвой (Кардавилль, Крутец, Понетаевка, Корино), в некоторых русские живут в соседстве с мордвой. Фольклорная традиция лучше сохраняется в среде обрусевшей мордвы.

Всего записано 2442 текста: произведения разных фольклорных жанров, описания обрядов и обычаев, рассказов о прошлом.

Песенная эпическая традиция в обследованном районе в настоящее время развита слабо. Записано 18 текстов исторических песен на три сюжета: «Молодец зовет девушку в Казань», «Платов у француз-ов», «Курьер сообщает о смерти Александра I».

Баллады представлены сюжетами: «Донской казак губит жену» (несколько вариантов) и «Сестра братьев-разбойников». Последний сюжет на юге области встречается редко, его помнят в среде обрусевшей мордвы. Широко известны и популярны в настоящее время баллады литературного происхождения: «Ванька-ключник», «Ехали солдаты со службы домой» и т. п. Всего записано 15 балладных текстов. Кроме того в составе хороводных, солдатских и др. песен встретились эпические сюжеты: «Умирающий воин отдает

наказ коню», «Жребий о рекрутчине», «Девушка в хороводе поборола молодца», «Два семилетка и молодец обмениваются мудреностями», «Девушка выкупает из пещеры молодца».

Сказок удалось записать только 10 (основном новеллистические и о животных). Записано 26 топонимических и исторических преданий о борьбе с татарами о казанском походе Ивана Грозного, разинцах, разбойниках и их кладах. В материалах экспедиции 92 былички, в числе несколько быличек о русалках и левом, 78 поверий о домовом и людях-ропотнях, колдунах, проклятых детях, льющих покойниках.

Участники экспедиции сделали 15 обрядов традиционного свадебного обряда, записали 28 свадебных песен, 46 причитаний и 22 приговора. Свадебный ряд здесь того же типа, что и по всей югу области. В с. Архангельском в обряд прослеживаются некоторые элементы из норусского или, возможно, белорусского происхождения, занесенные сюда переселенцами: прыгание в поневу как символическая форма согласия невесты на брак, песни с припевом «Рай мой...».

Было установлено, что среди календарных обрядов были особенно развиты зимние обходы дворов с исполнением двенадцатиренцованных таусеней. Их пели женов и невестам, молодоженам, старикам, вдовам и даже новорожденным. В с. Крутец отмечено бытование наряду с таусами и виноградаря. Хорошо сохранились и до сих пор исполняются до сих пор троицкие песни. Участники экспедиции наблюдали ряд сел «проводы весны»: в с. Красный Бор молодежь в этот день *ярилась* (свалась водой), в с. Кардавилль женихи ходили по селу с *розаном* (березкой), в том топили его.

Всего сделано 136 описаний календарных обрядов, записаны 63 календарные песни и приговора, 104 гадания. В с. Шапково выявлен обряд «похорон воробья», порученный к петровскому заговенью. Изучение его будет продолжено в 1984 году.

В материалах экспедиции 787 частушек, 2 лирические песни о любви, 26 хороводных, 48 частых плясовых, 14 рекрутских и солдатских, 70 песен литературного происхождения и романсов, 255 пословиц и поговорок, 37 загадок, 260 произведений рекрутского фольклора, 7 заговоров, описание

похоронного и рекрутского обрядов и пр.

Фольклористы собирали сведения о духовной культуре по ряду программ Ин-та славяноведения и балканистики АН СССР, по заданию ОНМЦ оказали помощь семи фольклорно-этнографическим коллективам в формировании репертуара. К. Е. Корепова и И. Зубкова выезжали в с. Шутилово Первомайского р-на, где сделали визуальное описание похорон Костромы.

Собранные материалы сданы на хранение в архив кафедры русской литературы ГГУ, а копии фонограмм — в архив ОНМЦ.

К. Е. Корепова



КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ Ю. В. Бромлея

«ОЧЕРКИ ТЕОРИИ ЭТНОСА».

(М.: Наука, 1983, 412 с.)

Выходом в свет книги Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса» завершается определенный этап в развитии теоретических основ советской этнографической науки, отмеченный повышенным интересом к совершенствованию ее понятийно-терминологического аппарата и к определению ее места в общей системе научных дисциплин. Исследования последних полутора десятилетий особенно ясно выявили пограничные области других наук, области, где методы и результаты этнографических исследований могут оказаться весьма полезными для «смежников». Естественно поэтому, что «Очерки теории этноса» вызвали интерес у представителей разных гуманитарных и естественных дисциплин и побудили некоторых из них высказать свои соображения о проблемах, затронутых в книге Ю. В. Бромлея, в связи с современным развитием тех наук, которые представляют эти специалисты.

Редакция журнала «Советская этнография», публикуя отклики на книгу Ю. В. Бромлея, надеется, что ее обсуждение будет полезно для дальнейшего развития теоретических исследований в области общественных наук. В обсуждении участвуют: д. и. н. М. А. Барг, заведующий сектором Института всеобщей истории АН СССР; д. и. н. С. А. Арутюнов, ст. научный сотрудник Института этнографии АН СССР; член-кор. АН СССР Б. Ф. Ломов, директор Института психологии АН СССР; д. ф. н. Л. А. Гордон, заведующий лабораторией Института международного рабочего движения АН СССР; д. г. н. Я. Г. Машбиц, заведующий сектором Института географии АН СССР; академик Г. В. Степанов, директор Института языкознания АН СССР.

Процесс дифференциации наук, ставший важнейшим критерием их прогресса, с одной стороны, и все возрастающий поток информации в пределах каждой из них — с другой, обусловили не только наличие «средостений» между отдельными науками, — даже в сравнительно однородных областях познания, — но и резко сузили круг чтения специалистов, физические возможности которых временами едва обеспечивают обновление текущей информацией в относительно узкой области исследования.

Этим печальным издержкам научного прогресса противостоят тенденции, которую я назвал бы теоретическим возрождением многих частных наук, в том числе и гуманитарных. Усилившийся в последние два десятилетия интерес специалистов-гуманитариев к теоретическим основам собственных исследований создает объективные предпосылки не только для преодоления разноречия между науками, но и для объединения усилий в разработке проблем, связанных с формированием теории гуманитарного исследования в целом. Именно в этой связи меня глубоко заинтересовал новый труд академика Ю. В. Бромлея, опубликованный в издательстве «Наука». Думается, я не ошибусь, если усмотрю в нем наиболее капитальную попытку создания теоретического фундамента для одной из областей марксистского обществознания, а именно, этнографии. Ничего подобного мы до сих пор не обнаруживаем ни в одной другой области гуманитарного исследования. И если советская этнография ныне со всей очевидностью переживает период интенсивной внутренней рефлексии, если она оказалась в этом отношении на переднем крае гуманитарного знания, намного обогнав, по моему убеждению, историческую науку, то в огромной степени она обязана этим трудам Ю. В. Бромлея. В них счастливо сочетаются глубокое знание состояния предмета не только в нашей стране, но и его общемирового уровня и творческая диалектико-материалистическая мысль. И еще одна особенность, эти труды отличающая, мимо которой историк не может пройти равнодушно — пронизывающий их последовательный

торизм, сознание относительности всех граней и определений, действительность последних, связанная пространственно-временными границами. Именно благодаря этим особенностям историк находит в рассматриваемом труде, в частности, много для себя instructive. И прежде всего — как автор решает стоящую перед ним задачу создания систематически разработанной «частной теории» предмета. При этом автор хорошо знает, что метод этого решения выходит за рамки данного предмета и имеет в рамках гуманитарных наук общенаучное значение (недаром он адресует свою книгу не тем специалистам, «которые в той или иной мере имеют исследовательский интерес к этнической проблематике» с. 5). И в этом он не ошибся, ибо обобщенный в данной книге опыт систематической разработки логико-семантического аппарата этнографии, несомненно, наталкивает на размышления всех гуманитариев, проявляющих интерес к теоретическим основаниям своего предмета. Роль подобного опыта поистине трудно переоценить, поскольку, по моему глубокому убеждению, для всех «частных наук» о человеке настала пора пристально присмотреться к системе понятий, которыми каждая из них оперирует. Всем специалистам, работающим в данной области, хорошо известно, насколько язык науки в ней «засорен» бытовой речью, в какой степени научное содержание почти каждого из понятий затемнено «здравым смыслом» и отягощено личными характеристиками. Нет ничего удивительного в том, что любая дискуссия в указанных науках неизбежно выливается в спор о словах столь же нескончаемый, сколь и бесплодный.

Благодаря же многоплановому и богатому содержанию рассматриваемого труда, доступному в полной мере разве только специалисту, историк, который не пожалеет времени на его изучение, извлечет, помимо конкретных сведений по многим вопросам, связанным с проблематикой этноса, вопросам, которые так или иначе входят в круг его прямых интересов, также и богатый материал, научное значение которого не связано никакими рамками специальности. Меня лично, например, поразила редко встречающаяся в нашей литературе авторская манера полемизировать, в которой научная принципиальность сочетается с глубоким уважением к суждениям не только тех, кто с ним согласен, но и к суждениям открытых оппонентов, умение находить крупницы истины и во мнениях, с которыми автор не согласен, рассматривая при этом свои собственные решения в значительной мере лишь как гипотезы, требующие дальнейшей проверки при изучении конкретного материала. Этот, я бы сказал, антидогматичный способ авторского изложения поистине подкупает своей широтой и ненавязчивостью. Автор искренне доверяет своему читателю, которому дается богатый материал для размышлений и для вынесения собственных заключений.

Рассматривая труд Ю. В. Бромлея в плане теоретическом, правомерно заключить, что проблема логических предпосылок классификации социальных явлений и их типологизации проходит красной нитью через все его содержание, составляет его истинный творческий пафос. Проиллюстрируем на двух примерах роль таксономических определений различного уровня в разработке теории предмета. Историкам хорошо известно, в какой степени их работу затрудняет отсутствие четких представлений о типах социальных общностей, с которыми они то и дело сталкиваются при изучении отдельных, конкретных обществ той или иной эпохи. И то обстоятельство, что в рассматриваемой работе Ю. В. Бромлея эта проблема является одной из ведущих, лишний раз подчеркивает, сколь актуально предпринятое автором исследование не только для этнографов, но и для историков. Авторская концепция может быть представлена предельно кратко, но именно потому, что она во всех деталях разработана и с предельной ясностью обобщена. В процессе целенаправленной деятельности людей каждый из них оказывается втянутым в целую сеть общественных связей, которые отличаются различной протяженностью в пространстве и времени, то есть различной мерой исторической устойчивости и всеобщности. Каждая из таких связей приводит к возникновению определенной социальной общности. Такого рода общности могут быть плотными дисперсными, лежащие в их основе связи могут быть внешними и внутренними (глубинными), непосредственными и опосредованными, первичными и производными, формальными и сущностными, наконец, они могут иметь характер не только синхронный, но и диахронный. Мы, естественно, опускаем богатый материал конкретных наблюдений, которыми иллюстрируется каждый из перечисленных параметров, однако важно подчеркнуть, что именно сочетание этих последних определяет место каждой социальной общности в иерархии им подобных. И если нас поражает сложность исследуемых явлений, богатство граней, характеризующих каждое из них, то нужно отдать должное автору рассматриваемого труда, который представил данную проблему во всей ее сложности и тем самым облегчил специалистам в различных областях общественного знания поиск собственных решений данной проблемы в зависимости от специфических форм проявлений в контексте конкретной дисциплины.

Пример второй: проблема определения понятия культуры. Всем обществоведам, не только философам, хорошо известны трудности, с которыми сталкивается современная научная мысль при определении содержания этого понятия. Об этом достаточно свидетельствует наличие в новейшей литературе более двухсот определений культуры. Предложенный Ю. В. Бромлеем анализ данного понятия представляется несомненным достижением диалектико-материалистической мысли. Вычленив в категории «культура» два фундаментальных свойства — структуру и субстрат (под которыми мы понимаем определенный «строительный материал» — «общественное тело») и включая в последний субстрат биологический и надбиологический, автор склонен отождествить культуру с надбиологической областью, из которой, однако, исключаются структурные связи — социальные отношения. «Ясно, — заключает автор, — что этот последний (надбиологический) субстрат — результат деятельности людей, вопло-

щенной в их духовных свойствах..., а также в опредмеченных формах». Очевидно, здесь имеется в виду не вообще все надбиологическое, а лишь одна сторона общественного бытия — его субстратный аспект (с. 100—101). Размежевание социальных и культурных явлений, в высшей степени теоретически аргументированное и фактически обоснованное, послужит плодотворной «точкой отсчета» не только для специалистов-культурологов, но и для историков культуры. Представляется, что Ю. В. Бром сумел наконец преодолеть спор о словах, продолжающийся в этой области, и наметил путь к предметной разработке проблемы. Наконец, немало ценных теоретических и фактических сведений заинтересованный читатель встретит и в тех разделах книги, которые посвящены изучению этносоциальных процессов различных общественных формаций. В том, труду Ю. В. Бромлея суждено занять видное место в советской гуманитарной науке. Содержащийся в нем опыт разработок «частной теории» этнографии не только вдохновит специалистов в смежных областях общественно-научного знания предпринять нечто подобное, но и значительно облегчит им решение этой задачи.

М. А. Б.

* * *

Изучение проблем теории этноса — одно из основных направлений в исследовании представителей советской этнографической школы. Хотя проблемами этноса и этничности занимаются многие зарубежные ученые, такие, как Ф. Барт, Д. Роган-Черх, Н. Глейзер, Д. Мойнихан, Л. Уолнер, В. Исаев, и целый ряд других (обзор их трудов с близкой к исчерпывающей полнотой дан в первом очерке рецензируемой книги), не менее именно для советских этнографов внимание к этим проблемам наиболее характерно. Исследования в этой области особенно интенсифицировались в последние десятилетия, когда появилось большое число конкретных работ по этнической истории и современным этническим процессам в разных регионах мира, а также теоретических работ, трактующих отдельные аспекты формирования, существования и развития этносов. Все более настоятельную потребность обобщения этих исследований, создания обобщающей теории этноса и призвана удовлетворить книга Ю. В. Бромлея.

В полном соответствии с названием книги, автор структурно подразделил ее на главы, а на очерки. Всего их в книге четырнадцать. Такое деление не случайно: оно имеет вполне конкретный смысл: каждый очерк, хотя и связан четкой последовательностью рассуждений и изложения с остальными, тем не менее всегда посвящен вполне определенному аспекту теории этноса и мог бы фигурировать в качестве отдельной статьи, обладая полной внутренней законченностью, что, как правило, присуще главам монографии. Кроме того, следует заметить, что эти четырнадцать очерков не исчерпывают всех аспектов теории этносов. Основные аспекты, которые рассматривает в своей книге Ю. В. Бромлей, это: проблемы понятийно-терминологического аппарата теории этноса, классификации и типологизации различных видов этнических общностей (часть первая); этнические функции и этническая специфичность этносоциальных свойств и явлений, как культура, психика, круг брачных связей, взаимодействие этноса со своим природно-географическим окружением (часть вторая); этапы процессов этнического развития на уровне различных общественно-экономических формаций (часть третья). Такие важные аспекты, как соотношение этнических общностей с общностями иного характера (языковыми, расовыми, религиозными, социальными), роль различных форм межгрупповой и межличностной коммуникации, общности и механизмов социализации индивида в формировании и функционировании этносов, как правило, не остаются вне поля рассмотрения автора, хотя и не являются предметом особых очерков, а включены в рамки более широких тем (культура, психика и т. д.). Однако в целом можно сказать, что практически ни один существенный аспект всей совокупности проблем и обстоятельств формирования, развития и функционирования этносов не остался без внимания автора, и книга в основном оправдывает ожидания читателей, желающих найти в ней обобщающие теоретические установки, изучая такого сложного феномена, как этнос.

Почти 400 страниц основного текста книги (не считая существенно помогающих при подытоживании им подробного понятийно-терминологического и этно-топонимического указателя) насыщены рассуждениями автора, дискуссией с его оппонентами, теоретическими выводами, следующими из этих рассуждений и иллюстрирующими их конкретными примерами, взятыми из всех районов эйкумены и всех ее существований. Понятно, что в рамках краткой рецензии невозможно охватить теоретическое и концептуальное богатство книги, и приходится ограничиться анализом лишь нескольких основных положений, имеющих, на наш взгляд, наиболее принципиальное значение, или носящих наиболее дискуссионный характер.

К числу важнейших понятий, введенных в типологию этноса в этой книге (более ранних работах) Ю. В. Бромлеем, относится разделение этноса на «этнос» (все члены этноса как некое множество) и «этносоциальный организм» (ЭСО), как этносоциальный организм, обладающий своей политической, экономической и культурной структурой. Нет сомнения в нужности и операциональности этого предложения Ю. В. Бромлея, которое было быстро подхвачено и принято большинством советских этнографов. Однако понятие ЭСО можно трактовать как в узком, так и в расширительном смысле. Насколько можно судить по книге Ю. В. Бромлея, он склонен рассматривать как этносоциальные ЭСО лишь те, которые имеют свою политическую надстройку в форме государства. По этой логике, в течение всей античности и средневековья армянская государственность существовала, как ЭСО (в периоды существования государственности), а в XIX веке, будучи уже нацией, имела как ЭСО «не

завершенную структуру» (с. 69). Нам представляется, что наличие особой религиозной системы (с 311 г. — христианства как государственной религии, с 451 г. обособленной монофизитской церкви), единой гуманитарной традиции, межрайонных экономических связей делало армян Армянского нагорья (без диаспоры и без Киликийской Армении, бывшей, по-видимому, отдельным и своеобразным ЭСО) единым ЭСО даже в периоды раздробленности и потери независимости. Лишь в XIX веке с ростом знания и стабильности границ Российской и Османской империй, обособились два ЭСО в Западной и Восточной Армении, что, в частности, выразилось в формировании двух вариантов литературного новоармянского языка — восточного и западного.

Рассмотрим далее такой крупнейший этнос мира, как китайский. Ясно, что все китайцы КНР входят в единый ЭСО, хотя и имеющий очень сложную структуру с рядом подразделений. Но китайцы, составляющие основное население других государств и территорий, например, Сингапура, Гонконга, по-видимому, должны рассматриваться как особые ЭСО. В Малайзии, наряду с малайским ЭСО (несколько менее половины населения страны), существует, очевидно, и особый малайзийско-китайский ЭСО (более трети населения), расселенный в основном дисперсно в большинстве районов Малайзии. В наши дни судьба палестинско-арабского этноса сложилась так, что подавляющее большинство его находится в диаспоре. Однако и в диаспоре значительная часть арабов-палестинцев, несомненно, образует определенный ЭСО, который, несмотря на отсутствие общей экономики, обладает своей политической, военной структурой и пользуется широким политическим признанием. Само собой разумеется, что наличие в структуре подобного дисперсного ЭСО конфронтующих политических групп и организаций не отрицает его существования как единого социального организма, поскольку подобная конфронтация имеет место и в тех «полноценных» ЭСО, которые обладают территорией и государственностью.

Вряд ли можно без специальных исследований ответить на вопрос, который поставить необходимо, а именно, какого характера ЭСО (один или несколько) существовали в рамках польского этноса в тот период, когда территория Польши была разделена между тремя империями — Германией, Австро-Венгрией и Россией. Существовала ли польская нация в конце XIX века? По-видимому, ЭСО может существовать в в полу-латентном состоянии, и в структуру его в этом случае входят различные социальные институты, выражающие надежды и чаяния этноса, его стремление к объединению и самоопределению. Готовых ответов на многочисленные подобные вопросы мы не получили из книги Ю. В. Бромлей, но достоинство ее в том, что благодаря сформулированным в ней концепциям и понятийному аппарату мы можем теперь приступить к исследованиям, которые могут эти ответы дать. Представляется, что одной из наиболее важных последующих задач в области теории этноса является построение типологии различных вариантов ЭСО, изучение структурных элементов, обеспечивающих их функционирование — от низовых (брачно-семейные связи, соседская взаимопомощь, ярмарки, календарные праздники, храмовые паломничества и т. д.) до высокоуровневых (политические организации, высшие учебные заведения, средства массовой коммуникации и пр.), их роли в этом обеспечении. Представляется, что в иерархии различных ЭСО (или этносоциальных общностей и групп разного уровня) смогут занять свое место очень многие реально существующие компактные и даже дисперсные племя, осознающие свою этническую общность, т. е. те группы, которые Ю. В. Бромлей выделяет как этноареальные и этнодисперсные (с. 73). Отметим, впрочем, что в работе, где впервые были введены эти термины, признавалось, что различие между ними состоит в «степени территориального рассредоточения», т. е. определяется скорее количественными, нежели качественными показателями¹.

Говоря о сопряженности популяции и этноса, Ю. В. Бромлей отмечает, что, хотя и все такое сопряжение существует лишь в рамках ЭСО, дисперсный этнос за пределами определенной территории также может образовывать популяцию (с. 207). Образование человеческой популяции возможно лишь в силу действия определенной социальной организованности, которая одна лишь может у человека противостоять энтропии, следовательно, любое этническое формирование должно либо обладать некоторыми чертами социального организма, либо развиться в результате полной траты относительной эндогамии.

Все вышесказанное, разумеется, не отрицает того, что высшим типом ЭСО надлежит считать лишь тот случай, когда этнос обладает, помимо всех указанных институтов, также и собственной государственностью, но это лишь подчеркивает необходимость разработки иерархической типологии разных форм ЭСО.

Особо следует рассмотреть проблему ЭСО в применении к доклассовому обществу, где удается найти племя, вопрос довольно ясен — племя и есть основная форма функционирования ЭСО в таких условиях. Однако нет никаких признаков племенной структуры, скажем, у ифугао, в том виде, в каком их описал Р. Ф. Бартон². В то же время наличие общих для этноса ифугао правовых и религиозных институтов, регулирующих, в частности, отношения каждой деревни с ее близкими и дальними соседями, оставляет сомнений в том, что весь этнос ифугао действует, как единый ЭСО. Не самое можно сказать и об индейцах хиваро, очень схожих с ифугао по ряду

¹ Современные этнические процессы в СССР. 2-е издание. Москва: Наука, 1977, 16—17.

² Barton S. F. Ifugao economics, Ifugao law. — University of California Publications American Archaeology and Ethnology, v. 15, 1919—1922.

экономических и социальных параметров³, и о многих других этносах доклада уровня без племенного деления.

В свое время нами совместно с Н. Н. Чебоксаровым было предложено обозначать как «соплеменность» этнические общности надплеменного уровня⁴. Ю. В. Бромлей вкладывает в термин «соплеменность» иное содержание, а для указанных общностей предлагает термин «метаплемя». Это предложение вполне приемлемо, но следует помнить, что оно может быть распространено и на такие этнические общности, которые не состоят из отдельных племен, не являются племенем сами по себе, и не достигают еще уровня народности. Именно таковы общности фулбо, хиваро и многие другие. Как к этносу к ним применимо понятие «соплеменности» в предложенном Ю. В. Бромлеем смысле, но обычно число представителей таких метаплемен, живущих вне рамок своего ЭСО, невелико, и границы не делящегося на племена метаплемена чаще в практически совпадают с границами его более или менее оформленного метаплемена ЭСО.

К числу очень существенных понятийных уточнений, вводимых Ю. В. Бромлеем исследовательский аппарат этнографии, принадлежит разграничение как общностей и свойственных им характерных культурных особенностей на «этнические» и «нографические» — т. е. на осознаваемые самими этими общностями и на реально, объективно присутствующие, но не осознаваемые (с. 84—85, 116 и др.). Плодотворность операциональности такого разграничения не подлежит сомнению. Следует лишь отметить, что деление явлений на «этнографические» и «этнические» есть частный случай, в применении к этническому самосознанию, более общей культурологической категоризации этности и эмности, в предложенном К. Пайком смысле⁵. «Этнографическое» превращается в «этническое», становится из этного эмным, когда оно начинает осознаваться как выделенная в общей структуре (в этническом составе населения, в системе его культуры) категория. Ю. В. Бромлей приводит ряд ярких примеров такого образования, например, в отношении общеславянского единства (с. 197). Вопросы проблем этнического самосознания и осознания этнической специфики своего и других этносов, по вполне понятным причинам, в книге уделено большое внимание. Особенно интересны в этом плане соображения, высказанные в связи с избирательностью такого осознания, когда одни черты культуры и моменты этнической истории абсолютизируются в массовом сознании, а другие, напротив, игнорируются. Практически общечеловеческим инвариантом автостереотипа этногенеза можно считать предания и легенды (нередко чисто мифические) о миграции, исходе из какой-то местности (стоятельства появления в которой обычно оказываются уже совершенно нерелевантными). Соответственно этносы, которые по данным научных исследований должны быть таковыми на 90% автохтонными, настойчиво возводят себя всецело к мигрантам, и проявляется не только в обыденном сознании но нередко и в позициях творческой интеллигенции этноса. Иными словами, в массовом сознании наиболее отчетливо проявляются суперстратные черты, тогда как субстратные затемняются. Впрочем, и в новейшее время именно творческая интеллигенция и общественные лидеры нередко апеллируют к субстратной символике (например, в Латинской Америке к индейской).

Исключительно важное значение имеет небольшой (всего 10 страниц — с. 233—243), но чрезвычайно насыщенный очерк «К типологизации этнических процессов». Здесь вводится различие «этноэволюционных» и «этнотрансформационных» процессов, а также лежащих в иной плоскости «этносоциальных» процессов. Например, латинский этнос переживал в XVIII веке, по-видимому, этнотрансформационные процессы, находясь в стадии формирования, в XIX веке преимущественно этноэволюционные (дальнейшая гомогенизация и развитие), а в XX веке — этносоциальные (превращение в социалистическую народность).

«Основными подвидами собственно этнических процессов являются процессы этнического разделения и этнического объединения» (с. 235). В разделии Ю. В. Бромлей предлагает различать парциацию (сложение, например, русских, украинцев и белорусов в ходе парциации древнерусской народности) и сепарацию (например, обособление африканеров-буров от голландцев). Проводится им и ряд тонких и точных разграничений между различными формами этнического сближения и объединения: консолидация, ассимиляция, интеграция, этногенетическая миксация, возможность перехода одного из этих процессов в другой, разное значение одного и того же процесса ассимилирующего этноса, и ряд других замечаний, имеющих большую ценность для любых исследований по этническим процессам.

Распространяться о том, что некоторые другие положения рецензируемой книги дискуссионны, а некоторые частные вопросы теории этноса в ней не затронуты, не затронуты лишь частично, было бы тривиальностью, так как такое утверждение можно отнести к любому труду, вносящему новое в теорию науки. Выше нами были отмечены те моменты, которые больше всего заинтересовали автора рецензии (прежде всего в свете интересов его собственных исследований). Ученые, подходящие к изучению этнических процессов под другим углом зрения, наверное, выделяют в рецензируемой книге другие моменты. Дискуссии по поднятым в ней вопросам, несомненно, бу-

³ Siverts H. Jivaro Head-hunters in a Headless Time. — Perspectives of Ethnology. The Hague, 1978.

⁴ Чебоксаров Н. Н., Арутюнов С. А. Передача информации как механизм существования этносоциальных и биологических групп человечества. — Расы и народы, 2. 1972.

⁵ Pike K. Language in relation to a unified theory of human behaviour. Glendale 1955.

продолжаться. Но совершенно ясно, что с выходом этой книги в свет и направленность этих дискуссий, и требования к дальнейшему анализу этнических общностей и процессов, и перспективы их дальнейшего исследования поднимаются на качественно новый этап. В этом и состоит значение «Очерков теории этноса» для развития этнографической, и шире, общен исторической науки.

С. А. Арутюнов

* * *

Выход в свет новой книги Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса» — крупное событие, значение которого, на наш взгляд, не ограничивается рамками только этнографии. Обсуждаемые в ней проблемы, конкретный фактический материал, используемый автором, и выводы, к которым он приходит, представляют интерес для системы общественных наук в целом, во всяком случае для многих из них. Некоторые из разрабатываемых автором положений могут представить интерес также для тех естественнонаучных дисциплин, объектом исследования которых является человек. Книга в целом — очень информативна.

Рассматривая центральную проблему книги — проблему этноса — автор использует результаты не только этнографических, но и исторических, экономических, социологических и психологических исследований. При этом он выявляет некоторые новые аспекты проблем, разрабатываемых пограничными с этнографией науками.

В книге последовательно реализуется системный подход, вытекающий из принципов материалистической диалектики.

Начав с анализа основных общностей людей, автор рассматривает основания, позволяющие считать этнос специфически человеческой общностью. При этом показывается его многомерные взаимосвязи с другими видами общности. Определив специфику этноса, автор переходит к анализу его основных форм, раскрывая иерархию этнических общностей. Этому посвящена первая часть книги.

Во второй части рассматриваются основные компоненты этноса, их структура, функции и среда. В этой связи обсуждаются проблемы культуры и ее этнических функций, этнических черт психики, этнического самосознания, эндогамии и, наконец, среды, в которой развивается этническая система.

Завершается книга анализом основных этапов этносоциальной истории человечества. Рассматривается проблема типологизации этнических процессов, показывается их специфика в различных общественно-экономических формациях. Особое внимание уделяется этносоциальным процессам в мире социализма.

Обсуждая каждую из поднимаемых в книге проблем, автор анализирует фактически все основные подходы к ее решению, давая оценку их «плюсов» и «минусов», и четко определяя свою позицию. При этом большое внимание он уделяет терминологии: показывая разнообразие существующих трактовок основных используемых в книге терминов, он всегда точно определяет содержание каждого из них применительно к контексту обсуждаемой проблемы.

Как психолога меня, естественно, заинтересовала прежде всего вторая часть книги, в которой рассматриваются проблемы этнической психологии. Опираясь на представления и концепции, сложившиеся в общей и социальной психологии, автор рассматривает проблемы психического склада личности, характера, темперамента, способностей, восприятия, мышления, сознания и самосознания. Главным в анализе психических феноменов для автора является вопрос о том, в какой мере можно говорить об этнической и национальной специфике. Вся совокупность приведенных им фактов, их анализ и выводы убедительно показывают, что этнопсихологические феномены представляют особый класс (или область) психических явлений, требующий специального научного исследования. Иначе говоря, автор отстаивает право национально-этнической психологии на статус самостоятельной научной дисциплины, объединяющей этнографию и психологию. Вопросы о том, как в процессе общественной жизни человека формируются и развиваются этнические черты его психики, какие механизмы обеспечивают формирование этих черт, как индивид усваивает программу социального наследования, каково соотношение сознательного и неосознаваемого в процессе такого усвоения, имеют исключительно большое значение для теории и практики, интернационального воспитания.

К сожалению, национально-этническая психология, как научная дисциплина, в нашей стране не получила того развития, которого она заслуживает, более того, которое требуется для решения многих задач, возникающих в жизни социалистического общества.

Разработка проблем, относящихся к этой дисциплине, имеет большое значение для системы психологических наук в целом, особенно — для социальной и педагогической психологии, а также психологии труда, управления и искусства.

Можно ожидать, что книга Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса» окажет стимулирующее влияние на разработку проблем национально-этнической психологии и реализацию тех уникальных возможностей, которые имеются для этого в нашей многонациональной стране. В свою очередь развитие национально-этнической психологии как науки будет служить делу совершенствования средств и методов коммунистического воспитания.

Б. Ф. Ломов

Новая книга Ю. В. Бромлея выходит за пределы этнографии в собственном смысле слова и пересекается со многими другими гуманитарными дисциплинами. К числу последних, несомненно, относится социология. Думается, что всякий социолог, внешне не читающий «Очерки теории этноса», должен ощутить известную родственную близость своей науки и того направления этнографии, которое, начиная с 1970-х годов, развивается в трудах Ю. В. Бромлея.

Разумеется, близость в данном случае меньше всего означает простое сходство. Достаточно прочесть хотя бы несколько страниц книги Ю. В. Бромлея, чтобы убедиться, что ее содержание, вся ее, если так можно выразиться, исследовательская материя — обсуждаемые факты, манера изложения, приемы анализа — имеют никак не социологический, но отчетливый исторический и этнографический характер. В этом смысле «Очерки теории этноса» существенно отличаются от этносоциологических работ, представляющих специфический этнографический раздел социологии (или, что же самое — социологический раздел этнографии). Соотношение социологии и последовательского направления, связанного с изучением этносов как таковых сложное. Близость этих научных дисциплин проистекает по преимуществу из того, что они изучают однотипные, а подчас и просто одни и те же объекты — исторически сложившиеся социальные общности людей, взятые в целом, во всей системной полноте их внутренних и внешних взаимосвязей и взаимозависимостей. Но сходные объекты изучаются в обоих случаях, так сказать, под разными углами зрения.

В рамках этнографии и в особенности теории этносов, где исследуется длительное развитие этнических общностей, охватывающее века и тысячелетия, основное внимание уделяется исторической неповторимости, уникальности, многообразию подобных общностей. В социологии основной упор делается скорее на выявление общей схемы своего рода модели развития тех или иных общностей. Цель анализа здесь обычно — установление устойчивых, повторяющихся тенденций, позволяющее предвидеть главные направления неизбежных будущих сдвигов; что же касается индивидуальных единичных особенностей, они в социологии изучаются в основном применительно к современным процессам, как специфические условия проявления общих закономерностей, учитываемые не столько в теории, сколько при разработке прикладных рекомендаций. Соответственно, социология и этнография, там где их предметы пересекаются, взаимно дополняют друг друга. Добротные этнографические исследования благодаря своему широкому историческому подходу помогают увидеть те стороны и свойства социальной действительности, которые лишь с трудом улавливаются чисто социологическим анализом. Таким же образом социологический анализ (и вообще социологическое видение общества) выступает в качестве немаловажного дополнения к собственно этнографическому изучению этносов и этнической проблематики в целом.

Книга Ю. В. Бромлея помимо своего главного значения — фундаментального вклада в развитие теории этноса — интересна для социолога тем, что она как нельзя более ясно показывает возможность взаимной дополнительности этнографии и социологии.

В частности, социолога о многом заставляет задуматься самый подход историка и этнографа к базовым дефинициям и исходным теоретическим положениям. Примечательно в данной связи рассмотрение Ю. В. Бромлеем вопроса об определении культуры. Широкий исторический контекст позволяет ему убедительно показать принципиальную невозможность единой пригодной для всех случаев дефиниции столь сложной системы явлений и процессов, как та, которая охватывается в современном обществоведческом понимании культура. Дефиниция эта должна видоизменяться и уточняться применительно к постановке вопроса в том или ином исследовании. Конечно, подобные видоизменения не произвольны, они диалектически связаны друг с другом, но сама по себе известная множественность определений, их зависимость от конкретного предмета задач исследования составляет необходимое условие плодотворного анализа действительно сложных социальных объектов. Думается, что ориентация на множественный характер дефиниций, теоретическую плодотворность которой наглядно демонстрирует «Очерки теории этноса», может оказаться эффективной и в социологии.

Как свидетельствует книга Ю. В. Бромлея, широкая историческая перспектива характерная для исследований этого рода, в некоторых случаях позволяет получать конкретные результаты. Взгляды и интуиция историка, рассматривающего движение этноса на многовековых отрезках, обостряются всем историческим фоном, множеством аналогий и сходств, помогающих ему отличать устойчивые тенденции от случайных колебаний. Именно на этой основе Ю. В. Бромлей делает ряд обобщений, чрезвычайно ценных с социологической точки зрения. Очень примечателен, например, вывод о возрастании роли средств массовой информации в ряду факторов, обеспечивающих современных обществах внутренние связи этносов. Замечу, правда, что одновременно утверждение автора об относительном снижении важности экономических связей нынешних этнических процессах, особенно протекающих в странах социализма, кажется не вполне точным. Может быть, здесь лучше говорить о сравнительном ослаблении этнического воздействия одних экономических связей, прежде всего рыночных, имевших в прошлом решающее значение, при одновременном возрастании этнического эффекта других экономических связей, в частности, возникающих в процессе труда. Вряд ли кто-нибудь из специалистов будет отрицать значимость для судеб современного этноса такого экономического явления, как широкое или ограниченное распространение многонациональных трудовых коллективов в его ареале.

Еще больший интерес для социологии представляют прогнозы, органически вытекающие из анализа исторической эволюции этнических общностей. В первую очередь мы отметим ту характеристику перспектив развития советского народа, которой Ю. В. Бромлей заключает «Очерки теории этноса». Эта характеристика исходит из того, что на нынешнем этапе советский народ не составляет этнической общности основного уровня, т. е. единой нации или национальности. Советский народ сегодня — возникающая на наших глазах новая социальная и интернациональная общность меэтнического характера, объединяющая людей, принадлежащих к десяткам различных национальностей. Но, как подчеркивает Ю. В. Бромлей, в ходе развития этой общности складывается не только единство политической, экономической, социальной жизни, но постепенно формируются единые общесоветские черты культуры, сознания, психического склада и т. п. В перспективе (разумеется, достаточно длительной) подобные процессы открывают возможность трансформации метаэтнической общности, каковой является в настоящее время советский народ, в этническое образование основного уровня. При этом гипотетическом характере подобного долгосрочного прогноза эвристическая ценность задаваемых им общих рамок текущих социологических исследований очевидна. Разбирая взаимную дополнимость социологических и этнологических исследований в связи с фундаментальным историко-этнографическим трудом, для социолога естественно уделить основное внимание именно тому, чем этнография может помочь социологии. Однако по сути дела такая дополнимость потому и взаимна, что в ней присутствуют и обратные соотношения. Поскольку глубокая теоретическая работа всегда имеет своим итогом не только решение исходно поставленных в ней проблем, но и выдвижение (иной раз независимо от первоначального замысла автора) новых исследовательских вопросов, «Очерки теории этноса» позволяют судить и об этой стороне взаимосвязи социологического и историко-этнографического подхода к изучению этнических общностей. Динамичный характер современного мира заставляет этнографов все чаще обращаться к исследованию этнических процессов, протекающих гораздо быстрее, чем это бывало в прошлом.

Исследованию таких процессов, по-видимому, могут помочь широко распространяемые в социологии приемы диахронного истолкования явлений, формально синхронных, но возникающих в стадийно различных условиях.

К примеру, в книге Ю. В. Бромлея приводятся интереснейшие данные о распространении предпочтения народной музыки среди разного возраста узбеков, русских эстонцев, живущих в городе и деревне. Комментируя эти данные, автор справедливо отмечает возможность самого факта сохранения подобных предпочтений в различных этнических группах. Социологу, однако, хочется обратить внимание на то, что процент идей, предпочитающих народную музыку, у русских ниже, чем у узбеков, а у эстонцев еще ниже, чем у русских; при этом в каждой этнической группе он у горожан ниже, чем у сельских жителей, а у молодых меньше, чем у пожилых людей. Как кажется, взятые в целом эти цифры показывают течение единого процесса ослабления фольклорно-этнической ориентации культуры по мере нарастания урбанизации и современной образованности. Можно по-разному оценивать подобные сдвиги, радоваться им или сожалеть о них, но объективно необратимый характер их выступает здесь с полной очевидностью.

Вообще, как свидетельствует новая книга Ю. В. Бромлея, богатый опыт социологии в области теоретического обобщения статистической информации может оказаться весьма уместным при изучении сложных и к тому же меняющихся во времени свойств современных этнических образований. Особенно целесообразным кажется использование этого опыта применительно к изучению национального характера. Отдельные примеры, даже самые яркие, не выглядят в сфере этих тонких, зыбких явлений достаточно убедительными, тем более, что число и разнообразие таких примеров можно увеличить до бесконечности. Скажем, автор для характеристики русского национального характера использует мысль Л. Н. Толстого об отсутствии громких фраз, как особенного национального свойства русской храбрости. Нетрудно, однако, найти подобные утверждения и у писателей, рисующих проявление храбрости других народов, скажем, у В. Теккерея. Вместе с тем русская храбрость, например, храбрость героев лермонтовского «Бородина» замечательно сочетается с красотой высоких слов, одушевленно-глубоким искренним чувством. Не исключено, что в свете современных статистических представлений, взятых во всей их сложности, утверждение о том, что национальный характер проявляется не только в культуре, но и в конкретной психике большинства индивидов, составляющих тот или иной этнос, покажется самому автору некоторым упрощением. Быть может, более достоверным будет выглядеть представление о том, что специфику национального характера образуют своего рода статистические свойства общечеловеческих элементарных свойств психики, оказывающиеся не столько свойствами индивидов, образующих этнос, сколько чертами его культурных ценностей и традиций.

Итак, как бы ни обстояло дело с возможностями взаимного использования этнографических и социологических подходов при решении тех или иных теоретических задач, не подлежит сомнению, что есть область, где обе эти дисциплины практически сливаются одна с другой. Эта область — разработка прикладных решений и рекомендаций.

В советском обществе национальный вопрос в тех его формах, какие наша страна пережила от прошлого, решен полностью и окончательно. Однако процесс живой деятельности неизбежно порождает новые проблемы, в том числе и проблемы, связанные с развитием этносов.

Одно из серьезных достоинств новой книги Ю. В. Бромлея состоит в том, что показывает те узлы этносоциального развития, где оно приобретает проблемный характер, где возникают задачи, решаемые практической политикой.

Сплочение национальностей Советского Союза в новую социальную и интернациональную общность, превращение их в советский народ, усиление межнациональных контактов, рост многонациональности большинства республик и поселений требуют широким повышением сознательной, интернациональной этики межнационального общения. Такая этика тем более необходима, что в наше время, несмотря на ослабление объективных национальных различий производства, быта, культуры, происхождение этнического, национального самосознания. Между тем, этническое самосознание, пока оно остается стихийным, таит в себе известную опасность этноцентризма. В нем нередко проявляется определенная избирательность, склонность к абсолютизации относительных этнических свойств, тенденциозность в их оценке. Как свидетельствуют приводимые Ю. В. Бромлеем данные, в стихийном этническом сознании оценка «своей» общности почти всегда оказываются более высокими, нежели оценки «иных» национальных групп. Целенаправленное планомерное интернационалистское воспитание масс, ведущее к формированию народного сознания, сочетающего в себе чувство патристической национальной принадлежности, ощущение уникальности национальной культуры и одновременно убеждение в высшей ценности социалистического интернационализма, оказывается поэтому обязательной предпосылкой здорового развития национальных отношений в зрелом социалистическом обществе.

Как видим, теория этноса подходит здесь к практике национальной политики коммунистического воспитания. Дальнейшее развитие этого, так сказать, прикладного уровня исследований, по-видимому, во многом определит характер советской этнографии в обозримом будущем. Нет сомнения, что взаимодействие этнографии с социологией будет иметь в таких исследованиях первостепенное значение. И если через несколько лет к «Очеркам теории этноса» присоединится что-нибудь вроде «Очерков проблем этносоциальной политики», взаимная дополняемость социологии и этнографии, по всей видимости, проявится в них еще сильнее, чем в нынешней книге Ю. В. Бромлея.

Л. А. Гор

* * *

Углубленное изучение проблем народонаселения в контексте мирового социально-экономического развития на различных территориальных уровнях — от глобального до локального — представляет важную задачу советской науки. Сложность этих проблем и многоплановость определяют и междисциплинарный характер подходов к ним и их изучению. В этой связи особую роль для исследования генезиса человечества, временных этнокультурных ситуаций и тенденций их развития играет разработка теории этноса.

Решение этой задачи и существенное продвижение на этом важном в теоретическом и практическом отношениях направлении теснейшим образом связано с фундаментальными исследованиями Ю. В. Бромлея. Они широко известны и во многом повышают междисциплинарное и практическое значение этнографической науки, выдвигая на передний край жгучие проблемы современности и поиски путей их решения.

Рецензируемая монография органично входит в серию других работ Ю. В. Бромлея, выделяясь, впрочем, особой широтой, до известной степени — определяемой «всеохватностью». Но при этом — отнюдь не в ущерб глубине теоретических подходов и обобщений.

Знакомство с книгой дает возможность сделать однозначный вывод о ее большом значении для экономической и социальной географии и прежде всего для ее составных частей — географии населения, а также и для исторической географии. Она представляет определенный интерес и для географов других специальностей, особенно для социологов, которые изучают страны и районы в широком спектре проблем «от геологической идеологии», как говорил выдающийся советский географ Н. Н. Баранский.

Отметим глобальность территориального охвата этой книги. Ее арена — весь практически весь его обитаемые регионы. Достаточно сказать, что «Указатель географических и этнических названий» (с. 404—410) содержит около 700 наименований.

Для географов не менее ценно и то, что Ю. В. Бромлей предметно рассматривает ряд существенно важных для экономической и социальной географии вопросов. Например, им с большей или меньшей степенью обстоятельности используются и такие важные для географии термины и понятия как ареал (географический, историко-культурный, хозяйственно-культурный), границы (разных типов), миграция, население, среда (в том числе географическая), территория, топоним, хозяйственно-культурные типы, хозяйство и ряд других.

В теоретическом и в не меньшей степени в методическом отношении для географов интересны системно-структурные и типологические подходы, пронизывающие монографию. Эти подходы традиционно составляют ядро методологии и методологии географических исследований и характеристик (как отраслевых и компонентных, и комплексных). Поэтому их применимость и использование в смежных научных дисциплинах и в междисциплинарных исследованиях для географов весьма поучительны.

И коль скоро речь зашла о системной направленности подходов к различным проблемам теории этноса, то хотелось бы особо отметить стремление автора выявить

главное и определяющее, что ведет к развитию систем в «направлении целостности»¹. Это — одна из главных и определяющих линий в развитии и изучении систем различных типов и иерархических уровней. И объективный анализ подобной направленности в развитии систем, ее движущих сил и факторов изначально важен для таких системных наук как этнография и география.

Ю. В. Бромлей в своей монографии четко показывает определяющую роль социально-экономических факторов в формировании этносов, в их развитии и взаимодействии. Это видно, в частности, на примере очерка «Этнос и его среда». Несомненно плодотворна и расширительная трактовка «среды» — этого краеугольного понятия системы наук, в том числе и при изучении взаимодействия общества и природы. Автор рассматривает роль природной и социальной среды в формировании и трансформации различных этносов, но анализ этот проводится слитно, а процесс не отрывается от его результатов.

Географам этот очерк будет, пожалуй, особенно интересен. В нем автор аргументированно говорит о важной роли природной среды и ее отдельных компонентов в формировании и трансформации этносов. Возможно, стоило бы в этом анализе учесть ландшафты как природные, так и преобразованные, антропогенные. Ландшафты, их качества, продуктивность, наконец — эстетические свойства и степень сохранности — все это также важно для развития этноса².

Географы могут сказать, что монография Ю. В. Бромлея увидела свет как нельзя более вовремя. Дело в том, что в современной мировой географии интенсивно протекает процесс ее социологизации и гуманизации. Человек, его проблемы и их географические аспекты занимают все более важное место в системе географических наук. Это прекрасно показано в крупной теоретической работе В. В. Покшишевского³.

Отметим, что человек, проблемы народонаселения всегда занимали достойное место в русской классической географии. Об этом, в частности, свидетельствуют труды выдающихся русских географов, то почетное место, которое занимала этнография в Русском географическом обществе.

Многие советские географы еще в довоенные годы внесли большой вклад в становление советской географии населения (Н. Н. Баранский, Р. М. Кабо, О. А. Константинов, В. В. Покшишевский и др.). При этом постановка вопроса отличалась широтой и масштабностью. Так, Р. М. Кабо подчеркивал, что география «должна охватить все стороны жизни человека, которые в той или иной степени связаны с освоением территории»⁴. Р. М. Кабо включал в географию населения следующие элементы: географию народов⁵, размещение населения по территории (включая миграции, особенности расселения и т. п.), географию занятий и образа жизни населения (в том числе трудовые навыки, сезонные различия в труде, характер потребления и т. п.).

Был, правда, период в развитии советской географии, когда по причине ее дифференциации и «расположения» отдельных составляющих ее научных дисциплин человек, в определении Н. Н. Баранского, затерялся между экономической и физической географией. «Человек пропал» — с большой горечью говорил Н. Н. Баранский, анализируя положение дел в советской географии в первые послевоенные годы. К счастью, с той поры картина совершенно изменилась, а в системе общественной географии проблемы человека, народонаселения, его «количества» и в не меньшей мере — «качества» заняли подобающее им место. Это находит свое отражение и в официальном названии общественной географии (экономическая и социальная география).

По этой причине создание общей теории этноса «работает» на развитие методологии экономической и социальной географии и прежде всего географии населения на масштабных направлениях междисциплинарного характера.

Кратко остановимся на некоторых вопросах дальнейшего развития исследований географии с позиций географической науки и ее испытанных временем методов. В частности, необходимо более глубокое исследование многогранных взаимосвязей между населением, этносами и их расселением, территорией, ее природно-ресурсным потенциалом, характером его использования в определенной системе международного разделения труда.

В формировании и развитии этносов особое место занимает широко понимаемая урбанизация как сложный социально-экономический процесс. И дело не только в растущей роли городов (особенно крупнейших) во всех сферах жизни общества. Урбанизация — процесс универсальный, имеющий, впрочем, свои типологические и региональные модификации. Он включает абсолютный и относительный рост городского населения, формирование систем городов, внедрение форм городской жизни в сельскую местность, ломку ее патриархальных укладов и ряд других черт. Системы городов все

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 229.

² Тут, пожалуй, уместно вспомнить, что наш известный писатель В. Солоухин связывал «ухаживенность» ландшафта, его «прибранность» с состоянием культуры населения. Охрана природы и ландшафтов стала ныне одной из глобальных проблем человечества. Что касается системы «ландшафт-этнос», то она может стать темой специального исследования.

Покшишевский В. В. География и население. Теоретические очерки. М., Мысль,

Кабо Р. М. Элементы географического изучения населения в СССР. — «Географическая школа», 1941, № 3, с. 50.

Об интересе к проблематике этносов в географии свидетельствует и то, что одна из упомянутой монографии В. В. Покшишевского называется «География населенностных процессов» (с. 181—204).

более заметно меняют облик мира, а в развивающихся странах урбанизация выступает в качестве одного из ведущих «агентов» социально-экономических трансформаций. Урбанизация заметно ускоряет все этнические процессы; и ее роль в развитии этноса огромна. Проблемы урбанизации и ее значение в общей теории этноса должны бы были получить в монографии Ю. В. Бромлея более полное отражение. Между тем терминологическом указателе даже нет таких понятий как «урбанизация», «город» производных от них.

Автор оперирует различными территориальными группировками, прежде все «регион», «ареал», тогда как есть и такая важная таксономическая единица как «район». К тому же формирование экономических районов (как, впрочем, и внутренних экономических связей, национальных рынков, о чем бегло говорится на с. 225) имеет много общих черт со складыванием наций.

И, наконец, — о методах исследования этносов. Важную роль мог бы играть картографический метод. Картографирование этносов — важная и перспективная задача. Она могла бы получить и более широкое освещение в работе (упоминаются только историко-этнографические атласы на с. 121). По-видимому, заслуживают внимания вопросы количественных методов в изучении развития этносов, параметризация этнических процессов (существует, например, «индекс этнической мозаичности»).

Не приходится сомневаться, что монография Ю. В. Бромлея будет интересна полезна представителям многих научных дисциплин и всем, кого интересуют проблемы человечества, его многообразия и единства. Для географических исследований характерна «игра масштабами», то есть рассмотрение тех или иных проблем на всех территориальных уровнях — от глобального до локального. При этом география все более активно включается в изучение глобальных проблем человечества. Рецензируемая работа поможет географам и в осознании сложности проблем меняющегося мира его народонаселения.

Я. Г. Машин

* * *

Новая книга академика Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса» по объекту и предмету исследования адресована прежде всего этнографам. Однако народы — этносы будучи основным объектом этнографической науки, содержат в себе такие аспекты, стороны, предполагают такие ракурсы изучения, которые составляют весьма важные признаки, свойства и качества предметов других наук: истории, социологии, археологии, географии, культурологии, антропологии, психологии, языкознания. Иначе говоря, объект этнографии многопредметен, вследствие чего в широком исследовательском пространстве, называемом этносом, возникают многочисленные перекрестки наук. Помимо того, что выход на перекресток двух наук открывает новые перспективы, он порождает также возникновение новых идей, которые могут оказаться одинаково ценными для обеих перекрещивающихся научных дисциплин.

Языкознание никогда не чужалось этнографии, а в некоторых своих ответвлениях использовало ее достижения. Однако обращение языковеда к данным, добытым этнографией, чаще всего носило (и носит) эпизодический, так сказать, потребительский характер и не обязательно систематически сопрягает языковые явления с этническими. Вообще говоря, дефицитные наименования научных перекрестков (социолингвистика, психолингвистика и т. д.) не всегда четко отражают характер кооперации перекрещивающихся наук, так же как упразднение дефиса (социоллингвистика, психоллингвистика и т. д.) не снимает вопроса об их автономии.

Сложностные термины для обозначения перекрестков наук, независимо от того пишутся ли они (термины) раздельно (социальная лингвистика), через дефис (социоллингвистика) или слитно (социоллингвистика) обозначают не два предмета двух разных наук, а единый предмет, в нашем случае — язык как предмет языкознания, лингвистики. То же можно сказать в отношении этнолингвистики. При том, что язык может изучаться в географическом пространстве (лингвогеография), в социуме (социоллингвистика), в этносе (этнолингвистика), в соотношении с законами психики (психоллингвистика) и т. д. языкознание остается единой наукой, так же как использование различных методов изучения языковых явлений, применяемых к языку в целом или к его отдельным уровням (структурная лингвистика, математическая лингвистика, экспериментальная фонетика и т. д.), не отрицает этого единства.

Хотя жизнь языка конкретно проявляет свою сущность в социуме, этносе, коллективе, индивидууме и т. д. в научном анализе в одних случаях допустимо отвлечение от этих обстоятельств (они держатся, так сказать, «в уме»), в других же случаях выявление языковых факторов обязателен. Так, например, исследование языковых ситуаций требует основательных знаний типов этнических общностей, характера этнических процессов и т. д., т. е. иначе говоря, учета «этнической ситуации».

Использование лингвистами этнографических данных находится в прямой зависимости от уровня теоретической разработки понятийного аппарата, выявления базовых категорий науки об этносе. Книга Ю. В. Бромлея как раз и раскрывает сущность базовых категорий этнографии в системном аспекте. Для этнолингвистики важными оказываются:

1. Выбор из необозримого спектра общностей (временных, «статистических» и т. д.) основных этнодифференцирующих признаков: «собственно этнос... может быть определен как исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая поколенная совокупность людей, обладающая не только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а так

знанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме)» (стр. 57—58).

2. Установление форм этноса и их соотношения с другими типами общностей (нация, этнос, субэтносы и др.).

3. Учет многослойности и лабильности (например, в культурном аспекте) этнографических общностей.

4. Необходимость изучения взаимопересечений большого числа этнических общностей, создающих сложную сеть, отражающую пространственное строение культуры этнических союзов» (например, в СССР).

5. Исследование культуры этнической общности как одного из важнейших компонентов этноса.

Можно было бы значительно увеличить перечень этнографических понятий, терминов и проблем, имеющих значение для лингвистики на пути ее пересечения с этнографией. Однако дело не только в этом. Фундаментальная в самом строгом смысле этого слова книга Ю. В. Бромлея дает ценный материал, идеи, методические «подсказки» при изучении общих проблем социологии языка, его истории, состояний, ситуаций, разницы, соотношения с культурой.

Г. В. Степанов

ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М.: Наука, 1982, 357 с.

Рецензируемая коллективная монография представляет итог многолетней работы группы историков и лингвистов* — сотрудников Института славяноведения и балканистики АН СССР, возглавлявшейся Г. Г. Литавриным и покойным В. Д. Королуком.

Предмет исследования — этнические процессы у древних славян на переломном этапе их этнической и социальной истории, начиная с распада древнеславянской этнической общности и появления племен и племенных союзов до возникновения первых раннефеодальных государственных образований славянских народов, т. е. с V—VII по XI—XII вв.

Композиционное построение труда, строго подчиненное основному замыслу, придает ему законченность. Целостному восприятию основной концепции способствуют две первые обобщающие главы — «Древняя славянская этническая общность» (авторы: В. Д. Королук, Г. Г. Литаврин, Б. Н. Флоря) и «Ранние этноязыковые контакты славян на Балканах и лексика южных славян» (Л. А. Гиндин, В. Э. Орел), отчасти «Введение» (В. Д. Королук и Г. Г. Литаврин), в особенности же «Заключение» (те же авторы), представляющее не просто повторение выводов глав, а теоретическое обобщение более высокого уровня. Чтобы завершить характеристику структуры книги, отметим, что она снабжена «Аннотированным указателем-словариком этнических наименований», а также «Указателем личных имен и географических названий». В «Приложении» дан перевод сочинения Константина Багрянородного «Об управлении империей» со «Словариком терминов» и «Указателем собственных имен и географических названий» к этому сочинению. К сожалению, отсутствует в монографии элементарный предметный указатель; это тем более досадно, что используемые в ней многочисленные понятия и термины представляют интерес не только для читателей-специалистов, но и для более широкого круга лиц, желающих познать «тайны» глубокого средневековья.

Опираясь на свидетельства письменных источников и археологический материал, авторский коллектив поставил своей задачей воссоздать процесс эволюции этнического самосознания древних славян, уделяв особое внимание формированию самосознания феодальной народности — древнерусской, болгарской, чешской, польской, хорватской, сербской. В книге также прослежены этапы этнической истории славянского населения Великоморавского княжества и междуречья Эльбы и Одера.

Авторам удалось четко наметить три этапа в развитии этнического самосознания славян в эпоху раннего средневековья: первый соответствует переходу, когда славянская общность была еще слабо дифференцированной и занимала сравнительно небольшую территорию; второй — периоду интенсивной этносоциальной и этнокультурной дифференциации славянской общности и образования военно-территориальных племенных союзов; третий — периоду создания раннефеодальных государств и возникновения самостоятельных народностей.

Предложенная модель реконструкции этнического самосознания славян раннефеодальной эпохи может, на наш взгляд, оказаться полезной при изучении аналогичных процессов у населения и других историко-географических регионов, с учетом, конечно, их специфики. С наибольшими трудностями авторы столкнулись при изучении первого этапа ввиду отсутствия сколько-нибудь достоверной информации. Для этого этапа

* Авторский коллектив: В. Д. Королук (отв. ред.), Г. Г. Литаврин (зам. отв. ред.), Л. А. Гиндин, В. В. Иванов, Я. Д. Исаевич, Е. П. Наумов, В. Э. Орел, А. И. Рогов, Г. Э. Санчук, Н. И. Толстой, Б. Н. Флоря.

характерно, как полагают авторы книги, опираясь порой лишь на логические довод наличие двойственного самосознания — сознания принадлежности как к собственной племени, так и к общеславянской общности. Если первый «ряд» самосознания, может быть, и не нуждается в особых доказательствах, поскольку племенное самосознание есть первооснова этнического, то второй «ряд» несомненно нуждается в них. Аргументы, приводимые авторами в пользу гипотезы о существовании общеславянского самосознания, достаточно весомы, хотя фактов, непосредственно подтверждающих ее, не так уж много. Это, во-первых, наличие общепотребительного этнонима «славяне» и, во-вторых, общность языка и некоторых этнокультурных признаков, в совокупности позволяющих славянам отличать себя от других, «чужих». Внимания заслуживает вывод, сделанный на основе анализа архаичных вариантов зафиксированных в источниках преданий о том, что основным элементом племенного самосознания было сознание общности происхождения (от воображаемого единого предка). Характер для второго этапа союзно-племенное самосознание определяется в книге как промежуточная (между племенным и общеславянским сознанием) форма этнического самосознания.

В усложнившейся, таким образом, иерархической структуре самосознания сосуществование (переплетаясь, но не сливаясь), по-видимому, три его вида.

Всесторонне и глубоко разработана в монографии проблема «народностного» самосознания феодальной эпохи, возникающего в ходе длительной эволюции всех прежних форм этнического самосознания и представляющего, по-определению авторов, его качественно новый уровень. Важное значение при этом придается государству, способствующему упрочению сознания этнокультурного единства населения подвластной ему территории, особенно если население это моноэтническое или близкое по языку и культуре.

С появлением раннефеодальных государств в источниках отождествляются понятия «подданство» и «этнос» с понятием принадлежности к определенной этнической общности. Наряду с рассмотрением этого, можно сказать, магистрального направления этнических процессов в раннефеодальном государстве в книге подвергнут анализу интересный феномен складывания территориального (областного, земельного) сознания не обязательно связанного с определенным этносом и этническими представлениями. Этот вопрос заслуживает дальнейшего изучения и потому, что рудименты областного самосознания и земельного патриотизма (в германских государствах, например) не только не преодолевались и в ходе формирования современных наций буржуазной эпохи, но даже на первых этапах существования национальных государств. Авторы вполне отчетливо себе отчет в том, что, анализируя этническое самосознание различных уровней феодального общества, они характеризуют общность с развитой социальной структурой, разделенную на антагонистические классы, противоположность интересов которых, выраженной в известной ленинской формуле «о двух культурах», находит выражение в самосознании феодальной народности. Само собой разумеется, что имеющиеся в распоряжении источники, отражающие, как правило, идеологию господствующих классов данного общества, позволяют исследовать самосознание преимущественно определенных слоев власти имущих, которое, как подчеркивается в работе, могло значительно отличаться от самосознания других сословий.

В этой связи полезными для дальнейшей разработки темы представляются многочисленные наблюдения авторов. Так, они отмечают, что с развитием и консолидацией раннефеодальных народностей постепенно ослабевало у широких слоев населения сознание принадлежности к славянской общности; поддерживалось же и даже возрождалось оно представителями средневековой «интеллигенции», тесно связанной с господствующим классом. Важное значение имеет и вывод о том, что общеславянское самосознание было по своему содержанию не политическим (т. е. ориентированным на политическое объединение различных государственных образований), а этнокультурным. Этническому самосознанию раннефеодальной народности, как подчеркивают авторы, было свойственно представление о наличии общего, единого для всех славянских народов языка (несмотря на языковую дифференциацию); иными словами, представление об особом языке еще не стало составным элементом структуры народностного самосознания.

Что касается генезиса феодальной народности, то особого внимания заслуживает здесь анализ соотношения различных уровней этнического самосознания — союзно-племенного, регионального и общеславянского: последнее постепенно теряло доминирующее значение, народностное же самосознание развивалось, по-видимому, преимущественно на базе первых двух. Однако известная противоречивость развиваемой авторами концепции все же ощутима: они считают общеславянское самосознание характерным для периода до образования государств, но в то же время прекрасно понимают, что единство материальной культуры славян и их определенная этнокультурная общность сами по себе еще не означают осознания этой общности славянскими племенами народностями различных регионов обширного ареала и что «вряд ли у них существовало сколько-нибудь отчетливое представление о масштабах территории, заселенной этим единоплеменным народом» (с. 256). Последнее положение подтверждают весомые доводы, подкрепленные конкретно-историческим и филологическим анализом. Некоторое сомнение вызывает правомерность употребления термина «народ» в данном контексте.

Возникновение «более отчетливого» общеславянского самосознания авторы относят к X—XII вв., справедливо полагая, что оно могло появиться не у широких слоев населения, а у весьма ограниченного круга образованных и грамотных лиц. Этот феномен был, по-видимому, весьма краткосрочным, ибо с развитием раннефеодальной государственности и завершением процесса формирования раннефеодальных славянских народностей все прочие формы этнического самосознания властно вытесняются наро-

тым самосознанием, хотя длительное время сохраняются рудименты его прежних

Не в порядке упрека, а как бы в развитие идей, выдвинутых авторами, отметим: наш взгляд, есть все основания предполагать, что наивысший расцвет сознания славянской общности (и опять-таки прежде всего у образованной элиты славянских народов) приходится лишь на конец XVIII—начало XIX в. на эпоху пробуждения народов ареала к самостоятельной национальной жизни, т. е. на тот сравнительно короткий отрезок времени, когда шел ускоренный процесс складывания самостоятельности наций буржуазной эпохи, но когда на самом деле славянской общности не было.

Особый интерес представляет процесс формирования болгарской народности, возникшей в отличие от других славянских народностей в результате синтеза массы местных славянских племен («этнический субстрат») и тюрко-протоболгарского пришлого элемента («этнический суперстрат»); в этом межэтническом синтезе важную роль, по мнению авторов, сыграла не только малочисленность протоболгар, давших свое название наименованию новой народности, но и различие хозяйственно-культурных типов у обоих его участников. Дальнейшее изучение этногенетических процессов на Балканах потребует, вероятно, широкого привлечения антропологических данных для выяснения роли автохтонного субстрата (фракийского, иллирийского и пр.)¹, но это не относится непосредственно к теме исследования.

Прямое же отношение к ней имеет упоминаемая на с. 27 гипотеза В. Д. Корольюка о тенденции к консолидации славянского этноса в рамках всего славянского мира. Нам представляется, что эту гипотезу следовало аргументировать более обстоятельно в свете новейших исследований и выводов авторов. Она основана на повсеместном распространении этнонима «славяне» (в том числе в ареале расселения «антиславян»), но не подкреплена достаточно убедительными доказательствами. К тому же обладающей тенденцией этносоциального развития славян в это время следует, видимо, считать процессы дезинтеграции племен и их консолидацию на уровне союзно-племенных объединений (Славиний).

Поскольку языковые процессы отражаются в той или иной степени в этническом самосознании, позволяя судить о его содержании, характере, даже о степени зрелости этноса, то принципиальное значение имеют уже упоминавшаяся вторая («Ранние языковые контакты славян на Балканах и лексика южных славян») и одиннадцатая («Диалектные членения славянской языковой общности и единство древнего славянского мира»; автор В. В. Иванов) главы монографии.

Новыми моментами в исследовании ранних этноязыковых контактов на Балканах являются выход за рамки традиционной для лингвистики фракийско- и иллирийско-славянской проблематики, а также постановка вопросов о раннеалбанско-фракийских контактах, о характере раннеалбанско-славянских контактов, о путях образования романского языка и о славянском влиянии на этот процесс.

Важным вкладом в разработку концепции этнического самосознания древних славян представляются два убедительно обоснованных вывода В. В. Иванова: 1) о наличии у древних славян развитой народнопоэтической речи (которую он почему-то именует «дописменным литературным языком»?); унаследованной от общинноевропейского языка и содержащей «все необходимые предпосылки для переводов священных текстов» (с. 221—222) и 2) о роли этой народно-поэтической традиции в длительном процессе «ощущения единства этноса в целом» (с. 222). Вместе с тем, как констатирует В. В. Иванов, в результате распада праславянского языка и развития его диалектов к IX—X вв. созрели предпосылки для этнокультурного обособления отдельных славянских общностей (этносов), а к концу XII в. в значительной мере утрачивается и языковое единство славянского мира.

Оценка этих двух лингвистических глав по существу — дело, конечно, специалистов; однако можно с уверенностью сказать, что этнолингвистические аспекты проблемы книги раскрыты в них достаточно широко, а главное — в тесной связи с этнокультурными процессами.

Чрезвычайно трудная задача решается в четвертой главе — «О самосознании великоморавской народности» (автор Б. Н. Флоря). Образование Великоморавского княжества, одного из первых раннефеодальных славянских государств, само по себе еще является бесспорным доказательством существования либо формирования этноса в смысле этого слова (этникоса), отличного от соседних славянских этнических общностей собственное этническое самосознание. Прямых доказательств тому нет и в источниках Кирилла и Мефодия, что Б. Н. Флоря справедливо объясняет идеологической позицией авторов «Житий», рассматривавших славян как единую общность. Аналогичные сведения письменных источников и археологические памятники, Б. Н. Флоря не менее склоняется к позитивному решению вопроса о развитии этнического самосознания у моравян в период существования Великой Моравии, остерегаясь вместе с тем поспешных, хотя и соблазнительных выводов. Те же скрупулезность и осторожность проявляет автор и при рассмотрении дискуссионного вопроса о словацком самосознании.

Весьма содержательны и остальные, не упомянутые в этой по необходимости краткой рецензии, главы — о путях формирования раннефеодальной чешской народности, о самосознании древнепольской, хорватской народности и др. Думается, что при естествен-

¹ На это обратил внимание Ю. В. Бромлей, см. его работу «Современные проблемы этнографии». М.: Наука, 1981, с. 260—261.

венной неравноценности 12 глав книги достигнуто необходимое для монографии исследование концептуальное единство.

Особого внимания и одобрения заслуживает опыт сотрудничества лингвистов и историков. Постичь и охарактеризовать этническое самосознание не только в процессе складывания, но и в статическом состоянии — задача нелегкая и применима к современной нам эпохе, когда наука располагает мощным арсеналом средств исследования и разработанной методикой. Во сто крат труднее реконструировать этнические процессы раннего средневековья при почти полном отсутствии аутентичных источников, фрагментарности и скудости сведений, к тому же сообщаемых преимущественно в источниках секундарных. Именно последним обстоятельством и ее недостаточной разработанностью методики комплексных исследований объясняется значительной степени имеющиеся в работе пробелы. Мы остановимся на них не столько подробно, учитывая начатое в основном тем же авторским коллективом исследование этнического самосознания народов Центральной и Юго-Восточной Европы в XIV вв. Нам представляется, что большее внимание в монографии следовало уделить межэтническим контактам, не ограничиваясь при этом пределами только славянского мира. В рецензируемом труде контакты с неславянскими этносами отражены в исторических главах полнее, чем в исторических. Между тем современная этнология уже давно пришла к выводу, что «основное содержание этнического самосознания составляют представления о характерных чертах прежде всего своего, а также чужих этносов».² Более того, эти оговорки — «прежде всего» и «отчасти» — легко отпасть, если контактирующие общности будут рассматриваться в диалектическом единстве, ибо «мы» и «они» суть понятия неразрывно связанные, и этнические процессы ареала Центральной и Юго-Восточной Европы должны изучаться как единая система. Важно включить в круг будущего исследования и те неславянские этносоциальные общности ареала, контакт с которыми у славянских племен, по народности, был более интенсивным, чем между отдельными ветвями славянского (восточной, западной и южной), разделенными не только обширными пространствами (что не менее существенно) и границами раннефеодальных государств, а с распространением христианской церкви в XI в. на латинскую и восточную (ортодоксальную) — и с религиозными, ставшими впоследствии по существу культурными.

Ограничение рамок рецензируемого исследования пределами славянского ареала, рациональное в применении к этапу существования древнеславянской этнической общности, таит опасность искусственно урезанного восприятия реальной исторической действительности. Это тем более обидно, что авторы, изучая специфику развития этнической общности в отдельности, не упускают из вида не только то общее, что объединяло славян, но и проявление закономерностей общеисторического процесса, не только этнических, но и социальных.

Первые раннефеодальные государства у славян, как и у неславян ареала, сложились приблизительно одновременно — в IX—XI вв., а у западных их соседей раньше, что не могло не отразиться на этносоциальном развитии славян. Однако надо было распространить часто повторяемую формулу об общности исторических судеб на все народы, с которыми славяне вступали в разнообразные контакты, и особенно интенсивными уже с эпохи великих переселений. Современная этнологическая наука придает особенно важное значение роли общности исторических судеб в частности фактору переселения в становлении этнического самосознания.³ Следовательно, сам фактор контактов должен рассматриваться на конкретно-историческом материале как составной элемент этнического самосознания, отражающего и актуализирующего в преобразованном, разумеется, виде эти контакты, синтезируемые в комплексе в историческом сознании каждого народа.

При всей бесспорности общепризнанного ныне положения об иерархичности этнического, в данном случае народного, самосознания авторам предстоит еще раз вопрос об иерархии составляющих его компонентов. Разной трактовкой этого вопроса, по-видимому, и объясняются некоторые диспропорции в оценке авторами различных компонентов этнического самосознания. Проблема эта, имеющая и теоретико-методический, и конкретно-исторический аспекты, к сожалению, недостаточно рассмотрена в «Введении» и «Заключении» монографии. Можно предположить, что набор элементов этнического самосознания будет различными в зависимости от особенностей исторического процесса на каждом данном этапе. Однако теоретически необходимо установить, что является более важным: комбинация всех элементов или же один из них, выступающий в качестве этнообразующего (этнодифференцирующего в отдельных случаях) фактора.

В новом труде желательно уделить больше внимания этноисторическим и культурным аспектам этнического самосознания, в частности, связи обычаев, традиций быта и т. д. с культурно-хозяйственным типом, отражению последнего в фольклоре и народной культуре вообще, месту обыденного сознания в системе этнического самосознания, учитывая, что народность представляет не только этносоциальный тип, но и определенный этнокультурный тип. Эту задачу можно решить в содружестве с этнографами и фольклористами.

Следовало бы уточнить и более обстоятельно обосновать границы исследования этнического самосознания в ареале, имея в виду их историческую подвижность, ибо рассматривать всю Восточную, Центральную и Юго-Восточную Европу в качестве «единого историко-географического пространства», как это делают авторы, допустимо только на некоторых этапах исторического процесса.

² См. Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973, с. 99.

³ См. Там же, с. 104 и сл.

Книги, как гласит известное латинское изречение, имеют собственную судьбу. Невенно, что и эта книга, начав жить своей жизнью, принесет пользу всем, кого интересуют проблемы этнического самосознания, и не только народов Центральной и Восточной Европы. Используя достижения истории, археологии и лингвистики, также теоретико-методологические разработки советской этнографической науки, грузинский коллектив сумел создать междисциплинарный труд — весомое «вещество доказательств» плодотворности комплексного сравнительно-исторического подхода к изучению системных явлений историко-культурного процесса.

Т. М. Исламов

НАРОДЫ СССР

Г. Волкова, Г. Н. Джавахишвили. Бытовая культура Грузии XIX—XX веков: традиции и инновации. М.: Наука, 1982. 238 с., илл., карта.

Изучение этнографии Грузии имеет давние и богатые традиции. Но даже на этом выходе в свет рецензируемой книги, которая, кстати, уже стала библиографической редкостью, сразу же вызвал большой интерес как у специалистов, так и у широких кругов читателей, в частности в Грузии. Интерес общественности к книге обусловлен в первую очередь ее высоким научным уровнем. Авторы поставили задачу осветить динамику развития культуры и традиций грузинского народа во времени и пространстве и осмыслить основные закономерности их развития на протяжении двух тысячелетий. Сразу же хочется подчеркнуть, что поставленная цель авторами достигнута. Мы затрудняемся назвать какой-либо труд, который бы так полно и по-настоящему познакомил читателя с бытовой культурой и традициями грузинского народа, охваченными в столь широких исследовательских рамках.

Работа состоит из введения, двух частей, заключения и глоссария грузинских терминов. Книга снабжена картой, пользуясь которой, читатель может определить территориальную привязку встречаемой в карте географической номенклатуры. Правда, на карте несколько неточно локализованы Карли и Джавахети, не указаны Лечхуми и Гудамакари.

Особое хочется сказать об иллюстрациях. На страницах книги помещены 60 фотографий, 42 рисунка и цветная вклейка. Иллюстративный материал своей наглядностью способствует восприятию текстовой части, тем более что он тщательно подобран. Особенно интересны исторические фотографии, выявленные авторами в музейных фондах Грузии. Они точно характеризуют отражаемые объекты, фиксируя в наиболее типичных образах разнообразие традиционной бытовой культуры грузин в ее социальных слоях.

Во введении авторы на высоком научном уровне знакомят с сутью исследуемого предмета, степенью его изученности как до революции, так и в советский период, с характером и значением использованных источников, основными вехами исторического развития страны.

Как было сказано, книга включает две части. В первой дается монографическое описание грузинской бытовой культуры XIX—XX вв. Оно составлено по достаточно типичной схеме, в данном случае традиция себя снова оправдала. Читатель получает исчерпывающие сведения по жилищу, пище, одежде и общественно-семейному быту грузин. К сожалению, авторы почти не рассматривают богатейшую традиционную культуру грузинского народа. Однако не вызывает сомнения, что для познавательных задач исследования рассмотренный материал вполне достаточен. Вместе с тем следует признать, что в любом этнографическом описании возможны некоторые недостатки, известная неполнота собранных сведений. Претензии такого рода можно предъявить и к рецензируемой книге.

Знаком читателя с жилищными постройками Хеви (современный Казбегский район), авторы пишут: «У Мохевцев в этот период основным типом жилища были старые одноквартирные и новые двухэтажные дома с галереями» (с. 31). В данном случае авторы ссылаются на этнографические очерки великого грузинского писателя Александра Казбеги. Однако в действительности он писал, о том, что для Хеви в прошлом типичны двухэтажные дома с фасадными балконами¹. Вообще же сравнительно полное представление о жилых постройках в Хеви авторы могли получить из специального исследования В. Д. Итонишвили², которое, однако, было ими вообще опу-

¹ Казбеги А. Мохевцы и их жизнь. — В кн.: Казбеги А. Полн. собр. соч. Т. V. Тбилиси: Сабчота мцeralи, 1951, с. 33 (на груз. яз.).

² Итонишвили В. Д. Жилые постройки в Хеви в прошлом и настоящем. Тбилиси: Сабчартвелло, 1967 (на груз. яз.).

В книге большое место занимает изучение структуры семьи, а также свадеб обрядов. Опираясь в основном на этнографическую литературу, авторы представили состав большой семьи, показали экономическую жизнь, систему управления, характер собственности, семейный этикет. По этим компонентам вполне ясно, что сохраняясь в дореволюционное время большая семья была пережиточным видом семейной общины. Касаясь типологии семьи, авторы, во многом исходя из материалов Р. Л. Харадзе³, пишут: «В Грузии выявлены три формы семейной общины в связи с различиями форм хозяйствования: в Картли, Кахети, Имерети; Рача-Лечхуми, Мегрелии, Гурии — преобладание земледелия, у горцев (тушин, мохевцев, мтиулов, пшавов) также в Кизики — преобладание скотоводства, в Хевсурети, Сванети и Горной Рача смешанная форма хозяйства» (с. 99). Однако следует отметить, что Р. Л. Харадзе своей монографией не исследовала Лечхуми, Мегрелию, Гурию, Мтиулет и Хевсурет. Упомянутые в рецензируемой книге в связи с классификацией семейной общины, этому классификация, данная Р. Л. Харадзе, требует дополнительного исследования. Утверждение авторов о том, что земледелие преобладало в Верхней и Нижней Рача-Лечхуми — в Кизики, а в Горной Раче и Сванети наблюдался симбиозный тип хозяйства без приоритета какой-либо из названных отраслей, не вполне соответствует действительности. Вероятно, мы приблизились бы к реальности, увидев в Верхней Раче, а также в Сванети симбиозное хозяйство с преобладанием скотоводства, а в Кизики и Нижней Раче большее развитие земледелия.

Исследуя брачные отношения и обряды, авторы обращают основное внимание на обязательные предпосылки бракосочетания, материальные взаимные обязательства, порядок обручения и свадебные ритуалы. По справедливому мнению авторов, в регулировании брачных отношений в исследуемый период было заметно влияние норм как обычного права, так и права грузинского государства, христианской церкви и русского законодательства. Интересно приведенное в книге наблюдение традициях борьбы за ограничение или ликвидацию некоторых вредных обычаев. Из таких обычаев было бракосочетание несовершеннолетних, с целью ликвидации которого в 1103 г., в период царствования Давида Строителя, Руис-Урбнисский принял специальное постановление. Об этом в рецензируемой книге сказано: «Обручение несовершеннолетних было официально запрещено государством еще при Давиде Строителе, хотя он сохранялся в некоторых районах Грузии и в начале XX в.» (с. 21).

Мы не спорим с авторами о том, что обычай «люлечного» обручения действовал и сохранялся до XX в., но, говоря о феодальной эпохе, в частности об эпохе Давида Строителя, необходимо вспомнить, что постановление того времени касалось не бракосочетания несовершеннолетних, а не порядка «люлечного» обручения. Этому постановлению минимальный брачный возраст женщины был определен в 12 лет для мужчин, по предположению акад. И. А. Джавахишвили, — 14 лет⁴. Однако постановление не запрещает обручение несовершеннолетних. Церковь сочла возможным вступление родителей в отношении свойства только при условии, что бракосочетание детей произойдет в зрелом возрасте. Что же касается утверждения авторов постановления церковного собора 1103 г. якобы отражено в § 399 Свода законов Грузии VI (с. 113), то это требует уточнения. В 399 пункт Свода законов Грузии внесен параграф из армянского судебного Мхитаря Гоша⁵, что вряд ли является отражением грузинской действительности. Также невозможно искать в законах Грузии VI или в составленном им Своде законов постановление Руис-Урбнисского церковного собора⁶.

Во второй части предпринята попытка выявить закономерности развития культуры грузин в XIX—XX вв. Все высказываемые здесь суждения основаны на обобщении тех фактов, о которых идет речь в предыдущем разделе. В случае необходимости можно вернуться назад и соотнести теоретические выкладки автором или иным примером. Такая структура книги позволяет избежать схематичности, которой иногда грешат теоретические построения в современной этнографической литературе. При всей их остроумности, они нередко оказываются голой схемой, когда соотносятся с конкретным историко-этнографическим материалом.

Круг проблем, затронутый Н. Г. Волковой и Г. Н. Джавахишвили во второй части работы, достаточно широк: функции и особенности культурных традиций, нововведение и динамика новых и смешанных форм бытовой культуры, условия и факторы развития, традиции и этнос. Этот перечень ясно показывает, что авторы исследовали проблемы, весьма активно обсуждавшиеся в последнее время в специальной литературе. Действительно, проблема культурных традиций, их роль в обществе, их низкий уровень зарождения, функционирования и наследования, упорядочение соответствующего понятийного аппарата находятся в центре внимания историков, этнографов, философов, культурологов. Так как многие вопросы теории культурной традиции дискуссионны, то, естественно, авторы прежде всего оговаривают собственное понимание основных определений. По их мнению, традиция — это преемственность,

³ Харадзе Р. Л. Грузинская семейная община. Тбилиси: Зарп Востока, т. I—II — 1961.

⁴ Джавахишвили И. А. История грузинского права. Кн. 2, в. 2. Тифлис, с. 366 (на груз. яз.).

⁵ Памятники грузинского права. Т. I. Сборник законов Вахтанга VI/Тексты следования, словарь проф. И. С. Далидзе. Тбилиси: Изд-во АН СССР, 1963, с. 378 (груз. яз.).

⁶ Габдзашвили Э. П. Уложение Руис-Урбнисского собора. Тбилиси: Мецнип, 1978 (на груз. яз.).

дача культурного наследия (с. 4). Такое определение представляется хотя и правильным по существу, но недостаточно четким. Из текста видно, что Н. Г. Волкова и Г. Н. Джавахишвили считают входящими в объем понятия «традиция» и стереотипизированные нормы поведения (обычай), и предметы материальной культуры, которые по сложившимся образцам воспроизводятся в данной этнокультурной среде (жилище, одежда, утварь, сельскохозяйственные орудия — это тоже традиция), и, наконец, сам процесс воспроизводства традиций, включающий сложно опосредованный механизм межпоколенной трансмиссии культуры. Такое широкое понимание термина, естественно, требовало от авторов более четкой дефиниции.

Инновацию авторы вслед за Э. А. Баллером называют «квинтэссенцией опыта сегодняшнего дня» (с. 180). По их мнению, при наличии ряда условий инновация в будущем может превратиться в традицию. Где же грань, отделяющая одно качественное состояние от другого? Н. Г. Волкова и Г. Н. Джавахишвили считают, что, «появившись как единичное явление, новое через какое-то время становится массовым, и с этого момента оно начинает осознаваться народом как традиция» (с. 4). Это верно. Об этнической традиции можно говорить только тогда, когда ей следует достаточно большое число индивидов (понятно, что в данном случае не имеет смысла вводить какие-либо точные количественные показатели). Однако хочется указать еще на одно условие, которое неизбежно присутствует в процессе обретения инновацией черт традиционности. Инновация независимо от источника своего происхождения и своей конкретной формы входит в быт этноса как элемент инородный, функционирующий поначалу как бы вне системы, неся на себе марку престижности, экзотичности и т. п. Например, по данным авторов, в первой четверти XIX в. в Восточной Грузии появился новый тип дома (так называемый кахетинский). Он резко отличался от традиционного жилища своей благоустроенностью и первоначально получил распространение лишь в среде зажиточной прослойки населения. Владение таким домом было прежде всего показателем материального благополучия хозяина, его достаточно высокого социального статуса. Естественно, подобное строение расценивалось окружающими как новшество. В пореформенное время кахетинский тип дома получил самое широкое распространение как в Восточной, так и в Западной Грузии, потеряв при этом прежнюю знаковую функцию. К этому времени, как пишут авторы, «кахетинский» тип дома стал восприниматься в Грузии как традиционный. Вот в этих пределах, видимо, и лежит тот качественный скачок, который преодолевает инновация, превращаясь в традицию. Традиция — это всегда нечто обыденное, знакомое и памятное, лишнее каких-либо черт экстраординарности. Кстати, сами авторы, возможно, имея в виду то же самое, оговаривают о «психологической адаптации», которую должна пройти инновация, прежде чем стать традицией. А следование традиции — акт совершенно естественный, который имеет место постольку, поскольку в данной этнокультурной среде выработался соответствующий стереотип «ответа» на ту или иную конкретную ситуацию.

С этой точки зрения нельзя согласиться с мнением авторов о том, что некоторых традиций придерживаются «осознанно» (с. 180). Хотя, строго говоря, любой вид общественной деятельности есть результат осознанных действий индивидов, в интересующем нас аспекте такое словопотребление вряд ли правильно. Вероятно, авторы имели в виду намеренное, вполне сознательное и демонстративное следование тем или иным формам некогда традиционного поведения. В данном случае мы сталкиваемся со сложным психологическим феноменом своеобразной «ностальгии» по уходящей этнической специфике бытовой культуры, желанием задержать этот процесс, окружить себя этномаркированными предметами быта. Это часто приводит к возникновению так называемых вторичных форм культуры, которые, совпадая по своим внешним атрибутам с традиционными явлениями, на самом деле таковыми уже не являются¹. Подобные явления представляют собой уже иную плоскость для исследования, не менее интересную, однако не совпадающую с главной идеей рецензируемой книги.

Н. Г. Волкова и Г. Н. Джавахишвили последовательно проводят аксиологический подход к культурному наследию прошлых эпох, справедливо подчеркивая, что любая культурная традиция несет в себе «напластования прежних эпох», содержит элементы чуждого и незнакомого, несозвучного с нашей действительностью. В определенных ситуациях отрицательная сторона некоторых традиций становится доминирующей, что вызывает необходимость ведения целенаправленной работы по ее искоренению. Поэтому столь важны оценочные критерии при анализе нашего культурного наследия, его четкое и недвусмысленное соотнесение с задачами сегодняшнего дня. Работы, подобные рецензируемой, вносят свой посильный вклад в это научно и практически зна-
емое дело.

В заключение хочется отметить, что монография Н. Г. Волковой и Г. Н. Джавахишвили, обобщающая и во многом по-новому интерпретирующая большой и разнообразный материал, несомненно, представляет заметное явление в отечественной этнографии.

В. Дж. Итонишвили

¹ Чистов К. В. Проблема «вторичных» форм в фольклористике и этнографии. — В кн.: Расы и народы. Т. 5. М.: Наука, 1975.

Рецензируемый тематический сборник очень невелик по объему, а вошедшие в него публикации — это, пожалуй, скорее краткие сообщения, нежели обычные статьи. Тем не менее он представляет собой заметное явление в этнографии Чечено-Ингушетии, будучи первым специальным изданием по семейному быту вайнахов. Как правильно отмечается в предисловии к сборнику, его тематика до сих пор не привлекала к себе должного внимания местных этнографов, в результате чего в изданиях регионального охвата, выходящих в Москве и в Тбилиси, вайнахская семейно-бытовая обрядность выступает «зачехлено, фрагментарно и неглубоко» (с. 3). Здесь же справедливо указывается, что данный сборник не в состоянии ликвидировать это длительное и фундаментальное отставание, но авторы его надеются привлечь широкое внимание специалистов и краеведческой общественности к тематике, составляющей одну из важнейших сторон этнографии народов мира.

В сборнике семь работ: археологическая — о реконструкции типов и структуры семьи по погребальной обрядности II—I тысячелетий до н. э. в Горной Чечне и шестая этнографическая — о семейной (преимущественно брачно-свадебной) обрядности чеченцев и ингушей в XIX — начале XX в.

Реконструкция типов и структуры семьи у предков вайнахов на основе их погребальной обрядности предпринята впервые. Авторы (В. Б. Виноградов и С. Л. Дударев) тщательно анализируют значительный материал могильников эпохи бронзы и раннего железа и, опираясь на особенности захоронений, выдвигают несколько существенных идей, имеющих, как они подчеркивают, предварительный характер. С последним следует согласиться, так как принятая в современной науке процедура исторической реконструкции семьи и ее структуры по данным захоронений имеет в высокой степени гипотетический характер, а понятийно-терминологический аппарат эволюции семейных форм остается недостаточно разработанным. В частности, микроэтнография могильников вызывает, по мнению авторов, на процесс обособления внутри больших патриархальных семей малых или индивидуальных семей, которые они, вслед за Р. Ф. Итсом¹, считают не парными и не моногамными. Но, во-первых, согласно преобладающему в советской этнографии взгляду, малые, индивидуальные и моногамные (а также простые, нуклеарные, элементарные и т. п.) семьи — это синонимы²; во-вторых же, внутри больших патриархальных семей могут обособляться лишь брачные ячейки, являющиеся зачатками малых, или моногамных, семей как хозяйственных ячеек общества. Выделяемая Р. Ф. Итсом индивидуальная семья, по его же классификации, — видимо, только поздняя форма парной семьи; следовательно, она не наследница, а предшественница большой патриархальной семьи. Можно полностью согласиться с авторами, что имеющиеся в их распоряжении данные не свидетельствуют о «решающем динамично-поступательном» развитии семейных отношений в раннем железном веке, иначе говоря, не допускают обратимости этого развития (с. 11). Только дело здесь не обязательно в принадлежности моногамной семьи непременно к классовому обществу (при известных условиях она порой появляется наряду с большой семьей уже в предклассовое время). Указания на обратимость семейных форм могут объясняться и другим — так называемым семейным циклом, при котором большие семьи дробились на малые, а малые разрастались в большие. Наконец, интерпретируя одновременные разнополюсные парные захоронения, авторы не учитывают многолетний спор о том, кто погребался с мужчиной — жена или наложница³. Приводимые ими данные, как археологические, так и сравнительно-этнографические, вполне допускают предположение, что с самого начала с представителями племенной верхушки погребались наложницы, широких же слоев населения — лишь символы захоронения жены (например, косы). Таковы некоторые размышления, вытекающие из сугубой предположительности археологических реконструкций семьи и семейных отношений.

Из этнографических работ сборника крупнее и содержательнее других статья З. И. Хасбулатовой о семейных обрядах чеченцев и ингушей в конце XIX — начале XX в. В ней характеризуются формы брака, брачный возраст, брачные запреты и ограничения, обычаи, связанные с брачным выкупом, свадебная и погребальная обрядность (обычай и обряды детского цикла рассмотрены автором особо в другом сборнике). Значительная часть приводимых сведений основана на оригинальных полевых материалах и представляет большой интерес. Интересна и интерпретация этих данных, в частности увязка отдельных обычаев и обрядов с предписаниями адатов или шариата. Еще одно достоинство работы — четкая дифференциация в ряде случаев чеченских и ингушских семейно-бытовых традиций. В то же время некоторые положения автора представляются не бесспорными или кверными. Так, по нашим полевым данным, у чеченцев в частности разновидностей брака похищением были не только насильственное похищение (по терминологии автора, «умыкание») и похищение с согласия девушки («брак убегом») и фиктивное похищение с ведома и согласия всех заинтересованных сторон. Нельзя согласиться также с подразделением автором брачного выкупа у чеченцев на три части: «там» — в пользу родителей невесты, «урдо» — в пользу самой невесты на случай

¹ Итс Р. Ф. Введение в этнографию. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974, с. 58.

² См., напр.: Бромлей Ю. В., Кашуба М. С. Брак и семья у народов Югославии. Опыт историко-этнографического исследования. М.: Наука, 1982, с. 82.

³ Одна из последних сводок: Итина М. А. История степных племен Южного Приаралья (II — начало I тысячелетия до н. э.). М.: Наука, 1977, с. 216 сл.

вода или вдовства и «мах» — на совершение религиозного обряда бракосочетания. Как и у других исламских народов в период вытеснения у них древнего выкупа семье невесты шариатским предбрачным даром самой невесте, у чеченцев калым делился на две части — постепенно отмиравший «там» и постепенно вытеснявший его «урдо». Что касается «мах», то по самому своему смыслу он не мог быть частью брачного выкупа, как не может быть ею, скажем, плата церковному причту за христианское бракосочетание. Думается, что автор здесь не отнесся критически к сообщениям информаторов, нередко смешивающих различные брачные платежи.

Очень мало изученной применительно к Северокавказскому историко-этнографическому региону теме посвящена публикация С.-М. А. Хасиева «Институт ухаживания чеченцев (По материалам 2-й половины XIX — начала XX в.)». Малоизученность этого сюжета понятна: характерная для региона в дореволюционном прошлом авторитарная структура семьи, освященная установлениями шариата, оставляла немного места свободе брачного выбора, а стало быть, и ухаживанию как начальному звену брачно-свадебного цикла. Не случайно предбрачное ухаживание лучше всего известно у адыгов-шапсугов, меньше других народов и этнографических групп Северного Кавказа подвергшихся исламизации. Не то у чеченцев, что делает особенно интересными соответствующие сведения о них и более всего о жителях Ичкеринского общества Чечни, собранные автором публикации. В Ичкерии даже считалось, что не только брак похищением, но и брак по сватовству (т. е. по выбору родителей) не достоин настоящего мужчины. Хотелось бы только пожелать, чтобы в своей дальнейшей работе автор четче различал два сопряженных, но не совпадающих аспекта исследования: относительно свободное общение молодежи, открывающее возможности знакомства и ухаживанию вообще, и ухаживание именно за своей невестой. Такая дифференциация важна потому, что у большинства народов региона — от Дагестана до Шапсугии — с помолвкой начиналось избегание между женихом и невестой, в одних случаях полное, в других случаях — по крайней мере при старших родственниках и соседях.

С публикацией С.-М. А. Хасиева перекликается близкая, но более широкая по охвату сюжетам публикация Ф. И. Кудусовой «Досвадебные обряды ингушей в дореволюционном прошлом». Здесь вопрос о добром ухаживании освещен яснее для ингушей: после договора родителей жених мог видеться с невестой, но не на глазах старших (с. 52). В другом месте автор сопоставляет добрые обычаи ингушей и чеченцев и отмечает, что у последних девушка имела большие возможности общения с юношами, что позволяло ей выбирать суженого по велению сердца. Это сопоставление, да и вообще сравнение обычаев доброго общения молодежи у чеченцев и ингушей подводит нас к вопросу более общего порядка. Чем объяснялась такая относительно большая свобода чеченской молодежи: остатками архаических доисламских порядков, как это считает С.-М. А. Хасиев, или новшествами, выразившимися в ослаблении авторитарной семьи в XIX в.? Известно, что у ингушей дольше и полнее сохранялась большая патриархальная семья с присущей ей авторитарностью родительской власти; у чеченцев же значительно раньше возобладала малосемейная организация с ее сравнительно более либеральной структурой. Думается, что второе из этих решений ближе к истине, хотя, разумеется, вопрос еще требует дальнейшего углубленного исследования.

Следующая публикация — «Об эстетике свадебной обрядности вайнахов» (автор Х. Танкиев) — также посвящена былой, традиционной свадьбе. Автор анализирует вайнахскую (преимущественно ингушскую) свадебную поэзию, в меньшей степени музыкальный и танцевальный фольклор, а также конные состязания. По существу работа несколько шире заглавия, так как в ней рассматриваются также и этические аспекты свадебной поэзии и, в частности, показано, что под фигурирующей в песнях «знатностью» имеется в виду не социальная, а моральная характеристика родни жениха и невесты.

Содержание статьи З. А. Мадаевой «Новогодняя обрядность в семейном быту вайнахов» также несколько шире ее заглавия, так как речь в ней идет о праздновании этого года не только в семейном, но и в общественном быту. Автор детально рассматривает религиозно-магическую и игровую стороны новогодней обрядности, останавливаясь и на некоторых ее локальных элементах (например, на обряде наречения в этот день имени новорожденному у горных ингушей). Описание обрядов сопровождается их историко-культурной интерпретацией, представляющейся совершенно правильной.

Сборник заключается заметкой Э. Д. Мужуховой «Некоторые изменения в семейно-бытовых отношениях вайнахов во второй половине XIX в.». Эти изменения, правовая основа которых стало восстанавление уже в ходе Кавказской войны народных законов в противовес шариату и попытка модификации адатов особыми «правилами для управления чеченским народом», касались прежде всего облегчения положения горняков. В частности, согласно новым правилам, «никто не мог заставить девушку выйти замуж за нелюбимого человека» (с. 80 — ср. выше наше предположение об относительно большей свободе чеченской молодежи скорее как о нововведении, чем как о реликте древних порядков). Начиная с 1860-х гг. собраниями выборных лиц и народными сходами принимались постановления о праве жены на развод в случае варварского с ней обхождения, об отмене калыма, об усилении наказаний за посягательства на честь женщины. Установления эти, однако, почти не реализовывались, что уже неоднократно отмечалось в литературе в отношении других народов Северного Кавказа, в особенности осетин, кабардинцев и балкарцев. В данной связи показательны, что концовка заметки Э. Д. Мужуховой заметно скромнее ее заглавия: «Таким образом, несмотря на некоторые тенденции к изменениям в семейно-бытовых отношениях, направленные на возможное улучшение положения женщины, она оставалась таким же бесправным членом общества и семьи, как и прежде» (с. 82).

Подытоживая сказанное, заметим, что рецензируемый сборник при всем своем незначительном объеме вводит в научный оборот немалый новый этнографический материал по вайнахской семье и прямо или косвенно поднимает ряд новых вопросов кавказоведения. По сравнению с этим не такими существенными кажутся отдельные недочеты, о которых говорилось выше. Вместе с тем хотелось бы пожелать, чтобы актуальная практически значимая тема семейно-бытовой обрядности отражалась бы этнографами Чечено-Ингушетии в публикациях, посвященных не только дореволюционному прошлому, но и советскому времени. Этнографическая работа в этой области тем важнее, что новая семейная обрядность у народов Чечено-Ингушетии в силу ряда исторических причин развивается медленнее, чем у других народов региона.

Я. С. Смирнова

НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ

Н. А. Ерофеев. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских. 1825—1853 гг. М.: Наука, 1982, 319 с.

Материалы «круглого стола», недавно проведенного журналом «Советская этнография» по проблемам этнической психологии (см. 1983 г., № 2—4), показали, с одной стороны, большую научную и практически-политическую значимость этих проблем и актуальность их разработки, с другой — большую сложность таких исследований. Последнее особенно относится к исследованиям в области исторической этнопсихологии. В этой связи рецензируемая книга заслуживает самого пристального внимания как оригинальная, по существу, единственная за много лет работа такого рода, написанная советским ученым и посвященная главным образом изучению этнических представлений русских об англичанах во второй четверти XIX в.

В главе первой «Этнические представления» рассмотрено понятие «этническое представление» как «словесный портрет или образ чужого народа» (с. 7), связь его с понятием «психический стереотип» — «застывшее изображение, механически воспринятое и некритически усвоенное» (с. 7), показана видная роль этнических представлений в общественной жизни и прежде всего в отношениях между народами и оценена возможность использования таких представлений для изучения особенностей психического склада того или иного народа или национального характера (автор не делает особых различий между этими двумя понятиями).

В главе второй — «Источники» — дан очень важный для данного исследования обзор материалов, на основании которых в рассматриваемый период у русских складывалось представление об Англии и англичанах. Первое место среди них автор отводит «печатному слову», т. е. газетам, журналам и книгам, отмечая немногочисленность этих источников и крайне малые тиражи (общее число подписчиков на газету в то время составляло 12—15 тыс. чел.), а также строгости цензуры. Автор отмечает, что информация из-за границы в русской прессе была очень скудной и ограничивалась в основном перепечаткой из иностранных газет и журналов. В связи с этим важным источником формирования представлений об англичанах были рассказы русских людей, побывавших в Англии. Правда, таких поездок в отличие от поездок во Францию и даже в Германию и Италию было сравнительно немного, почти все путешественники побывали только в Лондоне и лишь немногие опубликовали свои наблюдения — за рассматриваемый период вышло лишь около десятка книг и брошюр (с. 44). Основным недостатком этих источников автор усматривает в стремлении делать на основании немногих фактов «широкие и поспешные обобщения» и, как отмечал Белинский, «видеть в той или другой стране не то, что в ней есть, но то, что они заранее еще у себя дома решались в ней видеть вследствие односторонних убеждений, закоренелых предрассудков или каких-нибудь внешних целей и скрытых расчетов» (с. 49).

В главе третьей — «Вещественная цивилизация» — даны представления русских о хозяйстве Англии, ее политической системе, социальных проблемах, духовной жизни. Автор отмечает, что в глазах многих русских в то время именно Англия с ее сильным развитым промышленным капитализмом «как бы воплощала Запад, западную цивилизацию» (с. 77), поэтому ее положительные и отрицательные черты часто использовались в спорах «западников» и «славянофилов» о возможном историческом пути развития России.

В российской печати отмечалось высокое промышленное развитие Англии, значение его обычно принималось ролью торговли, в которой видели главный источник английского богатства, финансовой мощи Англии.

Пытаясь объяснить экономические успехи англичан, некоторые авторы того времени обращались к особенностям английского национального характера, отмечая англичан, например, «дух трудолюбия, предпримчивости, порядка и бережливости» (с. 100). Вместе с тем сообщалось о существовании в Англии острых социальных проблем, связанных прежде всего с имущественным неравенством, наличием многочисленных групп населения в состоянии нищеты, тяжелыми условиями труда женщин и детей и т. п. Оценка социально-политического устройства англичан была различной: одни авторы изображали Англию как «гнездо смут и беспорядков», другие — как «дочь любимую свободы». Это, по мнению Н. А. Ерофеева, отражало, с одной с

ры, реальные противоречия в английской жизни, с другой — различные политические позиции наблюдателей. Так, консервативные круги русского общества осуждали демократические свободы, завоеванные английским народом в длительной борьбе, выводя их «гибельными уступками черни», способствующими общественным смутам (133). Вся Англия рисовалась ими как страна, находящаяся в состоянии дряхлости и упадка, особенно проявляющегося в духовной сфере, где якобы господствуют имущественные, материальные интересы (с. 162).

Начальший интерес в этнопсихологическом отношении представляет четвертая глава «Джон Буль», названная по имени собирательного образа англичанина. «Первое, что бросалось в глаза русским наблюдателям и что, как им казалось, определяло характер ее жителей», — отмечает Н. А. Ерофеев, — четкая организация жизни и быта» (166). Причем ярче всего это проявлялось в устройстве дома, в его внутренней чистоте и опрятности. Среди моральных норм подчеркивалось высоко развитое у англичан чувство патриотизма и национальной гордости; в связи с этим автор приводит слова Белинского о том, что англичане «так глубоко чувствуют и сознают свое национальное величие, что нисколько не боятся, чтобы ему могло повредить обнаружение недостатков и темных сторон английского общества» (с. 170). Некоторые черты англичан, в частности их якобы «угрюмый, тяжелый нрав», обычно объяснялись географической средой; с такими чертами английского характера нередко связывался грубый, порой жестокий характер их некоторых развлечений, таких, как распространение в то время петушиные бои, травля медведей, кулачные бои (бокс) и др. Особо отмечалась энергичность и предприимчивость англичан, хотя в этом многие видели лишь механическую погоню за прибылью.

Многие кажущиеся русским странными особенностями английской жизни, прежде всего их приверженность старым традициям, объяснялись просто их «чуждечностью». В целом положительно оценивалась нравственность англичан: их честность (т. е. верность данному слову), религиозность и добропорядочное отношение к семейной жизни; автор подчеркивает, что «в высокой оценке английской семейной жизни находили представители самых различных лагерей — от реакционной „Северной печати“ до Чаадаева» (с. 220). В оценке других качеств англичан проскальзывали и противоречия: говорилось о сильном распространении в Англии воровства, о растущем разврате и т. п. По мнению автора, значительную роль в возникновении представлений о высокой нравственности англичан сыграла проникшая в Россию английская моралистическая литература XVIII в., а также бытовавшее противопоставление «степенного» англичанина «легкомысленному» французу.

Из соединения отдельных этнических представлений, из сложного, по выражению автора, сплава «реальности и фантазии» складывается довольно цельный «образ типичного англичанина, утвердившийся как определенный психический стереотип в глазах русского общества. Итак, типичный англичанин — „Джон Буль“ — это гордый, самоуверенный и важный человек, холодный и спокойный, пожалуй, даже „чопорный“. Энергичный и в высшей степени практичный, он преуспевает в делах — в промышленности и торговле; благодаря его предприимчивости, энергии и деловитости, трудолюбию и основательности в этой стране быстро развивается промышленность и торговля, кипит деловая жизнь. В то же время поглощенный практическими делами, озабоченный за деньгами и богатством, англичанин не придает значения искусству, а науку он превратил в отрасль мануфактуры. Строгая честность в делах и глубокая религиозность не мешают тому, что он корыстолюбив, эгоистичен, жаден к деньгам. Четкая, „самобытность“ его характера доходит до странностей и чудачества» (с. 232).

Комментируя этот образ, автор замечает, что «когда конструируется образ чуждого народа, то нередко акцентируются именно непохожие, контрастирующие черты. При этом истинный образ упрощается, обедняется, превращается в схему. Примером может служить представление об английской цивилизации как „вещественной“ как во отношении „материализма“ в противовес русской — как цивилизации прежде всего духовной, отодвигающей материальные заботы на второй план. Эта схема заставляла русских наблюдателей не замечать многих достижений английской духовной жизни и культуры» (с. 236). И далее: «В этнических представлениях содержится значительный элемент априорности. Создав на основе каких-то частных наблюдений образ другого народа, мы затем уже „подгоняем“ под него все остальные впечатления и наблюдения» (с. 237). Завершая эту главу, автор пишет, что «портрет англичанина, сложившийся в России во второй четверти XIX в., жил на протяжении последующих десятилетий» (с. 246).

Отмечу сразу же, что в самом начале пятой главы «Коварный Альбион» автор, о существовании, противоречит сделанному выводу, утверждая: «В начале 50-х годов образ Англии и англичан, сложившийся в России в первой половине XIX в., претерпел начальные изменения» (с. 247). Причиной этих изменений, по мнению автора, было обострение отношений между Россией и Англией из-за противоречий их политических интересов на Востоке — в Османской империи и в Средней Азии, а также из-за конкуренции в экономическо-торговой сфере. Результатом же их было изменение взглядов на некоторые черты англичан, в частности на их «практицизм», который все чаще связывается «с такими пороками как своекорыстие, холодный бесчужественный эгоизм» (с. 289). Автор отмечает, что «окончательное оформление в России образа Коварного Альбиона» относится лишь к самому кануну войны 1853—1856 гг. (с. 301). Вместе с тем проступала тенденция относить плохие стороны Англии к деятельности ее правительства, что «в известной мере сохраняло традиционный образ этой страны и ее народа в глазах многих русских» (с. 303).

Нельзя сказать, чтобы работа Н. А. Ерофеева была новаторской по своему мысли. В этнопсихологии уже давно бытует понятие психического стереотипа, зарубежной литературе есть и работы, авторы которых пытались выявить тот иной стереотип, проследить корни его формирования (например, исследование а риканским этнографом Р. Бенедикт психического стереотипа японцев). Но в на научной литературе таких попыток, насколько мне известно, не предпринималось, это обстоятельство придает рецензируемой работе не только важное методическо и методологическое значение. Полагаю, что за ней последуют и другие раб такой же тематики. Напрашивается, в частности, продолжение исследования, проделанного Н. А. Ерофеевым, ибо его теперешние хронологические рамки явно ны для поставленной автором задачи: проследить изменение представлений русс об Англии и англичанах в зависимости от политико-экономических отношений ме двумя странами с. 5). Для достижения такой цели не следовало обрывать следование на 1853 г., требовалось охватить весь период Крымской во а желательны и последующие десятилетия, в которых могли проступить новые и нения.

Насколько же автору удалось выполнить свою основную задачу, отраженную самом названии книги,—показать представления русских об англичанах за период восстания декабристов до начала Крымской войны? Он оговаривает, что в дан случае речь идет не о представлениях всего русского народа, а лишь «привилегированных классов русского общества: аристократии, дворянства, буржуазии, высш чиновничества, а также среде разночинной интеллигенции» (с. 5). Думается, одна что и это ограничение слишком расширительно: из книги мы не узнаем, что им думали об англичанах, например, в дворянском собрании и в канцелярии губерна Москвы, не говоря уже о каких-то дальних губерниях: для этого требовалась крайне трудоемкая работа в архивах с дневниками и письмами тех лет и т. п. Основным источником автора является «печатное слово», поэтому и всю работу правильно было бы назвать «Образ Англии и англичан в российской печати 1825—1853 гг.». мечу попутно, что речь идет конечно, и не обо всех англичанах, а, как отметил автор, главным образом о лондонцах (и даже о части лондонцев). Но в данном с чае вносить ограничительные поправки в название книги, вероятно, не следует: а в этнопсихических стереотипах всегда отражается не весь народ, а лишь какая-то часть с ее наиболее характерными чертами.

Имеется, однако, и еще один вопрос, на который ответить труднее: а являлись ли отраженные в русской печати представления об англичанах этнически только русс ми? Этот вопрос частично относится даже к тем 11 книгам и брошюрам, котор были написаны людьми, побывавшими в Англии, и о которых Н. А. Ерофеев пиш что «нехватку собственных наблюдений они обычно восполняли заимствованиями различных иностранных справочников и из произведений предшественников» (с. 3). Особенно же он относится к российской прессе, которая пользовалась главным разом перепечатками из иностранных газет и журналов: преимущественно французс и отчасти немецких. При этом единственной частной газетой, которой разрешал помещать на своих страницах такие материалы, была официально-реакционная «Сен ная пчела», редактируемая Булгиным и Гречем. Автор отмечает все эти обст тельства, но его ответ на поставленный вопрос, к сожалению, столь же решите сколь и не бесспорен. Он пишет: «...в те годы правительство располагало ограни чеными возможностями влиять на эти (этнические — В. К.) представления, поскол отсутствовала массовая печать и организованная официальная пропаганда. Этни ские представления формировались тогда в значительной степени стихийно, как естественно, без воздействия извне, что позволяет изучать их почти в чистом ви» (с. 6). И далее, сам поставив вопрос — «может быть, отраженные в российской чати взгляды на англичан вовсе не русские, а „французские или немецкие“?», он верждает: «...с помощью ножиц редакторы строго отбирали чужую информац Кроме того, такая информация при переводе, как правило, получала определен окраску (?), дополнялась определенным комментарием. Поэтому можно считать, заимствованные из иностранной прессы сообщения об Англии отражали в конеч счете именно русские (!?) представления» (с. 31).

Приведенные рассуждения крайне необудительны. Ведь если между русскими англичанами не были развиты прямые контакты и основным фактором формирова этнических представлений было «печатное слово», прежде всего пресса, то при сла развитии этого источника информации его было легче контролировать, устранив из журным пером и ту малую «стихийность», которая оставалась, например, после ни ниц Булгарина. Показательно, что в рецензируемой книге почти ничего нет о «взг дах русских» на принятую англичанами парламентскую систему, столь противоре пную российскому самодержавию. О каком же «естественном» формировании этни ских представлений здесь может идти речь? В конце концов, рассматривая конк ные представления, и сам Н. А. Ерофеев вынужден признать, что «образ англичан в России складывался под влиянием предшествующих рассказов, главным обра французских. Об этом можно судить хотя бы по тому, что многие свойства ан чан, которые фигурировали в русских сочинениях (да и в немецких), значител раньше были отмечены во французских работах об Англии» (с. 237); так, «по-ви мому, мнение о гордости англичан и их высокомерном отношении к иностранцам б довольно широко распространено во Франции и отражало исторически сложившу неприязнь к англичанам» (с. 239).

Среди других погрешностей работы отмечу некорректную попытку провер правильность обобщенного образа «Джона Буля» наблюдениями русских путеше

енников, к которым Н. А. Ерофеев уже обращался при воссоздании этого образа (с. 242—244).

Завершая же данную рецензию, не могу не сказать еще раз об оригинальности исследования, выполненного Н. А. Ерофеевым, и его значимости для этнической психологии. Похвально, что автор в большинстве случаев критически относится к излагаемому материалу и лишь в некоторых важных выводах, к сожалению, пренебрегает этим. Воссозданные им представления об англичанах являются, конечно, не просто «этническими», но сословно-этническими, и не чисто «русскими», а скорее, русско-французскими, причем определить долю каждого компонента без соответствующего исследования по французам (а также немцам и другим соседям англичан) не представляется пока возможным. Интересно было бы сопоставить эти представления с высказываниями англичан о самих себе и о других народах, прежде всего русских и французских. Это позволило бы перейти от определения отдельных этнопсихических стереотипов к трудной задаче выявления английского национального характера.

Б. И. Козлов

* * *

Новая книга Н. А. Ерофеева находится как бы на стыке трех наук — истории, этнографии и психологии. Она рассказывает нам о том, какие представления об Англии и англичанах существовали в русском обществе во второй четверти XIX в. При этом исследуется формирование этнического стереотипа, что является одним из перспективных направлений в этнографии и социальной психологии¹.

Этническое сознание и его частный случай, этническое самосознание, т. е. представление людей о собственном этносе и его свойствах², пожалуй, наиболее важный, ключевой объект этнографии. Ведь при изучении элементов духовной и материальной культуры этнографы фактически изучают отражение в них этнического сознания в широком смысле слова, включая и этническое самосознание. В книге Н. А. Ерофеева показана тесная связь этнического стереотипа с представлениями о своем этносе, которые определенным образом трансформировались в сложившемся образе Англии и англичан. Во всех случаях русские проблемы оказывались как бы своеобразным светофильтром, который направлял внимание и определял отбор фактов» (с. 307).

В то же время рассматриваемое исследование является историческим по привлеченным конкретным материалам и принципу их подачи. Используемые автором источники призваны показать пути формирования этнических представлений, соотношение в них фантазии и реальности, их изменение под влиянием нарастающих противоречий в англо-русских отношениях (с. 23). Работа Н. А. Ерофеева примыкает к зарубежным историологическим исследованиям (от латинского «имаго» — образ), в центре внимания которых — природа, происхождение и социальная функция этнических представлений (с. 10). Рассматриваемая книга — первое исследование такого рода в СССР. Можно надеяться, что за ним последуют подобные работы историков, социологов, этнографов. Помимо чисто научного значения такие исследования, выполненные на высоком уровне, безусловно, должны способствовать укреплению связей между различными странами, росту интереса к культуре других народов. Для этого прежде всего необходимы объективные и точные представления о народе и его культуре. Н. А. Ерофеев успешно избегает в своей работе опасности этноцентризма. Он объективно, критически излагает взгляды наших соотечественников на Англию и англичан второй четверти XIX в. При этом он показывает, что их представления об Англии во многом обуславливались системой ценностей, существовавшей в русском обществе, отнюдь не абсолютизируя эту систему.

В книге рассматриваются почти исключительно взгляды, присущие образованным слоям общества: дворянству, буржуазии, интеллигенции, в том числе революционным слоям. Это определяется характером имеющих источники. В некоторых случаях приводятся и мнения, характерные для более широких слоев населения (с. 302).

Взгляд русского общества на другие народы во многом определялся тогда идеями немецкого философа И. Г. Гердера, развитыми впоследствии Ф. В. Й. Шеллингом и Г. В. Ф. Гегелем, о том, что каждый народ обладает своим, только ему присущим «национальным духом» и призван выполнить определенную историческую миссию (с. 85).

Подобный взгляд на значение этнических элементов в истории человечества (история мыслилась как история различных народов), в развитии которых главную роль играет «национальный дух», ниспосланный свыше, способствовал укреплению в обществе взглядов, что каждый народ призван сыграть свою собственную роль в истории. Как показано в книге Н. А. Ерофеева, практически общепризнанным было, что Англия уже миновала свой расцвет, чем и объяснялся созданный общественным мнением образ трагического Альбиона. В целом же образ Англии служил зеркалом для отражения проблем русской жизни. Одни и те же факты английской жизни интерпретировались диаметрально противоположно представителями различных общественных течений, «и то, что одни хвалили Англию, вызывало неодобрение у других». «Преобладало убеждение, что то, что хорошо для Англии, никак не подходит для России, в которой совсем иные условия, иные традиции и которая должна идти своим, особым путем» (с. 164).

Господствовал характерный для Европы XIX в. взгляд, что у каждой нации, играющей всемирно-историческую роль, есть «гений», который проявляется, в частности,

¹ Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). : Наука, 1981, с. 15, 368.

² Там же, с. 15.

в ее языке. «Гений» Англии и англичан видели в промышленной и торговой деятельности. При этом иногда обнаруживалось верное понимание социальных последствий индустриализации. В. Ф. Одоевский, например, отмечал, что «несчастья, порождаемые в Англии изобретением машин,— не суть следствие самих машин, но того, что рабочий, привыкнув целый век точить какое-нибудь колесо, вдруг при изобретении машин остается без дела, ибо не знает ничего другого»³. В то же время отражение таких черт национального характера англичан, как практичность и расчетливость, которые, по общему убеждению, сопутствовали торгово-промышленному первенству Англии, видел в самом английском языке (с. 190—191), что сейчас выглядит абсурдом.

Н. А. Ерофеев показывает, что несмотря на причудливое сочетание вымысла с реальностью, в русском обществе сложился образ «типичного» англичанина «Джон Буля», далекий от реальности, но поражающий своей правдоподобностью и внутренней цельностью, непротиворечивостью (с. 232). Этот образ, сложившись во второй четверти XIX в., существовал, по мнению автора, на протяжении последующих десятилетий. Новые впечатления не разрушали старый образ, а вписывались в него, дополняя его новыми деталями (с. 246). Образ Англии и англичан, в искаженном виде отражающий реальные факты, возник под влиянием ряда факторов. Играло здесь роль и влияние представлений, сложившихся в популярной в России французской литературе (с. 237—238). Главным же в создании образа явилась «система светофильтров», сложившаяся под влиянием преубеждений, непонимания, эмоций, самоощущения (с. 308). С ухудшением англо-русских отношений в 40-е годы XIX в. в этническом стереотипе усилились отрицательные черты. Видный поэт и дипломат Ф. И. Тютчев в разгар Крымской войны писал, например, о «скарёдном эгоизме Англии», указывая на неминуемую катастрофу, которая постигнет «целый мир, каковым является Англия» с ее лицемерием и «нелепым хвастовством»⁴.

Рецензируемая книга вполне доказывает, что предметом этнопсихологических исследований могут стать большие общности, а не преимущественно малые, как считали некоторые исследователи⁵. Здесь перед нами исследование представлений, возникших в обыденном сознании и не отличающихся научной строгостью. Необходимость изучения тех из них, которые не являются предрассудками, а также путей формирования недостоверных представлений и вымысла неоспорима, несмотря на трудность нахождения адекватных методов исследования и верификации фактов⁶. Книга Н. А. Ерофеева представляет удачный пример такого рода исследования на конкретном историческом материале.

В рассматриваемой работе показано нарастание русофобии в Англии в 30—40 годах прошлого столетия в связи с обострением англо-русских противоречий (с. 271—279), но в целом представления о России и русских, существовавшие в Англии в этот период, здесь не рассматриваются. Между тем такое исследование представляет несомненный интерес. Несколько выходя за рамки рецензии, мы попытаемся кратко очертить контуры таких представлений, отнюдь не претендуя на полноту и законченность и не считая отсутствие такого очерка у Н. А. Ерофеева недостатком книги. Воспользуемся трудом М. П. Алексеева о русско-английских литературных связях. Здесь показано восприятие России и русских в Англии в конце XVI — начале XVII вв. В Англии уже в это время в результате многочисленных путешествий и деятельности английских купцов в России накопился тот запас сведений о стране и ее народе, который стал доступен русской публике в отношении Англии только во второй четверти XIX в. В английском обществе сложилось в конце XVI в. представление о России как об обширной стране с богатыми запасами сырья, население которой покорно своей рабской ути и славит тиранию царя. Этот образ был навеян более тяжелыми формами феодальной зависимости в России в сравнении с Англией. Внутренние потрясения середины XVII в. ослабили в Англии интерес к России, образ которой стал более расплывчатым и экзотическим. Интерес возрастает вновь с конца XVII в. в связи с реформами Петра I. При этом выявились резкие различия между торями и вигами в оценке России и петровских реформ. Если виги склонны были положительно оценивать Россию и Петра, полагая, что Россия при нем избавилась от своего невежества и приблизилась к западной цивилизации, то тории резко нападали на Петра, утверждая, что при нем в России мало что изменилось. Эта разница во мнениях отражала острую борьбу по внешнеполитическим вопросам в Англии, в частности в связи с войной за Испанское наследство и политикой по отношению к России в этой ситуации. В дальнейшем портрет России в русских оброс многими деталями, а острота партийной полемики притупилась. Антирусские настроения были характерны для периода Семилетней войны, а усиление симпатий к России отмечалось в период войны 1812 г. Широко распространялись представления о русских в целом как о людях, менее образованных, чем англичане, но щедрых, великодушных и гостеприимных. Это отмечало большинство англичан, писавших о России в первой половине XIX в.⁷ Отметим, что все эти положительные качества входили в ценности

³ Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975, с. 197.

⁴ Тютчев Ф. И. Стихотворения. письма. М.: ГИХЛ, 1957, с. 398, 400.

⁵ Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. Изд. 2-е. М.: Наука, 1980, с. 107.

⁶ Кон И. С. К проблеме национального характера.— В кн.: История и психология. М.: Наука, 1971, с. 125.

⁷ Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX в.). Литературное наследство. 91. М.: Наука, 1982, с. 20—26, 44, 80—124, 136, 171, 247, 497, 574—575, 580, 632.

яновку самого русского общества, где они считались исконно русскими. Образ России и русских в Англии претерпел как будто более сложную эволюцию, чем представления об Англии в России, которые сравнительно поздно сформировались — во второй четверти XIX в. — и мало изменялись вплоть до 80-х годов того же столетия. Это, возможно, объясняется, большим объемом сведений о России в Англии и более развитым английским общественным мнением.

Книга Н. А. Ерофеева, не претендуя на всестороннее исследование этнических представлений, имеет целью поставить ряд вопросов и наметить пути исследования этой важной проблемы. Автор сознает, что его работа не свободна от слабостей, но эти недостатки и отсутствие готовых решений обуславливаются уровнем развития методики исследований и степенью современной разработанности проблемы (с. 310). Достижением является уже то, что впервые в советской литературе показана плодотворность историко-исторического подхода к изучению этнических представлений, позволившего наметить ряд особенностей этнического стереотипа и проследить пути его формирования. Как отмечает автор книги, будущие исследования нужно вести в широких хронологических рамках. При этом плодотворным представляется сравнение этнических стереотипов, созданных различными народами.

В заключение отметим, что приведенная в конце библиография, содержащая более 300 названий, включает и архивные фонды и может оказать помощь исследователю, который решил бы заняться проблемами этнических стереотипов. Очень жаль, что отсутствие именного и предметного указателей сильно затрудняет пользование книгой.

Б. В. Соколов

НАРОДЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ

С. Юрлова. Социальное положение женщин и женское движение в Индии. М.: Наука, 1982, 184 с.

Рецензируемая книга продолжает ведущееся в советской историографии многоплановое изучение социальных и политических процессов в развивающихся странах. В данном случае — это комплексное исследование женского вопроса в Индии. В книге описаны изменения в положении женщины в семье и обществе в независимой Индии рассматриваются в связи с конкретными социально-экономическими и политическими процессами в стране в годы независимости, мероприятиями органов государственной власти, которые проводились при поддержке демократической общественности.

Автор на большом материале показывает постепенное вовлечение женщин в экономическую и общественно-политическую жизнь и стремится выявить причины, как стимулирующие, так и тормозящие эти процессы, исключительно сложные, а подчас и противоречивые (в частности, социальное освобождение женщин), поскольку они связаны с ликвидацией наследия феодального и колониального прошлого.

Совершенно справедливо замечание Е. С. Юрловой, что в такой огромной стране, как Индия, с ее многообразием этнических, религиозных, классовых и кастовых факторов, которые по-разному взаимодействуют в различных районах и по-разному проявляют себя в городе и в деревне, анализ изменений в социальном положении женщин чрезвычайно затруднен. Тем не менее автору удалось показать положительное воздействие на весь ход социального раскрепощения женщин в Индии таких процессов, как общая демократизация социальной жизни после 1947 г. (в том числе введение всеобщего избирательного права), повышение уровня образования и рост общей информированности общества в целом и женщин в том числе, вовлечение в трудовую деятельность женщин из высоких и средних каст (особенно в качестве учителей и врачей), принятие ряда новых законов в защиту прав и интересов женщин. В книге показана важная роль работы политических партий и женских организаций, направленная на расширение кругозора женщин и вовлечение их в общественно-политическую жизнь, в частности правительственных учреждений и в работу по осуществлению специальных программ развития для женщин и детей (такие программы разрабатываются на разных уровнях).

В результате широкой демократизации общественной жизни страны возросла роль женщин во время избирательных кампаний, в которых все более заметно проявляются значительные изменения политических позиций и взглядов избирателей. Сегодня в Индии за голоса женщины ни одна партия не может более игнорировать требования их образования и защиты их интересов. В рецензируемой книге — впервые в нашей индологической литературе — исследуются участие женщин в выборах (гл. IV) и проблемы, связанные с систематической работой, проводимой политическими партиями в среде (гл. V).

Раскрывая значение деятельности женских организаций в реализации государственных программ развития для женщин и детей, автор подчеркнул также важную роль этих организаций в мобилизации женщин-избирателей в период выборов.

Среди факторов, стимулирующих борьбу против средневековых представлений о положении и роли женщины в семье и обществе, особо выделена «нормотворческая» деятельность государства, которую широко поддерживают демократические силы, включая и все прогрессивные женские организации. Более того, значительная часть

законопроектов, направленных на улучшение положения женщин была принята в результате длительной борьбы этих организаций и при непосредственном их участии.

В книге убедительно показано, что в конкретно-исторических условиях индийского общества, где доминирующую роль продолжает играть религиозно-кастовое сознание, а информированность женщин относительно их прав недостаточна в таких факторов, как низкий уровень грамотности среди них, слабое участие в кастовых организациях и т. п., процесс социального освобождения женщин чрезвычайно осложнен. Традиционные обычаи и представления по-прежнему сильно задерживают привлечение женщин в сферу производственной и общественной деятельности. Именно поэтому в книге уделено большое внимание традиционным и бытовым институтам Индии. Автор прослеживает их тормозящее влияние на процесс социального освобождения индусок.

В ходе расширения общественной и трудовой деятельности, как показывают Е. С. Юрлова, быстро изменяются традиционные представления о назначении женщин в семье и обществе. Под этим углом зрения рассматриваются проблемы общественной политической активизации женщин, их участие в выборах и в работе женских организаций, а через них — в мероприятиях политических партий.

Трудовой деятельности женщин посвящена отдельная глава (II). Автор отмечает рост занятости женщин в сельскохозяйственном производстве за счет увеличения в развивающихся странах. В Индии, как показано в книге, в 1980 г. в 35% беднейших семей в качестве кормильцев были зарегистрированы женщины (с. 38). Именно среди этого населения растет трудовая занятость женщин: главным образом в сельскохозяйстве, в кустарном производстве и на строительных работах. В промышленности по-прежнему все еще заняты в основном мужчины. В приводимой на с. 43 таблице держатся данные о доле занятых женщин в городах (7,80%) и селах (14,55%), также доле занятых мужчин (соответственно 48,62% и 53,55%). Как видим, эти цифры весьма показательны, и их сопоставление многое дает для характеристики процесса вовлечения женщин в производство.

Автор правильно отмечает, что в городах, где живет значительное число представителей средних каст (торговцы, ремесленники, клерки), сферой деятельности женщины является главным образом домашнее хозяйство без права широкого выхода за пределы семьи. Эти касты, как и ряд высоких каст, приверженных древним традициям, особой строгостью соблюдают предписываемые обычаями нормы поведения женщин.

Статистические данные, приведенные в книге, характеризуют также уровень женского образования и процесс привлечения женщин к обучению в школах, средних высших учебных заведениях (гл. III). Здесь читатель знакомится с целым рядом информативных цифр. Они говорят и об отсеве девочек и девушек из учебных заведений в связи с сохранением института ранних, и, главное, обязательных браков, том, что подавляющее большинство грамотных женщин принадлежит к возрастной группе от 15 до 25 лет (табл. 5), и о том, что в Индии в 1981 г. было еще лишь 24 грамотных женщины (табл. 7).

Автор глубоко анализирует механизм приспособления многих консервативных обычаев к требованиям нового времени (таких, например, как затворничество, детоубийство, необходимость давать приданое и др.) и показывает, как они отмирали, перерождались (с. 23—30). Особое внимание уделено положению вдов и борьбе с дикими индусскими институтами вечного вдовства. Характеризуя его, автор приводит статистические данные, скрупулезно собранные по разным публикациям, включая и недавние (1981 г.). Соединенные в сжатом тексте, занимающем всего 3 страницы (с. 33) эти материалы сами по себе красноречиво рисуют картину тяжелой участи вдов и также изменения в их существовании, привнесенные новым законодательством и трудовой деятельностью ряда прогрессивных организаций.

Важен вывод автора о том, что позитивные изменения в положении женщин в их сознании (на первый взгляд, даже самые незначительные) имеют огромное значение для развития индийского общества, поскольку именно женщины выступали в течение многих веков в роли хранительниц устоявшихся норм и правил, регулировали не только весь жизненный уклад семьи, но и самосознание ее членов, в том числе кастовое самосознание. Можно смело утверждать, что ломка межкастовых и внутрикастовых отношений пойдет тем быстрее, чем активнее будут включаться в этот процесс женщины Индии — жены, матери и воспитательницы подрастающего поколения, т. е. очень влиятельная социальная сила.

Рецензируемая книга ценна не только тем, что ее автор подобрал и убедительно документировал интересные данные. Нельзя не отметить, что в ней содержатся материалы, накопленные Е. С. Юрловой во время длительной работы в стране. Налаженные дружеские контакты с представительницами разных женских организаций позволили ей собрать обширную деловую информацию, которая вводит в научный оборот много новых и ценных сведений. В качестве примера можно привести сообщение о том, что в парламенте представлены в качестве женщин-депутатов, как правило, индуски из высших каст, а в число кандидатов в депутаты из среды мусульманок и представительниц низких каст попадают лишь женщины из зажиточной прослойки этих каст, из семей, занимающих видное социальное место (с. 96).

Следует также отметить важное значение примечаний в конце книги, содержащих разъяснения, необходимые для широких слоев советских читателей, а обширный (на 400 названий) библиографический список поможет всем, кто интересуется рассматриваемыми проблемами, найти необходимые источники информации.

Н. Р. Гуд

F. Engels' Work «The Origins of the Family, Private Property and the State» and Certain Problems in the Theory of the Historical Process

The main problems posed by Engels in his work «The Origins of the Family, Private Property and the State» are examined in the context of the development of historical materialism as a global theory. The author shows how Engels' studies were and are to this day related to the political problems faced by the working class. His views on pre-class and capitalist society are described in the light of modern scientific data.

N. B. Ter-Akopyan

From the History of the Karakalpak Female Dress to the Problems of the Ethnohistorical Atlas of Middle Asia and Kazakhstan)

The author poses the question: why is the embroidery on some kinds of the traditional Karakalpak female dress done in cross-stitch needle-point across counted threads, whereas other kinds of dress are embroidered in chain-stitch? She comes to the opinion that clothes made of white or dark blue homespun fabrics (of cotton or other vegetable fibre) embroidered in cross-stitch, which were in the beginning of the 20th century worn by women of different age groups, formerly comprised a single complex of clothing peculiar to young women, and are in origin an earlier stratum in Karakalpak female dress. This is evidenced by the character of the embroidery (cross-stitch across counted threads), by the weaving techniques (interwoven threads), the colour of the fabric (white, later — dark blue), the peculiarities of the cutting. Clothes sewn from silken handwoven or factory-made fabrics of variegated colours (often striped), with red-and-black cloth trimmings embroidered in chain-stitch, which were early in the 20th century worn only by young women, are more recent in origin. This is substantiated by the changes in the material of which the dresses are made (the transfer from white fabrics to homespun coloured or motley homespun fabrics, then to coloured factory-made textiles is a widespread cultural process among many peoples).

However, this conclusion is based not only on the general process of cultural development, but also on the ethnic history of the Karakalpaks. There is reason to connect the emergence of the chain-stitch against a red-and-white background in Karakalpak material culture with one of the last Turkic migration waves that became integrated in their ethnogenetic process; this wave was common to the Kazakhs, the Kirghiz, and the Desht-i-Kipchak Uzbeks. Among all of these the chain-stitch is prevalent (among the Kirghiz and the Desht-i-Kipchak Uzbeks — also against a red-and-black background).

N. P. Lobachova

The Ethnic Territory of the Burtas in the Second Half of the 8th to the Early 10th Century

By chronologically differentiating the information on the Burtas contained in orientally written sources, the first stage in the existence of this ethno-political association may be dated as the second half of the 8th to the early 10th century. The information given by Istakhri and Ibn-Hawqal, who show the Burtas as inhabiting the Itil (Volga) area, is open to doubt. More reliable appear the reports by Masudi and «Hudud al-Alam» that the Burtas country is situated to the west of Itil, on one of its tributaries — the Burtas River, which we may tentatively identify as the Don.

The economic-cultural type of the Burtas, as described in 10th to 12th century geographical literature, may be defined as sedentary animal husbandry and plough agriculture with highly developed handicrafts, hunting and *bortnitchestvo* (honey-collecting in tree hollows). In accordance with this economic-cultural type, the Burtas country may have been situated in the southern part of the forest-steppe zone, in the middle Don drainage area: this permits us to associate with the Burtas the forest-steppe (Alan) variant of the Saltovo-Mayatska culture of the later 8th to the early 10th century. This localization of the Burtas country offers, in its turn, grounds for translating the ethnonym Burt/Furt+As from the Iranian languages as «son of As»; thus ethnogenetic links may be traced between the Alan population of the forest-steppe zone of the middle Don drainage area and the Alan or As community in Northern Caucasus.

G. Ye. Afanas

The Economy of the United States Indians at the Turn of the 20th Century

The author examines the economy of the United States Indians in the late 19th and early 20th century, a period when the country's western regions were being actively developed. The causes giving rise to the crisis in reservation agriculture (the occupation of the most U. S. Indians) are analysed on the basis of a large number of documentary sources (Congress debates, reports by commissioners for Indian affairs, population census data). The main tendencies in the development of other branches of the economy of Indian communities are also touched upon: traditional crafts, development of mineral resources, etc.

V. G. Stelm

Anthropological Studies in Sokotra

The preliminary results of the first anthropological study of aboriginal Sokotrans are described. According to dermatoglyphic data, the Sokotrans are a peculiar group, difficult to identify racially. Their skin relief combines characteristic features of two complexes: the West Asian variant of the South Caucasian race and the Australoid race. Odontological data places the Sokotrans in the Western racial stock which comprises the Caucasians and the African Negroids. Both sets of characteristics show a heterogeneity in the local samples due to the differences in the proportion of various racial components.

V. S. Shinkarenko, V. V. Naumov,
H. L. Khit', A. A. Z

Theoretical Problems in the Reconstruction of the Earliest Slav Spiritual Culture (Conclusion of the Discussion)

In the present issue we present the concluding papers in the discussion on theoretical problems involved in reconstructing early Slav culture (replies by V. V. Naumov, V. V. Sedov, A. K. Smol'skaya and N. I. Zubov, O. A. Ternovskaya and A. V. G. I. A. Dzendzelevski, N. I. Tolstoy and Svetlana Tolstaya).

The discussion arose on the initiative of ethnolinguists, who have in the last 15 years published considerable materials testifying to the emergence of a new line of research on the borderline between ethnography and dialectology. The participants discuss both concrete methods of reconstruction and its possibility in principle (on the level of semantic complexes, themes and individual elements) and the role of linguistic, ethnographic, folkloristic, and archaeological facts in the integral system of reconstruction.

Editorial B

Ethnographic Subjects in the Works of F. I. Leontovitch

The article deals with the life and research work of a prominent Russian scholar of the second half of the 19th century who, while not a professional ethnographer, made important contributions to ethnography. F. I. Leontovitch was a scholar of multifarious scientific interests. He carried out a comparative analysis of ancient Slav legislation acts in an attempt to interpret the meaning of the Slavonic term *verv* which occurs in these manuscripts and which he connected with the organization of the extended family. In reconstructing the social order of the early Russian tribes, F. I. Leontovitch came to the conclusion that the basic social unit in that period was the *obshtchina* (village community).

F. I. Leontovitch devoted a great deal of attention to the study of common law, its origins and evolution, as well as the sources and methods of research in this field. He is also known as a publisher and commentator of collections of the common law of the Kalmucks and a number of peoples of the Caucasus. The scholar also studied certain aspects of the *atulytchestvo* (fostering) customs on ethnographic material from the Caucasus.

F. I. Leontovitch was activity in favour of the comparative-historical method. Many of his works still retain their significance.

Yu. D. Anchabadze

CONTENTS

N. B. Ter-Akopyan (Moscow). F. Engels' Work «The Origins of the Family, Private Property and the State» and Certain Problems in the Theory of the Historical Process. *N. P. Lobachova* (Moscow). From the History of the Karakalpak Female Dress (to the Problems of the Ethnohistorical Atlas of Middle Asia and Kazakhstan). *G. Ye. Afanasyan* (Moscow). The Ethnic Territory of the Burtas in the Second Half of the 8th to the Early 10th Century. *V. G. Stelmakh* (Moscow). The Economy of the United States Indians at the Turn of the 20th Century. *V. S. Shinkarenko*, *V. V. Naumkin*, *H. L. Khit'*, *A. A. Zubov* (Moscow). Anthropological Studies in Sokotra.

Discussions

Theoretical Problems in the Reconstruction of Earliest Slav Spiritual Culture (Conclusion of the Discussion). Replies by: *V. V. Ivanov*, *V. V. Sedov*, *A. K. Smol'skaya* and *N. I. Zubov*, *O. A. Ternovskaya* and *A. V. Gura*, *I. A. Dzendzelevski*, *N. I. Tolstoy* and *Svetlana Tolstaya*.

From the History of Ethnography

Yu. D. Anchabadze (Moscow). Ethnographic Subjects in the Works of F. I. Leontovitch

Ethnography in Museums

E. A. Okladnikova (Leningrad). I. G. Voznessensky's Californian Collection in the Museum of Anthropology and Ethnography (Leningrad).

Communications

N. N. Gratsianskaya, *S. A. Tokarev* (Moscow). The Ethnographic Regions of Europe (to the History of Ethnographic Studies of the Area). *V. A. Staroverov* (Simferopol). Animal Husbandry Types among the Kirghiz of Pamiro-Alay and Karateghin in the 19th and Early 20th Centuries. *A. A. Yarushkin* (Leningrad). The Language Situation in the People's Republic of Angola.

Searchings, Facts, Hypotheses

M. F. Albedil (Leningrad). Protoindian Writing: Results and Prospects of Study.

Our Anniversaries

A List of Major Works by Doctor of Historical Sciences *G. S. Maslova* (to the 60th Anniversary of Her Scholarly Activity).

Academic Life

N. A. Tomilov (Omsk). An All-Russian Undergraduate Ethnographic Conference. *R. Sh. Djarylgassinova* (Moscow). The Art of the Korean People's Democratic Republic: an Exposition.

Expeditions in Brief.

Criticism and Bibliography

Critical Articles and Reviews. A Discussion on *Yu. V. Bromley's* Book «Essays in the Theory of Ethnos» (by: *M. A. Barg*, *S. A. Arutiunov*, *B. F. Lomonosov*, *L. A. Gordon*, *Ya. G. Mashbits*, *G. V. Stepanov*). General Ethnography. *T. M. Islamov* (Moscow). *V. D. Koroliuk*, *G. D. Litavrin* (Eds). The Evolution of Ethnographic Self-Awareness of Slav Peoples in the Early Middle Ages. Peoples of the USSR. *V. Dj. Itonishvili* (Tbilisi). *N. G. Volkova*, *G. V. Djavakhishvili*. Everyday Life Culture in Georgia, 19th and 20th Centuries: Tradition and Innovation. *Ya. S. Smirnova* (Moscow). Vainakh Rituals of Family and Everyday Life. Peoples of Europe outside the USSR. *V. I. Kozlov*, *B. V. Sokolov* (Moscow). *N. A. Yerofeyev*. Albion in the Mist. England and the English through Russian Eyes. Peoples of Asia outside the USSR. *N. R. Gusseva* (Moscow). *Ye. S. Yurlova*. The Social Position of Women and the Women's Movement in India.

Технический редактор *Беляева Н. Н.*

Сдано в набор 11.05.84 Подписано к печати 24.07.84 Т-13607 Формат бумаги 70×100
Высокая печать Усл. печ. л. 15,4 Усл. кр.-отт. 44,6 тыс. Уч.-изд. л. 19,0 Бум. л. 5
Тираж 2846 экз. Зак. 4048

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 10

В магазинах «Академкнига» имеются в продаже:

Ошибкина С. В. МЕЗОЛИТ БАССЕЙНА СУХОНЫ И ВОСТОЧНОГО ПРИОНЕЖЬЯ. 1983. 295 с. 3 р.

В монографии представлен систематизированный материал обширного региона по периоду мезолита, позволяющий дать характеристику этого хронологического этапа и имеющий большое значение для исследования вопроса о первоначальном освоении Севера европейской части СССР.

Книга предназначена для археологов, историков, этнографов.

Свешников И. К. КУЛЬТУРА ШАРОВИДНЫХ АМФОР. (Археология СССР). 1983. 86 с. 2 р.

Выпуск Свода посвящен одной из важнейших культур бронзового века на западе европейской территории нашей страны — культуре шаровидных амфор. Приводится полный каталог памятников, исследуются вопросы о территории их распространения, погребальном обряде, вещном материале, хронологии.

Работа рассчитана на специалистов — археологов и историков.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — почтой» «Академкнига»:

480091 Алма-Ата, 91, ул. Фурманова, 91/97; 370005 Баку, 5, ул. Джапаридзе, 320093 Днепропетровск, проспект Ю. Гагарина, 24; 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95; 664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289; 252030 Киев, ул. Пирогова, 4; 277012 Киев, проспект Ленина, 148; 343900 Краматорск, Донецкой области, ул. Марата, 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 220012 Минск, Ленинский проспект, 72; 117192 Москва, В-192, Мичуринский проспект, 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6; 450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10; 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310078 Харьков, ул. Чкаловского, 87.